





СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 35

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
МОСКВА 1991**

ББК 84Р7—4
С23

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Э. А. АРАБ-ОГЛЫ
И. В. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА
Е. Л. ВОЙСКУНСКИЙ
Вл. ГАКОВ
Г. М. ГРЕЧКО
В. П. ДЕМЬЯНОВ
М. Б. НОВИКОВ
Е. И. ПАРНОВ

С23 Сборник научной фантастики. Вып. 35 / Сост.
Войскунский Е. Л. — М.: Знание, 1991. — 240 с.
3 р. 1 000 000 экз.

В очередной сборник НФ входят произведения авторов, чья литературная судьба так или иначе связана со всесоюзными семинарами молодых фантастов в Малеевке и Дубултах. При всем разнообразии их творчества авторы объединяет обостренное внимание не к космической, а к земной «составляющей» научной фантастики.

Распечатан на широкий круг читателей.

С 4701000000—079
073[02]—91 47—91

ББК 84Р7—4

© Войскунский Е. Л.,
1991 г.

■ ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

ГРЯДЕТ ЛИ «НОВАЯ ВОЛНА»?

Осенью 1982 года в подмосковном Доме творчества им. А. С. Серафимовича, чаще именуемом Малеевкой, собрался 1-й всесоюзный семинар литераторов-фантастов и «приключенцев». Еще был жив мой друг и товарищ по руководству семинаром Дмитрий Александрович Биленкин. Мы разделили молодых фантастов, приехавших со всех концов страны, на две группы, у каждого из нас оказалось по тринадцать «семинаристов». Представьте, сколько было срочного чтения? На моем столе громоздились папки, наполненные космическими полетами, изобретателями жуткого оружия, добрыми пришельцами, странными событиями в жизни людей. Семинар по литературному уровню был сильный. Пожалуй, самый сильный в последовавшей череде ежегодных семинаров в Малеевке и Дубултах. И он уже подходил к концу, когда Биленкин попросил меня прочесть повесть В. Покровского. Я еле успевал читать прозу своих подопечных, а тут чужая рукопись да к тому же и толстая, семь авторских листов. «Прочти, не пожалей», — настаивал Биленкин. Ладно, я, как мог, уплотнил и без того плотное семинарское время и пробежал повесть москвича Владимира Покровского. Это были «Танцы мужчины».

Меня обступило жестокое общество, охваченное эпидемией. Странная болезнь — импато поражает то одного то другого обитателя фантастического города. Заболевших истребляют, отстреливают, как бешеных собак. Для этой цели созданы специальные вооруженные отряды — скафы. Скаф не имеет права ни на жалость, ни на родственные привязанности — его дело убивать. Это дело считается святым, ибо оно защищает общество от болезни. Грандкапитан скафов Мальбейер озабочен тем, чтобы эпидемия не утихала, чтобы полезность и необходимость отрядов его молодчиков была абсолютно бесспорной: государство погибнет без нас!

Но именно «святое дело» губит, деморализует общество, ибо бесчеловечность — это самая страшная эпидемия. Что же до болезни импато, то это, собственно, и не болезнь, а резкое выделение личности из бесцветной массы. Вместо долгой, тусклой, униженной жизни, принятой за норму, яркий всплеск таланта, созидательной активности, физической силы, даже внезапная способность к левитации. Трагический контрапункт: в момент полного развития способностей ты обречен, ты объявлен угрозой для об-

щества и подлечишь безжалостному уничтожению. Ибо ты — нарушитель гармонии.

Ясно, о какой гармонии идет речь: о ровно подстриженном поле тоталитаризма. И уже сами защитники этой гармонии не выдерживают. «Мы не люди. Ужас, что мы делаем», — восклицает скаф Дайра, в сущности, погубивший собственного сына. «Все нужно наоборот!» — это позднее прозрение скафа Сентаури, убившего друга...

Повесть Владимира Покровского запомнилась с той далекой осени первого малеевского семинара. Стоит ли говорить, что она не могла быть напечатана в те годы, когда наши недремлющие «идеологи» усердно искали в фантастике храмолу, аллюзии и пресекали ее на корню, поощряя привычную серость.

К счастью, наступило время обновления, нравственного очищения общества от тяжелых завалов тоталитаризма. Вот и залежавшаяся в ящике стола повесть Покровского «Танцы мужчины» выходит к читателю. Однако какая странность; не могу отделаться от мысли, что Покровский как будто провидел некую страшную эпидемию, подстерегавшую человечество. Нет, не импато, конечно, а совсем другую. Вы понимаете, что я имею в виду СПИД. Пятьдесят миллионов инфицированных к 2005 году — жутковато входит человечество в третье тысячелетие. Многие ученые считают, что СПИД порожден повисшимся уровнем радиации, это болезнь именно нашего злосчастного атомного века, она — антропогенна. Не дай нам Бог ополчиться на новоявленную чуму с жестокостью скафов...

Но это уже другой разговор. Что же до повести Покровского, то, как утверждает всеведущая латынь: «Habeant sua fata libelli» («Книги имеют свою судьбу»).

В этом сборнике представлены в основном малеевцы — бывшие участники малеевских и дубултских семинаров. Все они — в разной мере, каждый по-своему — озабочены тревогами нашего переломного времени, осмыслением современных проблем. Испытанные приемы фантастики позволяют резко заострять эти проблемы, придавать им подчас гротескную форму.

В рассказе Эдуарда Геворкяна «До зимы еще полгода» сбывается пророчество старой женщины, когда-то пометившей на календарном листке, что такого-то мая выпадет снег. Снег действительно выпал, но только во дворе старого ереванского дома, и странный это снег: каждый обитатель дома оставляет на нем не следы своих туфель, а отпечатки, соответствующие характеру, тайным намерениям или даже судьбе. За мерзавцем-доносчиком тянутся отпечатки собачьих лап. За женщиной, мечтающей о гармонии и любви, — нотные значки. Что это — очередная фантазия

лирического героя рассказа? Если и фантазия, то с очевидным смыслом: нам, может быть, легче бы жилось, если бы заполучили некое универсальное средство для выявления сущности человека.

«Мы не люди!» — стоном вырывается у скафа Дайры из повести Покровского. «А кто такие на самом деле люди?» — спрашивает оборотень из рассказа Виктора Пелевина «Верволки средней полосы». Умирающие деревни Нечерноземья — страшная беда нашего времени. Не от этого ли трагического социального запустения идет запустение человеческих душ, фантастически преломленное в свойство оборачиваться волком?

Пелевин — один из самых молодых и, думаю, перспективных малеевцев. Он из инструментария фантастики выбирает наиболее острые приемы. Вот в рассказе «СПИ» студент Никита на лекции обнаруживает, что не только его клонит в сон, но и все вокруг спят, и сам лектор читает с кафедры как бы во сне. Спят прохожие на улице и даже дружинники, с которыми Никита распирает бутылку, тоже спят. Сонное или, вернее, оцепеневшее царство, в котором люди если и бодрствуют, то просто механически повторяют раз и навсегда заученные действия.

Ну а если в оцепеневшем царстве сверкнет, как солнечный луч, доброта? В рассказе Андрея Саломатова «Клубника со сливками» ожесточившийся бродяга забредает в кафе, в котором царит милосердие. Тут и накормят, и напоят, и ночлег предоставят с ванной, с чистой постелью — все бесплатно. Вернее, есть одна плата за услуги: рассказать историю жизни. И вот это-то и оказывается самым страшным, настолько страшным, что бродяга поджигает филантропический пансионат.

Или вот рассказ Алексея Андреева «Страх». Благодетель-инопланетянин, исполненный добрых чувств к человеческому племени, поселившемуся в соседней долине, пытается лечить заболевших, у него же своя, неземная аптека, но люди боятся его животным страхом и принимают за злое божество.

Видимо, с благодеяниями свои сложности. Вот, может быть, Рефу, кибернетику из рассказа Егора Лаврова «Синтез», удастся выйти за пределы многомерного, четко регламентированного, холодного мира будущего — перенестись по энергетическому каналу в прошлое и спасти полудикое племя. Там, в примитивной жизни, завелся изобретатель — духовую машину придумал, двигатель какой-то. Учитель велит Олану, изобретателю, сломать машину, чтоб не мешала привычной счастливой жизни, а тот, хоть и слушает учителя, а все гнет свое, строптивец...

Мне кажется, в последнее время усилился процесс заземления фантастики, падает интерес к ее космической составляющей. В этом смысле показателен рассказ Любови и Евгения Лукиных

«Отдай мою посадочную ногу». Некий космический аппарат, НЛО, совершил вынужденную посадку на Земле. Но вы не увидите потрясающих воображение сцен контакта с инопланетной цивилизацией. Оказавшийся поблизости алкаш просто вывинтил из аппарата посадочную ногу, телескопическую железяку, и ни за что не хочет вернуть ее инопланетянам. Увы, такая до боли знакомая картинка, спроецированная на многократно обыгранное фантастической пришествие гостей из космоса.

Не знаю, грядет ли у нас «новая волна» фантастики? Так сказать, фантастика эпохи перестройки? Пожалуй, не стоит делать скороспелые выводы. Время покажет. Но возросший пристальный интерес фантастики к проблеме высвобождения человека из-под глыб тоталитаризма очевиден.

Евгений Войскуиский

■ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ВЛАДИМИР ПОКРОВСКИЙ

ТАНЦЫ МУЖЧИН

НИОРДАН

Было то время, которое уже нельзя назвать ночью, но еще и не утро: солнце пока не взошло, однако звезды померкли. На фоне серого неба громоздились друг на друга ветви небоскребов «верифай». Дайра, который большую часть жизни провел в Мраморном районе, где господствовал псевдоисполнинский стиль, до сих пор не мог к ним привыкнуть. Особенно дико выглядели окна горизонтальных ветвей, глядящие вниз. Два окна над его головой бросали на асфальт восьмиугольники света; в одном из них прямо на стекле неподвижно стоял мужчина в длинных до колен шортах. Пятки его были красными. Где-то на соседней улице, возвращаясь с пробежки, устало цокала копытами прогулочная лошадь, из дома напротив Управления приглушенно доносился инструментированный храл модной капеллы «Фуррониус». Да еще в ушах шагала усталость.

— Ну все, — сказал Дайра, вынимая из машины автомат и обе шлембуала. — Вы еще посидите в дежурке, а я домой.

— Я в машине останусь, — отозвался Ниордан (от усталости он похрипывал). — Вдруг что.

Никакой необходимости ждать тревоги в машине, когда остальные все равно в дежурном зале, не было, но с Ниорданом никто не спорил. Даже мысли такой не возникало ни у кого. Ниордан повернул к капитану бледное, вечно настороженное лицо, как бы ожидая ответа. Дайра смолчал. Ниордана ценили, он был надежен, однако связываться с ним никто не хотел.

— Если что, я до пол-одиннадцатого дома буду, — и Дайра пошел посреди улицы, цокая подошвами в такт лошадиным шагом. Он держал автомат за ремень, и тот время от времени чиркал прикладом об уличное покрытие. Со спины Дайра казался багровым, хотя в одежде его не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего красный цвет. Ничего, кроме креста. Но крест, как и полагается, находился на животе.

Остальные зашевелились.

— Мы, значит, «посидите», а он домой. Во как! — раздраженно пробасил Сентаури, вытаскивая из машины свое грузное тело. — Ему, значит, можно. А мы, получается, пиджаки.

— Вы злитесь оттого, что всю ночь не спали, — тощій и

длинный Хаяни вылез вслед за ним и стал рядом, разминая затекшие ноги. — Ведь он провожает... Я хочу сказать, ему действительно надо уйти.

Сентаури угрюмо и неразборчиво буркнул что-то в ответ, и, не прощаясь, они ушли. Ниордан и головы не повернул. Он смотрел вперед, положив на руль тонкие, выбеленные ночью руки. Он был горд, Ниордан, по-королевски невозмутим.

Когда улица опустела, он затемнил заднее и боковые стекла, протянул вверх левую руку и, не глядя, нащупал свою корону, висящую на обычном месте, у волмера. Изумруды и бриллианты венчали каждый ее зубец, на нее нельзя было смотреть без восторга. Ниордана всегда удивляло, что скафы, работающие с ним, — люди, в сущности, вполне достойные и ничуть не низкие, не в состоянии видеть аксессуаров его второй, настоящей жизни. Он поддерживал корону в руках, наслаждался теплом и весом сияющего металла, осторожными, уважительными движениями водрузил на голову. Потом снял с крючка мантию и стал нацеплять ее на себя, привычно извиваясь в кресле и разглаживая каждую складку. Очень неудобно надевать мантию, сидя в низкой патрульной машине, однако Ниордан каждый раз проделывал это с грацией мультипликационной лани.

Затем он снова положил руки на руль и принял еще более величественную позу. Корона давила на голову, а мантия была слишком жаркой для этого времени года, и Ниордан подумал, что неплохо бы издать приказ о летней королевской одежде. В воздухе висело предчувствие дневной духоты, было очень тихо.

Стали гаснуть разноцветные фонари, один за другим, словно сумасшедший фонарщик тушил их, касаясь выключателей на бегу. — Френеми! — тихо позвал Ниордан.

И сразу послышался мягкий, спокойный, родной до истомы голос:

— Я здесь, император.

Ниордан взглянул на соседнее сиденье, где пять минут назад находился Дэйра. Темный силуэт был теперь на том месте. Угадывались сложенные на коленях тонкие руки, смутно поблескивали глаза, пристальные, умные, все понимающие глаза его советника. Его друга.

— Мне трудно, Френеми.

— Ты ненавидишь их, император.

— Они уже не бойцы. Каждый из них отравлен собой. Или, что еще хуже, другим человеком.

— Но, император, у тебя сила. Ты мудр, ты можешь заставить их делать то, что они должны делать.

- Они не понимают меня. Они не пожелают хотя бы серьезно выслушать. Они считают, что я...
- Одно твоё слово, и мы заставим их...
- Нет! — Ниордан зло мотнул головой. Помолчал. — Нет, Френеми. Сюда моя власть не распространяется.
- Сплоти их.
- Скажи, как дела в государстве?
- Плохо, император. Без тебя трудно. Заговорщики стали чаще собираться в доме на площади.
- Прoberись к ним. Сделай их добрыми. Отними у них силу.
- Но без тебя...
- Ты ведь знаешь, отсюда мне нельзя уходить. Здесь — важнее.
- Да, император. Только ты можешь сразиться с болезнью: Страшно подумать, если она проникнет в твои владения.
- Страшно. Мне так трудно, Френеми.
- Сплоти их, император! Сплоти! Сплоти!

МАЛЬБЕЙЕР

В тот год стояло настолько жаркое лето, что даже деревья в Сантаресе были горячими. Весь город пропитался запахом раскаленной органики. Небо у горизонта сделалось желтым, и стали желтыми лица изможденных толстяков. Это был какой-то непрекращающийся уф-ф-ф. А потом прошел циклопический дождь. Он в течение получаса затопил все улицы, и машины натужно зудели, тяжело раздвигая мутную воду. Но даже дождь воспринимался как горячий душ. Молнии змеились по всему небу, штыками впились в здания, стоял непрерывный треск и грохот. Потом началась форменная парильня — озона дождь не принес. Рубашки мгновенно мокли и уже не могли высохнуть, голоса звучали задумчиво, отяжелевший воздух устал переносить звуки. Утром, еще до восхода, в открытые окна вливалась давящая жара — некуда от нее деться. И все-таки, повторял про себя Мальбейер, все-таки лето, все-таки не мороз и не этот ужасный снег, я так люблю лето, ставистически люблю лето, потому что с детства во мне живет лентяй, который терпеть не может, выходя из дому, возиться с верхней одеждой.

Мальбейер, грандкапитан скафов, был бледненький, скудный на красоту человек с чахоточно-белой кожей и прищуренными глазами. Однако спокойствия, присущего щуплым людям, в нем не было, а было что-то вкрадчиво-напряженное, потно-кадыкастое, сильное и угловатое. Во всех его движениях проскальзывала фальшь, но фальшь не подлая, а наоборот, очень искренняя. Ка-

залось, он совершенно не умеет вести себя, но признаваться в этом не хочет и очень старается скрыть свое неумение.

Когда Мальбейер оставался один, он преображался: взгляд становился чуть сумасшедшим, не из-за каких-то, простительных, впрочем, психических нарушений, просто грандкапитану нравился такой взгляд (вправо и вверх, с хитринкой, с намеком на готовую вспыхнуть загадочную улыбку); движения приобретали не то чтобы стремительность — торопливость: он всполошенным тараканом начинал носиться по кабинету, обтекая многочисленные стулья и огромный Т-образный стол, заваленный многомесячными завалами никому не нужных бумаг. Передвигался он скачками, чуть боком, по-крабьи, на бегу что-то хватая и перекладывая; как чертик возникал почти одновременно в самых неожиданных местах кабинета — тот давно превратился в основное место его обитания, пропитался его запахами, наполнился его одеждой, посудой и электроникой. Он и спел-то чаще всего здесь. Свой дом на окраине Сантареса Мальбейер не любил и посещал весьма редко: хоть и предпочитал он оставаться один, полное одиночество его угнетало.

Сейчас Мальбейер стоял у окна и заинтересованно вглядывался в изломанный желтеющий горизонт.

— Скоро солнце, — сказал он неожиданно громко и повторил шепотом: — Скоро солнце.

В Управлении стояла тишина, только в одном из дальних коридоров хлопали двери. Мальбейера уже второй месяц мучила бессонница, и перед каждым рассветом он слышал это хлопанье. Он долго пытался сообразить, что оно означает, но ничего путного придумать не мог, а спросить у других каждый раз забывал. А с неделю назад не выдержал и решил посмотреть. В коридорах было темно, приходилось идти на ощупь. Потом блеснул свет, и в отделе медэкспортиз грандкапитан увидел дежурного — бодрого скафа-пенсионера с огромными усами и палкой в руке. Тот застыл, держась за дверь, вид у него был спокойный и вопрошающий. Мальбейер одарил его своим загадочным взглядом и брякнул неожиданно для себя:

— Все грабим? Шучу, шучу.

Дежурный не отреагировал. Секунд десять они молчали, потом Мальбейер вежливо кашлянул и ушел. И сразу хлопнула дверь.

По дороге назад Мальбейер заблудился, и это было очень удивительно для него — человека, который знал здание чуть ли не лучше самого архитектора.

Сейчас, вспомнив эту сцену, он через нос фальшиво расхохотался и, качая головой, прошептал:

— Просто комедия!

Но тут же его осенила новая мысль. Он резко отвернулся от окна, взгляделся в голубеющие сумерки кабинета и ринулся к столу. Загрохотало кресло, пронзительно взвизгнул выдвигаемый ящик. Мальбейер синим мешком склонился над ним, ожесточенно работая локтями.

— Надо, надо еще раз. Ну-ка?

Мальбейер включал магнитофон. Как и всякий уважающий себя (а главное, мнение о себе) сантаресец, он имел личностный, т. е. настроенный на хозяина, интеллектор, которому мог бы просто заявить о своем желании, однако магнитофон грандкапитан предпочитал включать сам. Во всем мире не было вещи, которую он любил бы так, как эту красивую матовую игрушку. Магнитофон всегда содержался в идеальном порядке, кассеты расставлены по гнездам и аккуратно надписаны. Редкий каллиграф, Мальбейер гордился своим почерком и не терпел печатных надписей. По натуре он был кропотливейшим из педантов, но именно кропотливость мешала ему проявлять педантизм во всем — на все просто не хватало времени. Он считал, что лучше не убирать совсем, чем убирать кое-как, и поэтому кабинет его всегда находился в ужасающем беспорядке.

— ...[Вытянув шею, равномерно моргая белесыми ресницами] мой магнитофон. Как мягки, как податливы твои грани! Я не нападаю, я нежно приближаюсь к тебе. Деликатное, легчайшее нежатие пальца на ребристую поверхность чуть пружинящей кнопки, неслышный, едва осязаемый щелчок — все вдруг преобразуется! В такие минуты мое могущество беспредельно! Мгновение — и затемняется окно, сумрак уступает место тьме. Еще мгновение — нет! — всего только доля мгновения — и тьма рассеивается, превращается в призрачный, почти лунный свет. Э, куда там лунному! Таинственными и непрочитанными кажутся кипы книг, ставший сиреневым подоконник превращается в край света — мы одни. Шуршащая крупяная мгла окутывает меня. На стене желто горят четыре экрана. Все предугадано, как нельзя нигде предугадать в жизни. Ты один, кто не обманет меня.

Ты ждешь, мой друг, ты ждешь моего приказа, мы замкнули пространство вокруг себя, и не существует другого мира, кроме того, который через секунду покажешь ты, надежнейший, понятнейший из друзей. Прислушайся, я возлагаю на тебя пальцы, я приказываю тебе, ты беспрекословно и точно последуешь моей воле.

Мой друг, мой друг, мне нужен тот эпизод, где они говорят о вакансии. Пусть включены будут все четыре экрана, пусть звук будет тихим, а изображение остановится в том месте, которое я укажу...

На всех четырех экранах он видит комнату с разных точек — кабинет директора Управления. За низким, темновато-оранжевым столом — пятеро. Все они одеты в тон столу, и Мальбейеру это кажется чрезвычайно важным (ему часто кажутся важными ничего не значащие детали). Он не может понять, в чем конкретно заключается важность, и потому недовольно морщится.

Итак, пятеро. Сам директор, высокий, семидесятидвухлетний старик, начинающий терять спортивную форму. Он из Лиги Святых, той самой, которая первой начала полвека назад борьбу с импато, о честности и монашеской чистоте ее членов ходили в свое время легенды. С ним два его однокашника, заместители; один лысый, другой, как и директор, седой. Двое других между собой неуловимо похожи: подтянутостью, щегольством, жесткими взглядами, деловыми жестами, молодостью. Они из новой когорты. Оппозиционеры. Эмпрео-баль и Свантхречи, начальники отделов.

Директор. (Породистое лицо в белом шлеме волос, твердые морщины, кустистые брови. Устало прикрывает глаза.) И последнее, кхм. Вы знаете, о чем я говорю. Да, вакансия. Кхргхрм! Коркада-баль был очень хорошим майором и отдел его... кхм... но он был... старик. Он даже тогда не был юношей, когда все начиналось. Мне грустно, что он... умер, но... кхм... должен признать, ему было трудно. Он не годился для своей роли. Он был... слишком... негибок. Слишком многое изменилось, кхм, все мы, вся... Лига Святых... с трудом справляемся... Многое нам не нравится... Кхм. Кхм. Но что делать. Это... закономерно. Вот. Вся эпитафия. Теперь надо решать, кому... кхм... отдать место. Ваши предложения?

Несколько секунд все молчали.

— Обрати-ка внимание на того, молодого, — сказал интеллектор, и Мальбейер шикнул на него раздраженно. Он часто с ним ссорился.

Лысый заместитель. (Тоже длинный, тоже мощный старик, умные доброжелательные глаза, подвижные руки.) Что тут думать? Мальбейер, кто же еще? И обсуждали мы его, разве не так? Он давно созрел для этого места. Конечно, Мальбейер.

Эмпрео-баль. (Поднимает, как школьник, руку; улыбчив, цвет лица медно-красный; чем-то похож на лягушку. Ехиден, умек. Собственно, дураков среди этой пятерки нет.) Я против.

Директор. Отчего же? Мне кажется... кхм... кандидатура вполне... Мы давно знаем... этого... кхм...

Эмпрео-баль. Мальбейер — атаквистический пережиток, разве вы не видите? Вечные тайны вокруг него, интриги какие-то, все ходят недовольные, передрались... Да у меня куча материалов! Не-ет, я против. Он вам устроит!

Директор. Кхм!

Седой заместитель. (Огромные веки, бульдожья челюсть, взгляд мутноватый, пальцы дрожат. Булькающий бас. Шестьдесят восемь лет.) Я что-то слышал подобное, но не поверил. Не верю и сейчас. Интриган? У нас? В Управлении? Чуть какая-то!

Лысый заместитель. Вы что-то путаете, друг Эмпрео. Может быть, он и чудаковат немного, но... Да ну что вы! Я его знаю прекрасно! Честнейший, кристальнейший человек! Его сколько раз проверяли. Не может этого быть, правда? Он и живет здесь, в Управлении. Вы разве не знали?

Эмпрео-баль. Тем не менее я предложил бы другую кандидатуру.

Лысый заместитель. Он и отпуска никогда не берет. Так и живет в своем кабинете. И на трудные случаи выезжает. Жизнью рискует. Разве не так?

Директор. Да, так ваша кандидатура, друг Эмпрео?

Эмпрео-баль. Видите ли, мне довелось хорошо узнать одного капитана, он работает у Мальбейера. Некий Дайра.

Директор. Ну как же, Дайра-герой, кто не знает Дайру-героя! Человек-монолит.

Лысый заместитель. Но позвольте, он всего капитан! Смешно! Можно ли сравнивать!

Эмпрео-баль. Дорогой мой, мы выбираем не чин, а человека. Дайра создан для этой должности, заявляю вам как профессионал.

Лысый заместитель. Нет, я все-таки за Мальбейера. Дайра какой-то. С чего?

Седой заместитель. А что, я бы рискнул. Даже интересно. Я ведь тоже знаю этого человека. Возможно, Эмпрео-баль не так уж и неправ. Этот Мальбейер, он, конечно, очень подходит, но слухи! А Дайра чист и предан. И дело звет.

Директор. А ваше мнение, друг Свантхречи!

Свантхречи. (Поднимает голову. У него лицо только что отсмеявшегося человека, смотрит на лысого заместителя.) Так, значит, вы не знали, что Мальбейер — самый гнусный, самый суетливый из всех интриганов?

Лысый заместитель. Клевета, уверяю вас, клевета.

Свантхречи. Вы, значит, со всем вашим знанием людей считаете его «честнейшим» и даже «кристальнейшим»? (Обращается к директору). Я поддерживаю кандидатуру Мальбейера.

— Сто-о-о-оп! — кричит Мальбейер. Изображение останавливается. Грандкапитан пристально смотрит на улыбающегося Свантхречи и недовольно морщится.

...не был коренным сантаресцем, однако прожил в городе достаточно долго, чтобы любить и признавать только его. Тот незначительный факт, что он появился на свет где-то на юге, сыграл большую роль в его столь неожиданно повернувшейся и страшно закончившейся жизни. Чем больше становился он «коренным жителем», тем меньше город проявлял желания признать его таковым. С самого детства Томеша дожимали высказанными и невысказанными упреками в том, что он чужак: и говорит не так, и делает не так, и лицо у него не такое, и вообще все у него не такое. К этим упрекам прибавляли обычно и другие — даже не упреки, а скорей, насмешки, не злобные, но едкие: «Я весь изрыт ими, весь болю», — сказал о себе Томеш после того, как стал импатом. Родись он здесь, он бы не скрывался, когда заболел, он бы пошел к людям за помощью и, может быть, все бы как-нибудь обошлось.

Всю жизнь Томешу казалось, что скрыта в нем огромная сила, хотя на самом деле он был слабый и временами до трусливости нерешительный человек. Эта сила была предметом его тайной гордости и составляла основной смысл его существования. Способностей у Томеша было много, однако талантами он не блистал, поэтому переход от пустой мечтательности к мечтательности, если так можно выразиться, практической давался ему с трудом: бедняга никак не мог понять, в какую же сторону разовьется его сила, если она все-таки проснется. В двадцать пять лет он вдруг понял, что разучился петь, писать, отупел и вообще обмяк. Внезапно обнаруженная пустота сильно подкосила Томеша, и он в первый, может быть, раз серьезно задумался, а существует ли она, эта его огромная сила. С тех пор мечтания его стали унылыми и затаенно безнадежными. Примерно тогда же он женился, что было неприязненно и даже презрительно воспринято друзьями.

Жена его, в девичестве Аннетта Риггер, была на пять лет старше Томеша и являла собой тип сильной, властной до деспотичности, умной и чрезвычайно раздражительной женщины. Три бурных, злобных и нервных года совместной жизни совершенно истрепали Томеша, и бывшие знакомые часто при встречах не узнавали его (хотя, возможно, это неузнавание было порой чуть нарочитым и представляло собой несколько видоизмененную форму полупрезрительной насмешки). Тем не менее Томеш самым искренним образом считал свой брак очень удачным.

Томеш Кинстер был врач. Он выбрал медицину после долгих раздумий и с некоторым разочарованием в душе. Он отказался

от искусства, философии и математики ради мечты навсегда избавить человечество от импато, даже больше — подарить ему импато без тех трагических последствий, к которым в большинстве случаев приводит эта болезнь. Только так — ни больше, ни меньше.

Кафедры импатологии в Университете не существовали все ждали, что с минуты на минуту, по крайней мере через год-два, с болезнью будет покончено, и поэтому, дескать, незачем заводить кафедру, ждали чуть ли не поколениями, со все возрастающей надеждой. Однако импатологи были, и была исследовательская группа, попасть в которую мог далеко не каждый. Курс импатологии, рассчитанный на пять последних семестров, отличался чрезвычайной информативностью, однако рецептов излечения не давал — их пока вовсе не существовало. Курс интеллектики, действительно расширенный, даже, пожалуй, более широкий, чем это нужно медикам, читался тогда отвратительно (женоподобный профессор Марциус, страстный и косноязычный, плохо разбирался в предмете, однако никто из профессората не считал себя достаточно компетентным для официальной подачи претензии) и тоже пользы не приносил. Единственным плюсом являлось то, что выпускники Группы получали направление в центральные импатоклиники.

Томеш попал туда не из-за особых талантов, а просто так, почти случайно. Это казалось ему чудом, а чудеса происходят с определенной целью, в этом их отличие от событий обыкновенных, которые есть следствия причин. С такой иррациональной уверенностью и жил Томеш, пока не потерял и ее. Разочарование пришло почти сразу же после того, как он окончил Университет и попал в Старое Метро, главную клинику города. Люди один за другим гибли на его глазах, гибли страшно, а он ничего не мог сделать, даже не понимал толком, почему они погибают. Импатология относится к тем немногим отраслям медицины, работа в которых из-за невозможности помочь больному сводится к надзирательским функциям: излечившиеся бывают, но излеченных нет. Поэтому нет удовлетворения. Юношеский пыл скоро гаснет, люди погружаются в информационную рутину, становятся раздражительными, ленивыми, каждый ищет способ оградить себя от чувства вины, чувства своей ненужности, винит других, окутывает свою деятельность секретами и лишними усложнениями, заумной терминологией, ложью. Они представляли собой сплоченный клан сухих, аккуратных, непроницаемых и болезненно ранимых людей, всеми средствами себя рекламирующий и скрывающий убогость того, что происходит внутри.

Томеш не понимал их. Он то восхищался ими, то презирал:

доброта и злоба, самоотверженность и подлость, равнодушные и неосторожно приоткрытая глубокая боль, тупость и внезапная глубина суждений, и все в каждом. Да он просто боялся этих людей! По натуре не философ и не борец, он в конце концов не выдержал и ушел.

Он перебрался в отдел истории импатологии и занялся «бесперспективным» творчеством импатов, то есть творчеством, от которого отказалось даже искусство, но все же творчеством, и даже носящим иногда печать гениальности. И вот парадокс: Томеш прижился здесь, хотя прекрасно понимал, что история импатологии — тоже плод амбициозности ненавидимого им клана, еще один панцирь, скрывающий пустоту.

Унылый мечтатель, он всегда был уверен, что кончит жизнь рано и нехорошо. Он убедил себя, что, как ни остерегайся, в конце концов обязательно заразишься. Опасения сбылись, но, к своему удивлению, заразился Томеш не на работе, а скорее всего в ресторане, где они с женой обычно обедали. Потом он часто вспоминал об этом ужине, настойчиво перебирал все тогда происшедшее, но в голову приходили ничего не значащие подробности, а самого главного — откуда пришла зараза — он вспомнить не мог. Многие импаты провидят будущее, иногда уже на второй стадии болезни, однако прошлого им понять не дано. У них есть только то, что попало в их память раньше.

Томеш сознавал, насколько это ненужно — искать виновного, но все-таки искал, подчиняясь, может быть, иррациональному приказу изнутри, из остатков искалеченного подсознания, снова и снова, по кругу: мягкий посудный звон... вежливый разговор автомата... смехок в соседней кабине... густой запах пищи... мимолетная улыбка жены, вызванная удачной остроотой... его преувеличенный восторг по поводу этой улыбки... одновременно мысль: у нее приказ даже в линии ушей!.. жирный кусок хлеба на краю стола... рукопожатие... рукопожатие?! нет, нет, не там... извилистый путь от стола к двери... потом блеск уличной травы... сразу видно, что здесь не бывает машин: там, где проезд разрешен, трава причесана в направлении движения и разлохмачена по центру... разговор о детях... усталость, подсвеченная листва, чей-то далекий смех, птичий гомон... казалось, идут они не по улице, а по нежно освещенному коридору... что-то комнатное.

Томеш почему-то был твердо уверен, что заражение произошло именно тогда — или по пути домой, или в ресторане, куда по средам приходили послушать наркомы музыку его сослуживцы и куда тайком от Аннетты пробирался он сам, потому что Аннетта не любила, когда Томеш занимался чем-то, что не было непосредственно связано с ней.

...Желтый свет фонарей на лянах, будто только что родившиеся запахи. Аннетта шла чуть впереди и говорила не оборачиваясь. Волосы ее светились, платье казалось совсем не таким, как два часа назад, — легкомысленным не по возрасту. Теперь оно было неотделимо от нее, Аннетта словно летела. Но в легкости ощущалось преодоленное окостенение — мешал голос, чересчур взрослый, и когда Томеш понял это, он задержал дыхание и еле заметно поморщился.

Мелочи, мелочи, все это так неважно! Вот поднимаются на второй этаж, открывают дверь, входят. Она поворачивает к нему голову. Гордость. Затаенный приказ.

Томеш в ответ загадочно улыбается.

— У меня появилась неплохая идея, — говорит он.

— Правда?

Уже тогда можно было понять, что с ними произошло. Но им казалось — это продолжение улицы.

Они вошли в огромную холодную спальню. Он обнял ее, неуверенно, и Аннетта не отстранилась, хотя раньше терпеть не могла и намек на ласки. Вдруг поддалась и сама удивилась, и что-то проскрипела презрительно, просто затем, чтобы не сразу сдавать позиции. Точный шаг, незнакомый, притягивающий поворот головы. Только тогда, в тот после улицы раз так было, потом — всегда другое, не счастье, а только это, болезненная порция счастья, они потом всегда хотели убить друг друга, но возникали блокировки, не те, что у здоровых, — те пропали, — а логические, страшные, гrrrrumm!

Она лежала с Томешем бесконечно, омерзительно голая и (как сказал Томеш) омерзительно прекрасная. От наслаждения хотелось вытянуться на километр. В темноте четыре смутно-белые руки, толстые жаркие змеи.

— Что же это такое? — спросила Аннетта.

— Да, — шепнул Томеш. — Я так и не помню уже.

Исполнские теплые губы. Тераватты нежности. Боль. Бархатная грудь, разлившаяся по телу, чуть намеченная выпуклость живота. Он обнял ее, она сказала — раздавишь, шепнула — раздавишь,дохнула только. «Ммммм, — сказала она, — ммммм».

Все, все было тогда — и радость, и голод, и злость, и нечашеющееся презрение, отвращение даже, но все это и все, что вокруг, слилось тогда в потрясающую симфонию и даже не тогда, а вот именно после. Подозрение на болезнь еще не пришло, а как бы появилось на горизонте, слишком уж было им хорошо, чтобы думать о чем-то, и странно было Томешу, что он, всегда ставивший выше всего эстетические наслаждения, а плотские радости воспринимавший, как многие воспринимают — с жадностью,

с жаром, но отдавая себе отчет, что это всего лишь физиологическое отравление организма, как бы стыдясь, что он вдруг сконцентрировал свою жизнь именно на таком простом и, даже странно, великом удовольствии, и причислил испытанное в ту ночь к самым значительным, самым тонким, самым счастливым переживаниям, которые прихлились на его долю.

И они заснули потом, а через час одновременно проснулись. Как от удара. Мягкого, пьянящего, в грудь. Нет, им не хотелось повторения. Хотелось им так много, даже непонятно чего. Просто лежали, глядя в потолок.

— Мне это не нравится, — соврал Томеш, и Аннетта поняла, что он хочет сказать, и в знак согласия на секунду прикрыла глаза. Эйфория. Первый отчетливый признак. Могущество и счастье, оттененные смертью. Они обнялись.

— Интересно, — еле шепнул он, — Мы, наверное, можем летать. Это может делать почти каждый импат. Это просто.

В комнате без света, с затененными окнами, в абсолютной тишине они приподнялись над постелью.

— Я часто думал, что ты меня ненавидишь, — сказала Томеш, но звук его голоса был таким грубым, что он осекся.

Эйфорию неизбежно сменяет депрессия. Сначала сникла Аннетта. Она села на пол и застыла, страдальчески искривив рот.

— Зажги свет.

Томеш не слышал. Он был как мощный органнй аккорд.

— Зажги свет! — закричала Аннетта.

— Подожди.

— Зажги свет, — она заплакала.

Поведение импатов прогнозировать очень трудно, однако решение Томеша и Аннетты пойти на месячное затворничество все-таки вызывает удивление. Среди импатов такие случаи крайне редки. Первые часы после эйфории, часы удара, сообщают больному мощный суицидальный импульс, который обычно преодолевается желанием выйти к людям. Предельно интенсивная и насыщенная работа импатического мозга губит многие тонкие связи, необратимо искажает психический баланс и наполняет импата нерассуждающей агрессивностью, которая глушит тягу к отъединению от всего окружающего.

Сам Томеш объяснял все очень просто: появилась возможность исполнить мечту, требовалось только обдумать все как следует, и значит, скрыть себя от людей. Он знал, что это неверное объяснение, но так ему было удобнее. Аннетта с видимым облегчением предоставила все решать мужу, и странно — тот не удивился.

Утро следующего дня они провели у телефона — сообщали

на работу и знакомым, что приглашены в путешествие. Они затамили окна, и теперь ни звуки, ни свет, ни запахи наружу вырваться не могли.

Они почти не говорили друг с другом, а к вечеру второго дня это стало просто ненужным — включалась телепатия. Затем пришла предвидение. Сначала это было угадывание чувства, которое они испытывают в будущем, потом стали проявляться детали, детали складывались в события, что являлось первым признаком омертвения разума — мысли мешались, их было очень много (бомммм, говорил про них Томеш), каждая казалась значительной, представлялось чрезвычайно важным не упустить ни одной, и постепенно мир мыслей автономизировался, оставляя сознание пустым, бессмысленным и пассивным; оно вообще не отдавало бы никаких приказов телу, если бы не частые вспышки ярости, ярости импатической, какую не может испытать здоровый человек. Это было не сумасшествие, что-то другое.

Они изменились внешне. У Аннетты стали расти лицо, ладони и ступни. У нее появился огромный нос, складчатые веки, длинная челюсть, множество морщин (кожа на лице росла быстрее, чем остальные ткани). На всем ее теле ниже груди закручивались черные волоски. Томеш вытянулся, одежда стала до смешного короткой, а лицо, наоборот, сжалось, стало маленьким и злобным. Они разбили все зеркала. Они готовы были убить друг друга.

Каждый день приносил что-нибудь новенькое. Так, Томеш однажды стал инвертом. В то утро он проснулся, как всегда, раньше Аннетты, сел в кровати (грязные, желтые простыни, тусклый свет из ванной, музыка — теперь у них все время играла музыка, потому что они боялись тишины еще больше, чем темноты, Аннетта лежала, уткнувшись лицом между стеной и подушкой, ее густые волосы только и видны были Томешу, но и этого хватало) и посмотрел на жену. Тут же раздался уже обычный великий боммммм кажущихся мудрыми мыслей, из которых выделилась одна: запомнить. Запомнить, как все сейчас расположено, как волосы Аннетты разбросаны по подушке, какие цвета и звуки, и как он сам сидит, спустив на пол босые ноги, как глядит он через плечо на дорогу, ненавидимую до дрожи, любимую свою женушку, запомнить, чтобы заморозить все это, и вставить в рамочку и повесить на вернисаже, и чтобы все проходили и поворачивали к нему свои наглые здоровые рожи, чтобы все смотрели на то, как он обращает сморщенное лицо к жене, как смотрит на нее — пусть любятся! — а потом он взглянет на них и сплюнет, и слюна потечет по портрету вниз, к их ногам. Ноги. Боммммм поутих, и Томеш вдруг понял, что это очень неприятно — босиком по полу, начал было удивляться (раньше нравилось) и прервал удивление.

так как вспомнил, что сегодня он стал инвертом. Теперь он часто вспоминал свое будущее, ставшее настоящим.

Полярности поменялись местами, приятное стало горьким, неприятное притягивало. Инверт. Любопытный и редкий случай, вот бы обрадовались импатологи.

Потом он бродил по замусоренной квартире, кряхтя и морщась, то включал музыку, то выключал, пропускал через себя ток, пил на голову горячую воду, постоянно боролся с желанием выколоть себе глаза, прыгал, кричал, прятался в шкафы, пробовал читать, но не мог: после каждого слова ему чудились запятые. Жена лежала в постели и ждала, когда он к ней придет, и сама себе не верила и говорила: «Я удаляюсь». Ее трясло. Но он пришел к ней, и по пути вспомнил, что так и должно быть, что мир устроен именно так, чтобы, измучившись, муж вернулся к своей жене. Боль и радость в равной пропорции. Единственное, что осталось, хотя бы это. Но ничего не осталось.

Через полчаса он впал в беспамятство и очнулся только на третий день. Он открыл глаза, увидел, что сидит и стучит кулаком по колену, а жена в другой комнате, и понял, что произошла обратная инверсия.

Аннетта, для которой болезнь явилась концом всего, к тому же концом совершенно неожиданным, злилась и вяла. Раньше у нее не было ни одной свободной минуты; постоянные встречи по службе (она работала инструктором в Управлении Коммуникаций), по обществу «Женская Волна», поездки, выставки, все это вырабатывало определенное отношение к Томешу, который все свое свободное время сидел дома в халате и читал. Мысль о том, что до болезни ее жизнь была заполнена, в общем-то, пустотой, не то чтобы не приходила ей в голову — она, скорее, трансформировалась в идею более высокого порядка, которая, если облечь ее в слова (до чего не доходило), выглядела бы так: да, пустота, но ведь ничего другого большинству и не достается, только не все это понимают; не в том дело, что пустота, главное — это приятно, даже полезно и уж, конечно, ради этого стоит жить.

А теперь приятную пустоту заменила гложащая смертельная боль. Из прошлого остался один Томеш, да и тот — непонятно, Томеш ли он. Раньше Аннетта относилась к мужу словно к собственной вещи: с оттенком презрения, с заглушенной и деловой любовью, даже с гордостью адской (терпеть не могла, когда его хлопали по плечу), она и мысли такой не допускала — расстаться с ним, хотя и говорила про это довольно часто. А теперь все кончилось, и уже непонятно было, кто кому принадлежит.

Жизнь Томеша, наоборот, приобрела новый и важный смысл: вялые, туманные и нереальные плёны вдруг получили опору, внут-

ренная мощь, которая во время «до» не давала ему покоя, вырвалась наружу (а внутри стало тошно и пусто), подчинила единой цели, исполнение которой он видел в будущем так же ясно, как видел расслабленное инфантильное существо с уродливым багровым лицом, бывшее когда-то его женой. Он часто думал, не обманывает ли его мозг, не подменяет ли предчувствие фантазией, но всякий раз математически (и это настораживало его) приходил к одному и тому же выводу — все случится именно так, как он помнит.

Каждое утро после тщательной инспекции потерь и приобретенный своего организма он встряхивал головой, как бы отрешаясь от всего, что нависало над ним, пыталось проникнуть внутрь, именно «как бы», потому что отрешиться не получалось. Он чувствовал, как жена лежит отвернувшись, как уговаривает себя заснуть, как она боится нового дня, чувствовал, что придет день и Аннетта умрет и вслед за ней он умрет тоже (иногда пропадало предощущение достигнутой цели). Это предчувствие было неустранимо, ни на секунду не мог он отвернуться от смутных картин своей смерти и смерти Аннетты, не картин, а комплексов ощущений, ощущений расплывчатых и многозначных, хотя и совершенно определенных, определенность которых терялась в наслоениях чувств и мыслей, когда-либо вызывавшихся — в прошлом ли, в будущем — опять-таки тем же самым предчувствием.

...Сыплется боль... мягкая, как летнее воспоминание о снеге... тяжело колыхнется темная штора... множество лиц, почему-то обнаженных... великий, величайший боммммм... все тускло, все сразу же убегает из поля зрения... стоит только всмотреться... это ощущение будущей смерти тонким слоем обволакивало каждое его движение, каждую мысль, каждое восприятие: матовая стена с узорами, покалеченный интеллектор, мерцающий глазками то сиреневое, то желтое, одиноко стоящий под столом, ненужный, потому что до работы с ним не доходило — Томеш предпочитал думать сам (поглаживая виски, пристально вглядываясь в облачно-синюю поверхность стола, мучительно кривясь, поминутно вскакивая в очередном приступе ярости, вскрикивая коротко и по-птичьи)...

Это ощущение будущей смерти не мешало ему, а придавало жизни осмысленность, оттенок трагизма, благородства и чистоты. Бывали даже часы, когда он искренне мог сказать: «Я живу хорошо».

Ко дню своей смерти он набрал великолепную коллекцию из тридцати четырех, может быть, не самых счастливых, но все же драгоценнейших дней, которые составляли теперь основную часть его воспоминаний. (Аннетта временами пыталась вспомнить, что было «до», однако больной мозг отдавал воспоминания неохотно

в жутковатом обрамлении: если ей вспоминалось детство, то обязательно улица Монтебланко, с черно-белой архитектурой, без травы, без деревьев, разграфленная заносчивыми столбами озонаторов, в тот предвечерний час, когда люди охотно кажутся трупами, а у матери смятые белые губы и глаза в темных кругах... Юность представлялась Аннетте лицом сумасшедшего старика Алмо, который гнался за ней по лестнице, а тяжелая дверь в идиотскую мелкую шашечку не поддавалась совершенно, и все мертвые, искаженные образы: падающие трубы и распростертые улицы, и мороз, и многозначительные слова... Тогда она напрягалась, чтобы не закричать, или, наоборот, напала на Томеша, изо всех сил трясла его за плечи, кричала ему что-то настолько невнятное, что даже он не понимал, и Томеш постепенно всплывал из своего глубока (рот отъезжал к правому уху, глаза зажигались) и начинал ее бить — методично, под ребра, и нигде, нигде было спрятаться, ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем.)

В последние дни квартиры пришла в негодность: разрегулировался кондиционер, и приходилось плавать во влажном воздухе; под потолком было невыносимо жарко, на полу выступил мней, граница тепла и холода, очень резкая, проходила на уровне поясицы, мебель была изломана и покрыта бурыми пятнами невесты откуда взявшейся пыли; в большом количестве развелись дрозофилы; осколки, обломки, брошенная изорванная одежда, следы зубов, пятна на стенах какие-то подозрительные; и запах, запах!

Вечером предпоследнего дня (уже известно было, что предпоследнего) неожиданно пришло счастье, выискало трещину, расширило ее и напало на Томеша. Так много было его, что досталось и Аннетте. Она подняла свою морду в ключья слезающей кожи, хрипло кохотнула и схватилась за голову. Дикая скрежещущая музыка, которая терзала ее на протяжении вот уже двух недель, вдруг изменила тональность, и хорошо было бы запеть ее, но голос не слушался.

— Папа, — сказала она. — Хвост.

Томеш блаженно щурился не столько от неожиданного иррационального хищного счастья, сколько от того, что не входило оно в предсказанный, подсмотренный мир, не было к тому никаких предчувствий. А значит, появлялась надежда.

— Красивей тебя на свете нет, — сказал он отвыкшим голосом. — Боммммм.

Но уже взбиралась в это время на крышу соседка с нижнего этажа, придерживая длинную юбку; чуть сгорбившись, кралась она по ступеням, по темному перегретому чердаку к мутному квадрату окна, туда, где на крыше торчали четыре гриба энерго-

приемников. К горячему притронувшись пальцем, зашипела и тут же забыла про боль, утвердилась в догадке, обернулась назад, прислушалась (и с каждым ее движением счастье сжималось, уползало неотвратимо в липкую свою трещину): колеблющиеся лица искажены, воздух теряет плотность, все глаза на нее. Вот спускается она тенью (Томеш замер, Аннетта бурно трясется), вот поднимает она руку к вызову, и вот вызов после месячного перерыва размалывает бурную тишину:

— К вам гости! К вам гости!

Соседка прислушивается, хотя знает прекрасно, что ничего услышать не сможет.

— К вам гости! К вам гости!

Держась за горло, Аннетта смотрит на Томеша. Он закрыл глаза и скривил губы, между бровями появились две вертикальные складки.

— Я не выдержу, — сказал Томеш, а губы слушались плохо.

И соседка закричала, услышав его голос, и белой ринулась вниз, а Аннетта сказала мужу, что надо бы ее как-то остановить, а он подумал, что да, обязательно надо, однако с места не сдвинулся, только побелел у него лоб, а у нее еще сильнее задрожали пальцы. Было жарко, но импата знобило.

СЕНТАУРИ

Телефонный звонок... Мальбейер выключил магнитофон. С подозрением глядя в сторону, дождался третьего сигнала, осторожно поднес трубку к уху и сказал басом:

— Да-а?

Потом расплылся в японской улыбке и продолжил уже своим голосом, впрочем, опять не своим, а слезливым и тонким:

— Дорогой Сентаури, как я рад вашему звонку! Ну что? Как ваши дела? Как здоровье?... Я очень... И у меня тоже... Со мной? Сейчас? Ну конечно! Чем я могу быть занят в такое... Жду, жду... Есть... Ну, жду!

Через несколько минут Сентаури стоял у него в кабинете, огромный, бравый душечка-скаф. Он начал без предисловий.

— Хочу доложить вам, друг Мальбейер, что у начальника моего, у Дайры, есть сын.

— Как?! — вскричал грандкапитан, всем своим видом выражая безграничное удивление. — Но этого не может быть! Вас, наверное, обманули!

— Нет, — мрачно произнес Сентаури. — Не стал бы я наговаривать. Мы делим с ним риск... почти друзья... Но это мне известно из очень надежного источника.

Мальбейер привстал и замахал указательным пальцем.

— Нет, не буду и слушать, кто вам это сказал! Это невозможно, это явная клевета. Дайра! Лучший в моем отряде, такой надежный работник, наша гордость, ни одного замечания! Да кто вам сказал такое, дорогой мой Сентаури?

— Он сам.

Мальбейер вытянул шею, словно прислушиваясь к эху.

— Он сам. Он. Сам, — сел, задумался. — Трудно. Трудно поверить, дорогой Сентаури. Зачем же он вам это сказал? Ведь он должен понимать, что... Неписанный закон — самый строгий. Близкие родственники... Да-а-а. Он, наверно, очень вам доверяет.

При этих словах Сентаури повел головой, будто проглотил что-то колючее, и сделал шаг к столу.

— Вы поймите, не в том же дело, доверяет он мне или нет. Ведь этот закон, ну о родственниках, он не просто так, ведь сколько случаев было, я, в конце концов, не имею права скрывать, это мой прямой долг, и не подумайте, что мне так уж приятно такое докладывать. Я понимаю, я как доносчик выгляжу, но ведь нельзя же иначе, иначе ничего не получится! Да и как я сам могу ему доверять, если у него есть сын, если в любой момент...

Он продолжал бы в том же духе и дальше, но Мальбейер прервал его, всплеснув в восторге руками:

— Это верно, да, это так верно, дорогой мой Сентаури! Не донос, но разумное предупреждение. Да! Слишком многих мы теряем, слишком многое зависит от нашей надежности, и тут уж — да! — тут уж не до обычной морали! Я часто об этом думал, часто. Мне просто странно, что такое случилось с нашим другом Дайрой. Подумать только, Дайра-герой!

Все это происходило с пафосом почти натуральным, но Сентаури еле сдерживался, чтобы не поморщиться. У Мальбейера между тем забегали глаза, он напряженно думал. Сентаури донес о сыне Дайры. Очень чуткий ко всякого рода стечению обстоятельств, Мальбейер почти интуитивно понимал, что отсюда можно извлечь какую-нибудь замысловатую комбинацию. Гранд-капитан гвардии СКАФ Мальбейер, если и не был интриганом в прямом пошлом смысле слова, то очень любил создавать «ситуации». В Управлении он был лучшим шахматистом.

В самый разгар риторических упражнений Мальбейер внезапно осекся и с отцовской, всепонимающей хитринкой поглядел на Сентаури.

— Но с другой стороны, дорогой друг, — продолжил он совсем уже иным тоном, — есть и более оптимистичная точка зрения. Ведь сын у него не вчера родился!

— Двенадцать лет ему, — подтвердил скаф.

— Вот видите, двенадцать лет. А за это время Дайра ни разу не сорвался, не дал повода и даже, наоборот, стал лучшим из лучших. Так что его надо, разумеется, держать под контролем, но выводов! Выводов никаких. Ведь еще никак не проявилось, что у него близкий родственник.

— В том-то и дело, что проявилось.

— Проявилось? Когда? Что? («Так-таки», — подумал Мальбейер.)

— Сегодня он ушел с дежурства, оставил пост, чтобы проводить сына на аэродром.

— А что, сын разве у него живет? — вскинулся Мальбейер. — Странно.

— Нет, не у него. В интернате. У Дайры жена когда-то погибла от импато. Он сюда на каникулы приезжает.

— Так-так, — сказал Мальбейер и подумал: «Так-так».

Комбинации складывались и рассыпались мгновенно, не хватало каких-то деталей и сильно мешало присутствие Сентаури. Сентаури... Впрочем, он мог бы... Мальбейер решил пустить пробный шар.

— Знаете, что мы с вами сделаем, дорогой друг. Мы все-таки не будем никому сообщать. Но сами с него глаз не спустим. Ведь дело-то серьезное!

— Ну а я-то о чем толкую! — истово подтвердил скаф.

— И как только заметите самую мельчайшую малость — сразу ко мне. Ведь тут какая ситуация складывается, — продолжал Мальбейер задушевно-доверительным тоном. — Может быть, вы не знаете, но Дайру прочат на место Коркады-баль. Сейчас ясно, что допустить такое нельзя — слишком опасно. Близкий родственник обязательно всплывет, ведь там проверка так уж проверка, я и то удивляюсь, как до сих пор наружу не вышло. Тогда ему придется уйти из скафов, а ведь вы знаете, как трудно бывшие скафы приспособляются к обычной жизни. Сколько горя это ему принесет! Мы с вами сделаем вот что. Мы создадим ему соперника. И знаете, кого?

— Кого? — замороженно сказал Сентаури.

— Вас.

— А?

— Именно вас, дорогой мой Сентаури! Ведь вы ничем не хуже, разве что позднее пришли к нам. И если вы будете держать меня в курсе событий, то я замолвлю словечко, а... наш дорогой Дайра, к своему счастью, отойдет на второй план. Не займет опасного места и ничем не испортит репутации. Вот какой интересный клубок завязывается!

Пока Мальбейер говорил, Сентаури медленно багровел. Глаза его выпучились, челюсть «выдвинулась вперед».

— Это что же вроде платы за донос, так что ли? Вы что же считаете, что я ради выгоды доложил?

— Нужно ведь как-то оплатить ваше моральное потрясение, — игриво ломаясь, засюсюкал Мальбейер.

— Я! Оплатить? Да как вы смеете, Мальбейер?

— Друг Мальбейер. Друг Мальбейер, мой дорогой.

— Друг Мальбейер. Я пришел, потому что нельзя иначе, а вы мне взятку предлагаете.

— Очень хорошо, очень хорошо, мой дорогой, мой милый, мой честный Сентаури. Ничего другого от вас я и не ожидал. — Мальбейер моментально перестроился, стал строгим и неподкупным. Теперь Сентаури мешал ему думать. — Будем считать, что мы не поняли друг друга и простим незадачливому грандкапитану его маленькую попытку проверить порядочность подчиненного. Очень вас ценю и верю теперь до самых глубин... до самых глубин! Конечно, конечно, это ваш долг, ваша святая обязанность и никто не побуждает вас к низким доносам. Вы скаф, мой милый, скаф, то есть человек высочайшей ответственности, для вас не должно существовать друзей, близких родственников, начальства — только святой долг. Вот ваша точка опоры, единственная, заметьте! И вы правильно сделали, что пришли ко мне, вы отдали тайну в надежные руки. И пусть никто больше не знает о нашем разговоре, самое главное, пусть Дайра не подозревает, пусть он будет спокоен, пусть думает, что вы ему преданы, ведь он тоже предан, согласитесь, что предан — предан и вам, и остальным своим коллегам, и делу... не будем его огорчать. Несмотря ни на что, он очень хороший работник.

— Я...

— А теперь кру-угом, мой дорогой друг, кругом, вот так. Прощайте. И выполняйте свой долг!

Скаф, смутно чувствуя, что его оскорбили, повернулся к дверям. Мальбейер проводил его взглядом генерала, только что вручившего орден: он стоял перед столом, гордо выпятив грудь, одна рука заложена за спину, другая — кулаком на бедре.

ХАЯНИ

Между тем начинался день. Тишину стали пререзать еле слышные телефонные вызовы, то тут, то там завывали лифты, кто-то, покашливая, мягко шел по коридору. Возник насморочный курьер с пухлым синим пакетом службы информации. Через несколько минут, извиняясь, он появился снова и добавил пачку желтых и

белых листов. Желтые следовало подписать, а белые требовали еще и внимательного прочтения. Мальбейер по своему обыкновению рассыпался перед курьером в любезностях, замахал руками («Я вам верю! Не буду и проверять!»), но отпустил только после того, как пересчитал и сверил бумажки с сопроводительным списком. Срочные подлиси и прочтение белых бумаг он оставил на после обеда, так как по опыту знал — это самое тихое время в Управлении, а летом и по всему городу. «Жарко», — подумал он и взглянул в окно. Среди крыш уже горбатилось необычно яркое солнце. И тогда он сказал:

— Привет вам, уважаемое светило!

Стало заметно, что кабинет насквозь пропылен, и Мальбейер, страстный поклонник идеальной чистоты, поклялся себе, что, как только разберется с синим пакетом, тут же примется за уборщиков. Это просто ни на что не похоже! В Управлении — и такое. Подумаешь, у них отпуск!

Первые сообщения дали надежду на легкий день. Там была жалоба на странного продавца («Пусть ваш сотрудник придет, пусть он только посмотрит ему в глаза — ведь парень из тех импатов, которых давно стрелять надо!»), жалоба на мужа («В третий раз обращаюсь к вам. Вы — моя последняя надежда»), несколько обычных шизофренических посланий — одним словом, ничего интересного. Правда, оставалось три телефонных звонка, и от них можно было ожидать любой пакости.

Прослушав первый звонок, Мальбейер зевнул, но после второго насторожился. Судя по белому цвету карточки, звонок был записан всего полчаса назад. Такая оперативность была абсолютно фантастической для разболтанного, недоукомплектованного и погрешенного под рутинной отдела информации. Содержание карточки настораживало. Некая П. сообщала, что в квартире над ней происходят странные вещи — по симптомам типичный и очень тревожный случай запущенного импата. Мальбейер потянулся было к авральному телефону, однако решил послушать прежде третий звонок. По сообщению ночного прохожего, в канализационной системе Римского Района скрывался импат, по всей видимости, неопасный — нулевая, максимум первая стадия. Дело осложнялось тем, что на оба вызова следовало реагировать без промедлений, а было утро, самое уязвимое время в системе скафпатрулирования, когда одни уже отработали, а другие еще не совсем проснулись. Дежурных групп сразу на все не хватало, требовалось задержать кого-нибудь из ночной смены, по закону имевшей право из-за усталости не выходить на ответственные операции.

Мальбейер позвонил в дежурный зал и сладким голосом спросил Дайру. Подошел Хаяни.

— Э-э, видите ли, — смущенно забормотал скаф, — дело в том, что капитан временно отлучился.

— Ах, как жаль, как жаль, — запричитал Мальбейер. — А я-то надеялся его застать. Я думал, что время еще не вышло. Вы не знаете, он надолго?

Хаяни промямлил что-то невразумительное. Мальбейер ничего не понял, но пылко поблагодарил.

— В таком случае не смогли бы вы, дорогой Хаяни, если вам только не трудно, подняться на минуту ко мне?

— Есть, друг Мальбейер! — отчеканил Хаяни и добавил совершенно по-штатски: — В сущности, почему бы и нет.

Вот за это Мальбейер не очень любил Хаяни.

Через десять минут скаф первого ранга Хаяни Эммануил снова появился в дежурном зале. Вид у него был раздосадованный и виноватый. На вопрос Сентаури, что случилось, он развел руками:

— Надо же, стоило только Дайре уйти, и сразу тревога. И если он не появится, команду я.

— Ты? — удивился Сентаури и с укоризной посмотрел вверх.

— Я. Сам не понимаю...

— Я ему позвоню, — сказал Сентаури, бросаясь к телефону, под которым в креслах спали два скафа. Тела их были по-младенчески расслаблены; судя по грязной и мятой одежде, ночь прошла для них не без приключений.

— Глупость какая, — бормотал Хаяни. — Ничего не поймешь с этим человеком.

— Ты про кого? — спросил Сентаури, набирая код Дайры, но Хаяни ничего не ответил. Он не мог рассказать другу все о своей беседе с Мальбейером.

Панически взывал авральный телефон, замигала ярко-красная точка на карте города, и служебный вариант мальбейеровского голоса, металлизированный, без интонаций, начал откуда-то сверху сообщать вводные.

ДАЙРА

Предчувствие родилось во сне, и теперь Дайра, глубоко суеверный, как и большинство скафов, жалел, что поддался усталости и прилег вздремнуть, пока спит мальчишка. Он очень устал. Он не спал две ночи: одну проговорил с сыном, а тот глядел восхищенно и понимающе, а другая пришлось на дежурство, поэтому

глаза у Дайры слипались. Не раздеваясь, он, как пришел, бросился в постель и тут же уснул.

Ничего особенного ему не приснилось: разговоры, рукопожатия, полеты на «пауке» с хохочущим Ниорданом и еще этот вечный сюжет, когда его экипаж и с ними покойник Бэрро, что был до Хаяни, вдруг принимались ловить его, а он прятался в гулких, пустых комнатах с окнами без признака стекол, прислушивался к топоту, а потом приоткрывал дверь, и тощая физиономия Хаяни (обязательно почему-то он!) на длинной уродливой шее просовывалась в проем и начинала обшаривать закопченные углы комнаты огромными грустными глазами, между которыми так неестественно топорщился длинный пергаментный нос, похожий на лезвие. За спиной Хаяни угадывалось копошение, влажные темные отблески кожи, длинные многосуставные пальцы, вороха шевелящихся волос.

...На этот раз глаза Хаяни были еще тоскливее, а нос еще длиннее, а последней мыслью во сне было: «С чего я взял, что это Хаяни?» Мысль была очень мудрой, но додумать ее не удавалось; заворочался мальчишка, и Дайра моментально открыл глаза, уже полный предчувствием. Долго секунды висела перед ним комната, которую так важно было запомнить, ее словно нарисовали на летящем куске густой паутины, а потом паутина растаяла и он проснулся окончательно.

Предчувствие не рассосалось, когда он собирал чемодан, аккуратно складывая разбросанную по стульям одежду, когда бродил по комнатам, еще раз проверяя, не забыто ли что, собирая повсюду бумаги, записки, подбирая обрывки бечевки и проводов, расставляя по местам мелкую мебель, тщательно очищая дом от следов пребывания мальчишки, заставляя дом забыть; предчувствие не рассосалось, а только усилилось, когда он будил сына, а тот все не хотел просыпаться, когда он готовил на завтрак гренки с молоком и яйцом, любимое блюдо мальчишки из того, что легко приготовить (сам-то Дайра не любил гренки); и когда они сидели на кухне друг против друга, а солнце, яркое, неутреннее, било Дайре в глаза и пронизывало кухню сухим антисептическим светом; а мальчишка, один за другим пожирающий гренки, казался совсем уже взрослым, наверное, из-за напряженности в глазах, хотя у детей куда больше поводов для напряжения, чем у взрослых, и тогда тоже не исчезло предчувствие, и Дайра подумал, что добром это не кончится.

И тут мальчишка сказал:

— Я когда вырасту, обязательно скафом стану.

Это было сказано безо всякой связи с предыдущим, наверное, сама мысль постоянно сидела у него в голове и готова была

выплыть наружу при любой, хоть даже и далекой ассоциации. И если посмотреть сзади — белый стол, а над столом чуть согбенная детская спина, ровные белесые пряди волос над спиной, широкие и угловатые, тоже как будто бы костяные, в своей незрелости неприятные Дайре и одновременно родные. Осторожный, жеребчий искоса взгляд.

— Нет уж, — ответил после паузы Дайра. — Хватит с них и меня.

Губы мальчика нервно дрогнули. Они были усыпаны блестящими коричневыми крошками, немигающие глаза напряженно впивались в Дайру.

— Почему?

— Хватит с них и меня, — повторил Дайра, перехватив взгляд сына. И подавил, и заставил его потупиться. — Это грязное дело, уж ты мне поверь. Оно, конечно, святое, но грязнее его ничего в этом свете нет.

— Почему?

— Я говорил тебе. Я зря так много тебе говорил. Надо было, наверное, не вспоминать случаи, а сказать просто, что убивать невинных — последнее дело, и хуже может быть только одно — решать, что с этими невинными делать. Ведь их можно сразу убить, а можно изолировать, а бывает, что и отпускаем, скажем, нулевую стадию. А решать это скафам. Ты представить себе не можешь...

Лицо Дайры, только что бледное, резко покраснело, усы встопорщились, потому что верхняя губа поднялась, и мальчишка снова уставился на него. Дайра не выдержал взгляда, не вынес, что сын так спокоен, схватил его за руку.

— Слушай, ты представить себе не можешь, что такое быть скафом! У нас с ума от этого сходят. А те, что не сходят, те... те тоже... тоже! Они все искалеченные, пойми! Ты не видел. А главное, хоть бы на кого злиться. Может, тут самое плохое, что ни одного виноватого нет. Может, за это именно и не любят.

— Почему не любят? Любят, — пробубнил мальчишка.

— Не любят, сам знаешь прекрасно, зачем? Тут не то главное. Главное, что виноватых нет, ни одного виноватого, сколько ни ищи.

— Эддон, — авторитетно сказал мальчишка. — Кто как не он?

Дайра осекся. Не само возражение поразило его (оно напрашивалось), а тон, которым оно было сказано. Он с жадностью взгляделся в глаза сына и к своему облегчению увидел, что не так уж они спокойны, что в них дрожит что-то и что рот мальчишка приоткрыт.

— Эддон не знал. Он хотел, чтобы все сверхлюдьми стали, он счастья хотел для всех. Разве за это винить? Он и представить себе не мог, что именно, что единственно у людей проявится резонанс, никто не мог такого предугадать. Вы ведь проходили, там такой пакет волн СВЧ. На собаках, на обезьянах испытывали, а у людей вдруг резонанс! Я не знаю, в чем его обвинять.

Постепенно лицо Дайры принимало нормальный цвет, а краснота превращалась в пот. Не вставая с табуретки, он стал шарить по карманам, но никак не мог найти свой платок, и все не прекращал поисков, потому что искал машинально.

— Но ведь его убили за это.

— Он сам застрелился.

— Это версия.

— Он сам застрелился, я тебе говорю. Я его понимаю. Но он не виноват. Чем дальше, тем легче стать виноватым, вот в чем штука. Скоро и шагу ступить будет нельзя, чтобы перед кем-нибудь не провиниться.

— Пап, — сказал вдруг мальчишка совсем мальчишеским тоном. — Я остаюсь с тобой хочу.

Их глаза встретились — недобрые глаза отца и умоляющие сына.

— Нет.

— Я не хочу в интернат, — суженные зречки сына, казалось, сузились еще больше, веки покраснели, и он заморгал. — Почему я должен жить один? Что...

Дайра хотел ответить, сказать все, что полагается отвечать в подобных случаях, хотя и не полагается этих случаев допускать. Что скафы вообще не имеют права жить с родственниками, даже иметь родственников им не рекомендуется, и если кто-нибудь узнает, то будут крупные неприятности, но мальчишка мог спросить, почему бы Дайре не бросить работу, которую он с таким постоянством клянет, и Дайре нечего было бы ответить, разве что заявить: для мужчины главное — дело, а семья и прочее — это все не наше, это все лишнее, пустое, женские заботы. Мужчина, мог бы ответить Дайра, по призванию эгоист, и воин, и — да! — убийца, если хотите. Это Дайра вычитал где-то и, собственно, немного видел он там неправды, может, только правда там и была. На самом-то деле он в это не верил, так было бы слишком все грубо и просто. Он хотел объяснить мальчишке, что быть скафом — действительно святое дело, для которого всем можно пожертвовать, но это же не слова, а правда чистая, но так хочется выйти неискалеченным, пройти сквозь все зажмурившись, и он сказал, прицелившись глазами в мальчишкин лоб:

— Ты должен понять, что любить мне тебя нельзя сейчас.

И тут же почувствовал, что сказал пустые слова, от которых впору поскучить моментально, столько раз они говорились, а больше придумать не мог и даже не знал, что тут можно придумать. Однако мальчишка не поскучил.

— А потом?

— Что?

— Потом ты будешь меня любить? — спросил он, умиротворенно соглашаясь с отцом.

— Конечно! (Проклятая, неумелая, стыдная нежность!)

— А как? — мальчишка словно сквозь обморок спрашивал.

— Ну как? Целовать буду. Обнимать. Ласковые слова говорить.

— Как мама?

Они сидели друг против друга, залитые солнцем, мальчишка хрустел последним гренком, пыль сверкающими точками летала по кухне, и жара вступала в свои права, а Сентаури в это время бежал к телефону; два импата смотрели на мраморную поверхность стола и думали: и страшный запах, и выщербина в столешнице, и соседка, взаклеб рассказывающая про них какому-то мужчине, который ее почти не слушает, а думает, ну когда же ты кончишь, я уже понял все, понял, ему смертельно надоела эта закутанная в одеяло перепуганная, такая сегодня незнакомая женщина, она никак не может остановиться, ее и обвинить-то ни в чем нельзя, но и оправдать тоже почти невозможно; в то время как, держа автоматы-оккамы в правых руках, а в левых держа за шнурки боевые шлембуалы, гуськом выбегают на жару скафы, как взмывают их «лауки», как Дайра смотрит на своего сына. Но не было пока у них сил подняться, сделать несколько простых движений и уйти, пока есть еще время, хотя, пожалуй, и времени у них не было, а Дайра, так похожий на своего сына, протянул руку к вдруг заревевшему телефону, и снял трубку, и поморщился от солнца, и лицо его вдруг покрылось заботой, а лицо мальчишка словно ушло в тень.

И Дайра не ко времени подумал, что это приятно, когда ложь твою принимают и начинают думать так же, как и ты, но надо было делать что-то с мальчишкой, а тот ершился. Что я, маленький, что ли? Не надо мне никого. Сам доеду.

Он старался не показать обиды, а Дайра подыгрывал ему и притворялся, что все нормально. Он даже поцеловал сына в висок (получилось совсем уж неловко) и быстро вышел из дома.

ДАЙРА

На улице было много людей, потому что утро уже кончилось, а поддень не начался. Они шли таропляво, не замечая сочной зе-

дени под ногами, шли, держась кружевной тени деревьев, шли, хмурясь и улыбаясь, шаркая и подпрыгивая при ходьбе; они обтекали Дайру, который замер у своей калитки на улице, насквозь пробитой солнечным светом, и вот машина со свистом осела перед ним, и прежде чем войти в нее (скафы одинаково повернули к нему лица, на которых уже стерты были все выражения), оглянулся назад и даже не то чтобы посмотрел туда, где сквозь деревья в окне маячила белобрысая, аккуратно причесанная голова мальчишки, а только дал ему понять, что помнит о нем и вроде бы как прощается. Мальчишка понял, прижался носом к стеклу, и Дайре стало очень обидно, что такой вот малыш принужден скрывать свои чувства, потому что боится вырезать их как-нибудь не так и показать себя в смешном, стыдном свете. Но в следующий миг он отвернулся и забыл о сыне, с чувством холода и облегчения переключившись на то, что будет делать сейчас, и странно было видеть со стороны, как он не впрыгнул, не втиснулся, а словно всосался внутрь машины, что-то сказал водителю, и в тот же момент они взмыли в воздух и пропали за крышами домов, совершенно бесшумно, а прохожие остановились и проводили машину глазами, и кто-то крикнул:

— Паук!

И кто-то проговорил тихо:

— Паук, паук, будь оно все проклято!

И через секунду все уже постарались забыть о том, что видели, и заспешили по своим делам, а мальчишка отлип от окна, отошел вглубь и склонился над чем-то. Несмотря на обиду, он был рад, что поедет без провожатых.

Пауком патрульную машину прозвали давно, когда импатов еще только учились искать, то есть лет пятьдесят назад, и Лига Святых состояла тогда из хорошо подобранных молодых, а может, они и в самом деле были тогда святыми. Трудно понять то время. Патрульные машины делали тогда особыми, заметными, на вид жутковатыми, как автомобили для перевозки радиоактивных отходов. На капоте, на дверцах и даже на брюхе было намалевано по багровому кресту (клеймо Лиги Святых). Да и сама форма патрульных машин была необычной (их тогда выпускали «Промыслы», старое, сейчас почти забытое объединение, о котором в свое время все знали и не знали только одного — чем же оно занимается на самом деле (громадное неуклюжее здание посреди города, поджарые люди, входящие в маленькую дверь сбоку, вечно запертый стеклянный фасад, множество ни о чем не говорящих скульптур вокруг — неизвестные лица, неизвестные имена, — пластиковая изгородь, ажурная, но безвкусная, во многих местах побитая. Здание это снесли лет пятнадцать назад после того, как

однажды там что-то ухнуло и всех жителей квартала эвакуировали на два дня без каких-либо объяснений). Пауками их называли не столько из-за крестов, сколько из-за пузатости и раскоряченных лап с колесами. Сейчас все идет к тому, что скафа от простого человека и отличить нельзя будет, и машины сейчас делают обычными, всего и разницы, что в городах, где импатов еще много, только скафам разрешается летать, а у других автомобилей даже движки не приспособлены — в спецмастерских выдирают что-то и пробы ставят. Совершенно логичная, справедливая, необходимая мера, и Дайра всякий раз удивлялся, когда слышал недовольство по этому поводу. Вообще, он заметил, что люди обычно возмущаются вовсе не тем, чем на самом деле следует возмущаться. Иногда и возмущаться-то нечем, а все равно плохо.

Над городом было жарко. Движок, только что отлаженный, работал бесшумно, тихо позвякивали шлембуалы, повисшие на дверцах, сосредоточенно посыпывал Ниордан (руки спят на руле, лицо презрительное, верблюжье, полужакрытые глаза, блестящий лоб с глубокими бухтами залысин), притихли на заднем сиденье Хаяни и Сентаури, и Дайра тоже зацепенел, глядя вперед. Минут через пять после отлета он сказал:

— Сына я, считай, проводил, так что сегодня вечером все ко мне.

Город раскинулся от горизонта до горизонта, он казался сложным графическим рисунком на дне блюда с желтой каймой. Из-под машины быстро уносились назад разнообразные крыши, кроны деревьев, нескончаемые полоски улиц, зеркальные, черные, зеленые, матово-серые, и только один дом все тянулся и тянулся и никак не мог кончиться. Никто не знал его длины, так же как никто не знал имени его архитектора. Возможно, где-то в архивах и пылился чертёж с подписью этого сумасшедшего, но слишком уж многие архитекторы почтили Сантарес своим вниманием, чтобы выделять кого-то из них особо. Город сумасшедших архитекторов. Блуждающие дома, дома с переменными формами, растущие дома из органики, стелющиеся фонари, музыкальные тротуары, площадь Ужасов, Пизанский квартал, и над этим огромная уродливая фигура с раскинутыми руками, благословляющая безумие, памятник Эно Крастусу — основателю города. Нигде во всем мире не было ничего похожего, и коренные горожане гордились этим. Город-страна, который сам себя содержит, кормит, обогревает, город со своей экстерриториальностью, с пограничными кордонами, противомпатной службой СКАФ, которая давно уже из организации превратилась в организм, родина импатов и скафов, столице искусств, город героев и юмористов, всенаучный центр, наконец, и сколько там еще можно разлить потоки войну

этой вонючей ямы! А дом все тянулся и тянулся, иногда извиваясь, чтобы обогнуть очередную громаду, и Ниордан отслеживал все изгибы этой коричневой ленты, то и дело пропадающей среди ярко-зеленых и оранжевых и пестро разрисованных пятен, среди травяных крыш и черепичных скверов, среди бассейнов и экохрустальных памятников. Потом вдруг крыша дома вздыбилась, устремилась к машине, словно угрожая, словно сгоняя ее со своей поверхности, и закончилась впереди примерно в километре от них высоченным пиком (имитация под скалу); Ниордан свернул направо, к Римскому Району, туда, где трехэтажники фирмы «Экономия» резко выделяются среди плоских домишек-кебишетов и там стоит пятиэтажный квартал, каждый дом которого огорожен неприступной зеленой изгородью, туда, где для машин места почти нет, где только велосипеды, массы велосипедов, и монорельс, и многоярусное Новое метро.

— Какой, говоришь, дом? — спросил Ниордан.

— Пятнадцатый. Восемьсот пятнадцатый. Желтая крыша, — торопливо, с готовностью ответил Хаяни, покосившись на Дайру.

— Тут половина их, желтых. Не разберешь, — спокойно проговорил Ниордан, и никто больше не сказал ни слова, потому что все знали: никогда не заблудится их водитель, ни разу этого не было. За надежность Ниордану прощали все.

Слева и справа, чуть позади, летели еще машины, и они повторили поворот Ниордана, и получилось у них так слаженно — впору залюбоваться.

— Готовность, — сказал Дайра, чуть сжимая автомат, лежащий на коленях. — Сент, включи-ка датчик.

— Давно уже, — прогудел тот.

— Готовность, есть готовность, готовность, — разными голосами отозвался динамик.

Они надели шлемы, скрыли под вуалетками лица и стали похожи на воинов какого-то тайного ордена.

КИНСТЕР

Когда над дальними крышами нависли сверкающие точки скафовских «пауков», импаты находились в той стадии нервного окоченения, которая предвещала судорогу — пик болезни. Закаменев, они сидели друг против друга за рабочим столом Томеша и вслушивались в быстро летящих скафов. Одна за другой перекрывались лазейки, которыми еще минуту назад можно было воспользоваться.

— Я не могу, не могу, не могу, не могу, — подумал Томеш. — Ни секунды не проснужу.

— Сиди, — ответила Ачнетта.

Он понял, но ему послышалось «траффи-траффи-траффи-траффи».

— Умрем, не могу!

— Сиди, я сама. (Траффи-траффи-траффи-траффи!).

Еще можно спастись. Гулл-глу.

А потом интеллeктор неуверенно спросил:

— Вы живы?

ДАЙРА

Дом, где скрывались импаты, был старым трехэтажным особняком, из тех, что в свое время принадлежали «Экономии». Он действительно был экономичен и почти не требовал энергии на самоустройство. Сейчас в таких домах мало кто жил — недолгий расцвет «Экономии» пришелся как раз на самые сильные эпидемии. Дом был обсажен живой изгородью, и с трех сторон его обступали точно такие же особняки. Фасад выходил на Монтерру, улицу с разрешенным проездом, но она со временем превратилась в аллею, и, несмотря на разрешение, только зеленый новичок мог додуматься до того, чтобы направить сюда колеса. Дубоплетаны, за которыми сантаресцы ухаживали с терпением, вошедшим в поговорку, давно уже сцепились кронами над Монтеррой и образовали ажурный тоннель, куда по вечерам высыпали гуляющие: парочки всех возрастов, мрачные клерки, художники с пятнистыми папками и те, которых в последнее время стали называть андонами — людьми без профессии. Иногда на Монтерру выходил длинный ржавый старик с ироническими глазами и чрезвычайно решительным подбородком. Это была местная знаменитость — один из последних Сумасшедших Архитекторов. Сумасшедшего в нем ничего не замечалось — весьма здоровый старик, зато чувствовалась порода, чего у нынешних молодых не встретишь. Он громко и гулко привязывался к прохожим, пока не уводил кого-нибудь на чай и воспоминания. Тротуар и проезжая часть были покрыты специальной немнущейся травой, поэтому здесь никогда не было грязи. Раньше тротуарная трава была действительно тротуарной, то есть почти черного цвета и длиннее дорожной в полтора раза, но со временем оба вида перемешались и цветовая граница стерлась. Сейчас Монтерра была пуста, потому что по сигналу СКАФ телефонная служба успела поработать и все жители соседних домов были эвакуированы.

Предстоящая операция беспокоила Дайру. Захват импатов, которые вот уже месяц сидят дома, — дело необычное и, судя по всему, опасное. Инструкция на этот счет была, но от нее не

приходилось ждать проку: как всегда, не хватало машин. Нужно было поставить по «пауку» на каждой слабой точке вокруг дома — четыре, не меньше, еще пару подвесить сверху и вдобавок выделить два пеших десанта — один с крыши, другой с подъездной двери. Хорошо еще, что в домах «Экономии» не бывало черных ходов. Самым неприятным местом была задняя стена дома. Она почти вплотную примыкала к соседнему особняку и в зазор между ними машина могла вклиниться только боком, что очень опасно — никогда нет гарантии, что оконные стекла форсированы.

Ниордан повернулся к Дайре.

— Ну, командир?

Тот ощутил в пальцах привычное покалывание — нервный всплеск перед боем.

АННЕТТА

Аннетта не отрываясь смотрела на Томаша, по лбу которого ползла дрозофила. Оцепенение ушло. О том, что они знали наверняка, думать не хотелось. Хотелось жить.

Он тоже искал, он чувствовал, что можно найти лазейку, создать новое «будет», он перебирал лихорадочно вариант за вариантом, вдруг поймал что-то: даже пристал возбужденно, оторвал от пола ноги. Непривычное усилие сбilo мысль, и то, верное, ушло из памяти, постепенно, ловко увертываясь от разглядывания, под конец оставив в виде следа слово «сказал».

Он подумал, ну где же, где же, и Аннетта помогла ему, и он понял. И недоверчиво посмотрел на нее.

— Нет, не хочу, спастись будем вдвоем. Тебе тоже жить надо. Нет. Не хочу.

— Врешь, — сказала она.

— Ты. Лучше ты.

— Не успею.

И он ответил ей, соглашаясь:

— Честное слово, жаль.

— Нет, хорошо.

Он опустился на пол, пошел к ней и чуть не упал, зацепившись ногой о раздавленный интеллектор.

...Дайра машинально поднес микрофон к самым губам:

— Баррон охраняет окно, Дехаан пойдет к фасаду, от каждого «паука» по двое — на лестничный десант. Воздушный десант — наша группа. ДиМарко на всякий случай повисит над домом.

Подумал, сказал:

— Так, пожалуй.

— Угу, — раздалось сзади.

И сразу две машины пошли на снижение, ревом сирен оповещая зазевавшихся о начале захвата. Ниордан, не переключая руль, вошел в глубокий, как бы давно запланированный вираж и мягко сел на крышу. Сентаури, который в обычное время не видел его, восхищенно причмокнул. Казалось, они сели на глубокую зеленую воду.

— Вы и в самом деле ничего не замечаете? — тихо спросил Ниордан. На голове его сняла корона. И никто не реагировал.

В этот момент (всегда так бывало перед захватом) они перестали думать о том, что ждет их в ближайшие минуты, расслабились и мирно вышли из машины. Сентаури вдруг вспомнил, что давно пора бы позавтракать. Хаяни под впечатлением отчаяннейшего мысленного спора с Мальбейером решительно зашагал к люку. Дайра, сохраняя угрюмую маску, пошел неожиданно для себя к задним двигателям. Абсолютно без всяких причин — так он решит позже. Ниордан остался за рулем, растроганно глядя в себя.

В машине они забыли про жару, и теперь зной обрушился на них всей тяжестью, облив моментально потом, придавив плечи, превратив воздух в вязкий аморфный коллоид.

Для десанта крыша была неудобной — маленькая и с бешенками энергоблоков. На противоположном краю стоял шезлонг с прорванной спинкой. Дайра тронул правый задний двигатель — тот был горячий; Сентаури отлепил вуалетку от потных щек; Хаяни, вцепившись в автомат, шел к люку и не сводил с него невидящих глаз — он говорил Мальбейеру, что пусть не рассчитывает. Ниордан тоже смотрел на люк, но с намного большим вниманием: предчувствие, как всегда, родилось у него раньше, чем у других. Он совсем не удивился, а даже как бы и ждал этого, когда раздался глубокий удар, когда люк вспух и с вздохом прорвался. В разрыве появилось что-то круглое и цветастое. Сентаури и Дайра вскинули автоматы, Ниордан опустил правую руку за гарпунным ружьем, один только Хаяни все так же решительно шел вперед с удивленным и похолодевшим лицом. Потом все поняли (они и раньше знали), что это человеческое тело. Выстрелили, но поздно: цель была уже высоко, слишком быстро она поднималась к висевшей над ними машине Димарко.

Димарко высунул голову из окна и тут же взял ее обратно — именно столько времени прошло между двумя ударами — о люк и о машину. При втором ударе Дайра вскрикнул, словно от боли (он явственно услышал треск ломающихся костей). И второй крик раздался — не боли, но торжества. Женщина (теперь было видно, что это женщина, уродливая и старая) резко отскочила от атакованного «паука» и пошла выше, кажется, хохоча. Машина же,

подпрыгнув, завалилась набок и замерла, будто повиснув на невидимой нити.

Скафы воздушного десанта бросились к своему «пауку». Сентаури, который не успел отойти далеко, прыгнул на свое место, за Ниорданом. Дайра, не желая терять времени, прыгнул в кресло замешкавшегося Хаяни и крикнул водителю:

— Давай!

Ниордан, человек во многих отношениях незаменимый, обладая феноменальной реакцией. Он скинул корону еще в момент второго удара и теперь все внимание сосредоточил на импатке, которая почти исчезла в сияющем небе. Приказ Дайры прозвучал уже в воздухе.

— Что же это за степень? — сказал Сентаури. — Она не просто летает, она как пуля. Я таких и не видел.

Их машина рвалась вверх на пиковой мощности, и старуха из точки скоро превратилась в маленькую скрюченную фигурку с растопыренными руками.

— Я видел, — отозвался Дайра. — Жалко будет, если уьем. Медики не простят.

— Оп-пасно! — поежился Сентаури. — Представляешь, как она светит?

Импатка начала что-то уж слишком быстро расти (она рассчитала все: и то, что Дайра станет проверять задние двигатели, а Хаяни не успеет в машину, и многое-многое другое). Скафы вдруг поняли, что она повернула к ним.

— С ума сошла, прямо на нас идет. Самоубийца, — удивился было Сентаури, но внезапно сделал страшные глаза и заорал Ниордану:

— Сворачивай! Сворачивай!

«Паук» резко вильнул в сторону, и в тот же момент Сентаури, закусив губу, выстрелил из гарпунного ружья. Но старуха угадала маневр и тоже свернула. Гарпун просвистел мимо нее, а затем сильный удар потряс машину. Полуоглушенный Дайра вывелился наружу из плохо закрытой дверцы. Чисто инстинктивным усилием он схватился за ручку, его зверски дернуло, и пальцы чуть не разжались, но вторая рука уже нашарила выемку на гладкой поверхности дверцы, и он отчаянно заработал ногами, пытаясь добраться хоть до какой-нибудь опоры. (Аннетта особенно рассчитывала на то, что Дайра вывалится из «паука» и повиснет на дверце, тем самым выводя из игры экипаж второй машины.)

От этого же удара Ниордан неожиданно для себя выпустил ружье и сделал сальто назад, свалившись сначала на Сентаури, а потом левее, на место Дайры. Первый раз в жизни он испугался высоты и оцепенел.

Меньше всех пострадал Сентаури, хотя удар и пришелся почти по нему. Он успел сделать то, что полагалось сделать каждому скафу в его положении, — зафиксировал тело. Как только произошло ошеломление — одна-две секунды, он быстро огляделся и прыгнул к рулю. Имлатка, почти уничтоженная последним тараном, все еще держалась в воздухе и теперь, отлетев порядочно в сторону, разворачивалась для следующей атаки. Сентаури выровнял машину, однако увести ее из-под удара уже не мог: здесь нужен был крутой вираж, при котором Дайра неминуемо сошелся бы. Старуха неслась на машину, а та медленно и ровно уходила от нее в сторону.

Ниордан, еще не придя в себя, схватил автомат Дайры, и Дайра услышал характерный щелчок — перевод с фикс-пуля на смертельные.*

— Гарпун! Гарпун! Черт вас! — зорал он, сам не понимая зачем.

Резко застрекотал автомат. Судя по звуку, каждая пуля попадала в цель.

Дайра внезапно увидел старуху лицом к лицу, уже мертвую, и вдруг понял, что никакая она не старуха, а молодая совсем, только страшная очень. Изувеченная, в крови, она пролетела мимо него, хлестнув по ногам волосами. И упала.

КИНСТЕР

Красота не вернулась к ней после смерти, и это показалось Томешу странным. Или несправедливым.

Он вылетел из окна в тот момент, когда Аннетта прорывалась сквозь люк, — здесь многое решала одновременность.

Лестничный десант находился уже в подъезде. В расчет его можно было не принимать. Две машины с полными экипажами отвлекла на себя Аннетта. Оставалось еще четыре человека на оставшихся двух «пауках». И людей и машины Томеш изучил досконально, еще когда они приближались к дому. Он знал только одну возможность спастись. И знание мешало.

Путь к спасению образовался благодаря целой цепи случайностей (сейчас бы Томеш сказал «детерминированных случайностей», потому что за последние дни его страсть к наукообразию возросла еще больше), против которых пасовал даже профессионализм скафов. Одной из таких случайностей было то, что окно соседнего дома, находящееся напротив спальни имлатов, было распахнуто настежь. Когда Томеш прыгнул туда, скафы — Баррон и Масетта, руки на автоматах, вытянутые шеи, прищуренные глаза — увидели его; он раздвоился: сам пролетел в открытое окно,

двойника на огромной скорости послал между стен (машина рванулась за убегающим импактом, а Баррон помчался к фасаду дома, куда влетел второй (если бы окно было закрыто, скафы по звону разбитого стекла поняли бы, где оригинал, а где копия); было так трудно — удерживать двойника, не дать ему расплыться, это находилось на грани возможностей Томеша.

И все же он смог. Оставалось самое трудное. Он знал, что делать, и все-таки было страшно: фьючер-эффект, феномен анонимного знания того, что случится с тобой в ближайшее время, ситуация, когда ты механически повторяешь все, что прочел в будущем, и этим самым сообщаяшь себе прошлому, что нужно делать (комната без мебели, с огромным ковром, экран, две скульптуры, брошенный ботинок), — этот фьючер-эффект был тогда еще плохо изучен, предзнания не могло быть, и все-таки оно было, здесь крылись какая-то болезненность и ложь, какая-то жуткая двусмысленность (стукнула и медленно развалилась дверь — стид-бамбук — скорость, скорость! — сопротивление воздуха — никакой боли — Баррон на бегу зовет остальных — Масетта разворачивает машину — уверен), это стоило размышлений, но как только начинало казаться, что вот оно, прозрение, тут же раздавался изрядно недоевший великий боммм (лестница — дверь — вот он, Баррон — смотрит не туда — скорость!) и все уходило в болото обрывочных слов и ничемных мыслишек с намеком на первозаданную истину, и начиналась болтовня мозга, тошнотворная болтовня.

В ту короткую секунду, когда Томеш летел от дома через улицу, через кусты к другому трехэтажнику, а Баррон скидывал автомат, а машина с Масеттой уже выглядывала из-за деревьев, а другая машина, с Дехавном и тем, другим, бородатым, поднималась на помощь своим скафам, которых только что ударили Аннетта, изувечив себя, обезобразив, почти убив, и один скаф, черт с ним, с его именем... Дайра... мрачный, сухой и почти испуганный, повис, как и ожидалось, на дверце, в эту секунду импат отключился от мыслей и с необычайной четкостью воспринял красоту всего, что его окружало: цвета, звуки, формы ошеломили его, он ударился в стену и та рассыпалась, и в темный пролом, и снова стена, и снова рассыпалась, и никакой боли, ни даже царапины, он знал об этом заранее.

Баррон, посылая веером сонные пули, ворвался в пролом. Пыль еще не осела. Внутренняя стена комнаты тоже была пробита и дальше виднелась еще одна дыра — наружу. Выходило, что импат пробил дом насквозь, туда, где должно было стоять оцепление, к пустырю. Мелькнул намек на удивление, но Баррон подавил его — не время. «Теперь внимание», — сказал он себе

и кинулся в следующий пролом. Концентрация внимания — с этим у Баррона всегда было в порядке. Он вовремя успел заметить две фигуры, прижимающиеся к стене по обе стороны от пролома, двух человек, один из которых... (никто другой, кроме Томаша и Баррона, да еще умершей в этот миг Аннетты, да еще Мальбейера, который был далеко, даже не догадывался о существовании этого человека, а на нем строилась вся стратегия побега) один из этих людей был брат Баррона, Орпаст; и брат, почти мальчуган, стоял, ажавшись в падающий ковер, в ужасе поднимая руки, а с другой стороны, ощерясь, готовился к прыжку импат с камнем в руке, и Баррон, конечно, понял уловку — не новичок, но тело само повернулось к импату, а не к Орпасту, медленно, как во сне, и в то же время быстро руки сами навели автомат на ложную цель, на копию, на мираж, и только глаза не предали, скашивались на брата, а тот уже летел к Баррону, и с трудом медленно-медленно, с силой поворачивая автомат, Баррон уже видел смерть, Орпаст превращался в импата, а пули дырявили стену, где исчез мираж, а потом импат сорвал ему вуалетку (взгляд-ожог, вскипело под черепом) и Баррон еще не упал, еще чувствовать не перестал, как импат начал его раздевать, и он падал, падал, разглядывая каждую черточку на таком дорогом лице быстро чернеющего импата.

...Масетта выскекивал из машины, а Баррон смотрел из пролома и махал ему автоматом.

— Что-то там не то, — сказал он Масетте задуманным голосом. — Поди-ка!

Сверху падал «паук» Дехаана.

Масетта подскочил к пролому.

— Что там?

И увидел, что перед ним не Баррон, — и в тот же миг удар, и беспмятство, и смерть в беспмятстве, в полном одиночестве смерть.

Дехаан не очень понял, что произошло. Он видел, как упал Масетта, как Баррон прыгнул в машину, он спикировал ему на помощь, но «паук» пошел вертикально ему навстречу, и пришлось отклониться, а машина Баррона набрала горизонтальную скорость и скрылась за домами.

Только через две секунды Ментура, напарник Дехаана, закричал трагическим голосом:

— Ушел!

И Дехаан, мучительно уходя от столкновения с землей, понял, что импат вышел из окружения.

МАЛЬБЕЙЕР

Он не имел права посылать на захват экипаж Дайры, тем более он не имел права назначать его лидером группы захвата, а Дайра, в свою очередь, не имел права упускать импата, у которого была такая стадия, смертельная, третья, сверхтретья. Но Дайра сделал то, что должен был сделать, и ни один скаф не сделал бы больше, ведь никто (кроме Мальбейера) не знал, что у Баррона был брат, что это слабое его место. И вот теперь все вскрылось, Баррон перед смертью бредил и в бреду все рассказал. Однако почти у каждого скафа есть кто-то, и если, как того требуют Закон и Ответственность, отстранять таких скафов, то не останется опытных, будут все время меняющиеся новички, которые, конечно же, не смогли бы справиться с эпидемией. Мальбейер, как и Дайра, сделал все, что мог, пусть не совсем законно, однако именно то, что надлежало сделать в такой ситуации. Он не имел права делать то, что сделал, но права и не делать этого он в равной степени не имел. Собственная роль ему нравилась, и в то же время создавалось ощущение неуловимой, мизантропной подлости, горьковатой и возбуждающей.

Узнав о провале операции, он потер руки, пробежался по кабинету, охая и критически прислушиваясь к своему оханью. Затем изобразил на лице сильную озабоченность, даже отчаяние, и запричитал в телефонную трубку:

— Ах, какое горе, какое несчастье! Ужас, у-у-ужас! Вы не сильно ушиблись, Дайра, дражайший друг Дайра?

— Да нет, со мной все в порядке! — нервно кричал тот. — Вот Баррон и Масетта...

— Да, да, да! Это ужасно! — На секунду Мальбейер замер, глаза его лихорадочно бегали по сторонам. — Вы вот что, Дайра. Я думаю объявить тотальный поиск. Придется вам, уж не обижайтесь, принять лидерство в операции.

— Будет сделано, друг грандкапитан! — машинально ответил Дайра, ибо уловил в голосе Мальбейера уставные нотки. Потом, наконец, задумался. — Мне? Да зачем тотальный?

— Я уже объявляю тревогу. Все скафы в вашем распоряжении. Необходимо как можно быстрее его поймать.

— Но... но... мы ведь... ночное дежурство! — С Дайрой редко бывало, чтобы он так терялся.

— Послушайте, Дайра, дорогой друг, его непременно надо найти, и лучше всего, если это сделает ваша четверка. Чтобы... ну вы понимаете.

— Не понимаю. Мы... Хорошо, но ведь мы и сами справимся, зачем тотальный?

— Сегодня, говорят, у вас холостяцкая вечеринка в музыкальной комнате? — очень тонко сменил тему Мальбейер.

Дайра нахмурился и на секунду закрыл глаза.

— Ну как вам сказать... Да.

— Как это прекрасно, когда люди — друзья не только на работе! — зачастил Мальбейер (Дайра разъяренно обернулся к задним креслам машины, где расположились Сентаури и Хаяни. Те ответили вопросительными взглядами.) — Ах, я давно мечтаю о чем-нибудь таком! Непринужденная обстановка, милые лица, музыка, какая-нибудь из тех... чтобы: уж р-р-р-р! Вы меня не приглашите, дорогой Дайра?

— Вам будет неинтересно.

— Ну что вы, как это может быть!? Пригласи-и-нте, друг капитан! А?

— Что ж... — вздохнул Дайра.

— Значит, договорились. Все. Объявляю тревогу.

— Что случилось? — спросил Сентаури.

— Меня назначили лидером тотального поиска.

— Так нас же нельзя!

Дайра пожал плечами.

— Опять что-то готовит, — вздохнул Хаяни. — Мне это не нравится. Не против ли вас, командир?

— Из-за одного какого-то дурака тотальный поиск! Он сам случайно не хватанул стадию? А может, я спать хочу! — Сентаури был разъярен, может быть, даже больше, чем того требовали обстоятельства.

— Давно пора тотальный, — пробормотал себе под нос Ниордан. — Вон сколько их развелось. Я их лучше всякого волмера чую.

...Носясь по кабинету, Мальбейер громким, взволнованным и наиболее естественным своим голосом отдавал приказы по бленд-телефону. В тех случаях, когда он боялся, что голос выдаст его, он прибегал к этому способу связи. И странно было слышать неподготовленному человеку разнизованную автоматическую речь, что неслась теперь из динамиков всех скаф-диспетчерских.

...и, не забудьте, включить, все, улчичные, датчики, волмера, именно, все, и, ненадежные, тоже...

...уважаемый, пардье, как, я, рад, вас, черт, немедленно, закройте, город, дело, видите, ля, е, том...

...друг, шеф-капитан, просьба, к, вам, просьба, не, могли, бы, вы, объявить, экстренный, сбор... да, да, весь, наличный, состав, это, приказ; но как, личная, просьба...

...объявить, операцию, тотального поиска, чем, вы, так, удивлены, друг, роу, капитан, дайра, трнста, восемь, его, индекс... да,

третьего, вы, чрезвычайно, догадливы, если, номер, на, тройку, то... именно, дайру, все, верно, дайру, третья, третья, и, степень, третья, конечно...

НИОРДАН

Ниордан оторвался наконец от изучения своей короны.

— Что они говорят?

Словно боясь, что их подслушают, Френеми наклонился к нему и горячо зашептал:

— Заговорщики говорят, ваше величество, что народ соскучился по насилью, что он устал от собственной мудрости. Для того чтобы привести его в чувство, утверждают они, нужно уничтожить до девяноста процентов подданных. Тогда, может быть, наступит мир.

— Это плохая идея, но я ничего не могу ей противопоставить, — задумчиво проговорил Ниордан. — Убей их. Впрочем, нет. Пошли каждому из них предупредительные письма.

— Боюсь, что и это не заставит их разойтись, ваше величество. Они ненавидят друг друга, но никогда не расстанутся. Им просто некуда будет деваться.

— Иди, Френеми. Я устал.

И когда Френеми растворился в солнечном свете, Ниордан нацепил корону и повернул голову к Дайре. Глаза сощурены, брови удивленно приподнялись.

— Не понимаю, — сказал он всем (а смотрел на Дайру, на застывшее лицо со сжатыми губами). — Неужели вы и в самом деле ничего не замечаете?

МАЛЬБЕЙЕР

Когда Мальбейеру сообщили, что Томеш работал в Старом Метро, он взбеленился:

— Что-о-о-о?! У них врач месяц не приходит к своим больным, а они и не заметили?

В голосе у Мальбейера появился металл, он почувствовал себя совсем другим человеком, и гнев ему был очень приятен. Он даже еще громче закричал.

Теперь предстоял опасный разговор со Свантхречи. Мальбейер положил руку на клавишу и, по инерции пробуя сердитость своего голоса, задумался.

То, что импат ушел, грозило многими крайне неприятными последствиями и в лучшем случае означало гибель многих беспечных прохожих, которые пропустят мимо ушей сообщение о то-

тельном поиске. Это означало долгое напряжение всех сил эскадрона скафов, а лично для Мальбейера это означало принесение в его игры самых неожиданных осложнений.

Свантхречи откликнулся немедленно. На экране видеофона появилось его четко вылепленное, ухоженное лицо, которое несколько портил юношеский румянец. Это было одной из странностей Свантхречи — пользоваться визером, когда им двадцать лет как никто не пользовался. Странность, впрочем, имела простое объяснение: подчиненный из чувства вежливости принужден был включать свой визер, а его прежде надо раздобыть, что само по себе не просто, и таким образом делал первую самообезоруживающую уступку. Мальбейер визера не включил — бленд-телефон таким устройством не оборудован.

Видно было, как Свантхречи скосил глаза на экран (чуть правее) и недовольно поморщился.

— Кто?

— Друг гофмайор, вас осмелился побеспокоить подчиненный ваш, грандкапитан Мальбейер.

— Включите визер, — приказал Свантхречи, и текст приказа заключал в себе неуволимое превышение власти. Мальбейер усмехнулся, и на другом конце бленд-телефона сказал «эх».

— Прошу извинить, друг гофмайор, но у меня работает только бленд-телефон. Починка займет не меньше двадцати минут, а дело спешное.

— Что еще случилось?

Служба, которой заведовал Мальбейер, была единственным очагом внезапностей в отделе Свантхречи, и в глубине души гофмайор мечтал о том времени, когда ее можно будет упразднить и оставить только сервисные группы. Правда, в таком случае деятельность отдела лишится смысла, но это не слишком волновало Свантхречи. Гофмайору недавно исполнилось сорок лет, и он уже усвоил, что чем меньше смысла в работе, тем легче ею руководить.

— Только что, друг гофмайор, ушел из-под захвата импат третьей степени, подозреваемый в предсудороге.

— Так поймайте его! — Гофмайор еще не осознал всю серьезность происшедшего. Серьезнейшая проблема — предстоящая инвентаризация стекол, рам и моноаппаратов — казалась ему в этот момент более важной.

— Его подозревают в предсудороге, — повторил Мальбейер и многозначительно посмотрел в объектив, забыв, что визер выключен.

— Визер-то выключен! — хихикнул интеллектор. Он так редко подавал голос по собственной инициативе, что каждый раз Маль-

бейер вздрагивал от неожиданности. Он и сейчас нервно сморгнул и злобно погрозил интеллектору пальцем.

Свантхречи перезаривал ситуацию. Лицо его окаменело, и только еле заметный прищур показывал, что гофмайор напряженно раздумывает.

— Ну и что же вы предлагаете?

— Видите ли, друг гофмайор, времени советоваться у меня не было, и я взял на себя смелость объявить тотальный поиск.

Адреналиновый шок. Юношеский румянец на щеках гофмайора уступил место творожной бледности, которая тут же сменилась апоплексическим багрецом. Свантхречи выключил и снова включил визер.

— Вы поступили неразумно.

— Это был единственный выход, друг гофмайор.

Свантхречи опустил глаза и несколько секунд молчал. Но как только Мальбейер попытался что-то добавить, он пристально и угрожающе посмотрел в визер и быстро сказал:

— Зайдите ко мне. Немедленно.

— Сейчас! Есть! Буду! — крикнул Мальбейер. Свантхречи поморщился и выключил телефон.

ДАЙРА

Сложное, почти хаотически модулированное излучение, идущее от импата, очень трудно зарегистрировать: уже в пятнадцати метрах оно растворяется в радиошумах. Единственным средством, позволяющим зафиксировать импата, был тогда детектор Волмера, но и он отличался малой надежностью. Он мог почуять болезнь и на двухстах метрах, заверещать панически, а мог пропустить и в непосредственной близости. Скафы при поиске обычно держали его включенным, но не доверяли ему. Кое-кто полагался только на интуицию.

Дайра терпеть не мог волмер и включал его только в исключительно серьезных ситуациях. Поэтому он долго и недоверчиво ел глазами коричневый динамик на щитке управления, прежде чем сказал Нюрдану:

— Нажми-ка там кнопочку.

МАЛЬБЕЙЕР

По пути к кабинету Свантхречи Мальбейер мысленно перебирал возможности, открывающиеся вследствие происшествия, а общим-то, легко устранимого, — лобга импата третьей степени. На каждом шагу он останавливался, чтобы кого-нибудь попривет-

ствовать, умильно (и чуть со скукой) кривился, восклицал с необыкновенным воодушевлением: «А-а-а! Здравствуйте, дорогой друг! Ну? Что? Как ваши дела?», — сочувственно кивал, вскрикивал от ужаса или радости, смотря по полученной информации, многословно извинялся, что должен спешить, и, сгорбившись, убежал к следующему рукопожатию.

Те, кто не знал Мальбейера, провожали со снисходительным удивлением его тощую фигуру с прижатыми к груди кулаками, в грязной неформенной рубашке и совсем уже неуместных полупижамных брюках. На фоне всеобщей парадности, царившей в СКАФе, это резало глаза. Впрочем, у некоторых вид Мальбейера вызывал неосознанную симпатию. Мальбейер был антиграциозен.

Дверь Свантхречи. Чуть изогнувшись, оторвав левую пятку от пола, Мальбейер постучал по двери перстнем на указательном пальце, архизлодейски скосил глаза вбок, прислушался, обольстительно улыбнулся и, не дожидаясь ответа, вошел.

Кабинет Свантхречи был, как всегда, погружен в сумерки, и только рабочий стол был освещен низко висящим квадратным плафоном. Все в этом кабинете — и вещи, и их расположение, и непараллельность боковых стен, и вогнутость пола — раздражало Мальбейера, хотя причину раздражения он не осознавал. Каждый волен обставлять свой кабинет, как ему заблагорассудится. В Здании попадались куда более вычурные интерьеры. Здесь, по крайней мере, чувствовался вкус и была ясна цель — принизить входящего и возвеличить сидящего. Мальбейер не имел ничего против и, рассуждая отвлеченно, готов был даже одобрить это, однако при воспоминаниях об искаженной перспективе кабинета Свантхречи, о многочисленных экранах с вечно бегущими по ним красными и зелеными буквами, о бесстрастном узкогубом лице с глубокими тенями, девственно чистом столе он кривил рот и прятал руки в карманы.

Все было как всегда. Монументальный и недостижимый стол, Свантхречи, сидящий спиной к зашторенному окну, множество горящих экранов, карт, приборы какие-то непонятные и наверняка здесь ненужные... Во всем, даже в упавшей на пол корзине для мусора, которая словно тянула к Мальбейеру круглую зубастую пасть, было то же превышение власти, что и в приказании включить выдер.

— Почему не в форме? — спросил Свантхречи. Несмотря на средний рост, он казался глыбой, темной и мрачной.

— Видите ли, друг гофмайор, я полагаю, что разговор очень срочный, и поэтому позволил...

— Полагал, позволил... Немедленно переоденьтесь. Своим видом вы дискредитируете... дискредитируете...

— ...весь институт СКАФ! — подобострастно закончил Мальбейер.

— Между прочим, именно так.

Но когда Мальбейер направился к выходу, Свантхречи хмуро остановил его:

— Нет, стойте! Потом переоденетесь. Сначала послушайте меня.

— Да, друг гофмайор!

— Вы прекрасно понимаете, друг гранд-ке-пи-тан, что значит для нас тотальная облава, вы... Особенно сейчас, когда общественная полиция с нас глаз не спускает, когда так возросло негативное к нам отношение со стороны горожан, когда половина состава не обучена и практически беспомощна даже при локальном использовании, когда катастрофически не хватает активных кадров. Вы... — Свантхречи встал. — Я расцениваю это как провокацию!

— Друг гофмайор! — испуганно взмолился Мальбейер.

— Как провокацию. И не надейтесь, друг Мальбейер, что вы отделаетесь только увольнением!

— Ах ну как же вы все неверно понимаете...

— Вы думаете, что я не знаю обо всех ваших подпольных грязных играх, обо всех этих... подшептываниях, подмигиваниях, слушках, шантежиках? Все знаю! Я просто недооценивал вас, думал, что все, в сущности, не польза делу (Мальбейер между тем на глазах серьезнел и гверство слетало с него), а теперь вижу, вы обыкновенный провокатор и мелкий вредный подлец, уж не знаю с какими, но наверняка с самыми гнусными целями!

Мальбейер, не сводя с начальника прищуренных глаз, пожевал губами.

— Неужели вас это удивляет? — спросил он вдруг резким неприятным голосом. — Вы ведь сами ждали от меня чего-то именно в этом роде.

— Ничего подобного я не ждал. Вы уволены.

— Неправда. (Приторная, страшноватая улыбочка.) Если бы вы действительно хотели меня уволить, то не стали бы вызывать сюда, обошлись бы телефоном.

— Да вы еще хамите! Вы арестованы! — рассвирепел Свантхречи.

— Вы не вызываете охрану, вы заметили? И не вызовет. Увы, — Мальбейер развел руками, — все игра.

— Игра? Вы сейчас увидите, какая игра!

И Свантхречи протянул руку к телефонному пульту. Но тут Мальбейер разразился бессмысленной или почти бессмысленной,

во всяком случае, не подобающей моменту тирадой из числа тех, которыми он так любил ошарашивать собеседников в историческую минуту спора. Главное тут было — серьезность, неправдоподобная серьезность и неправдоподобная фальшь.

— Нет правды, Свантхречи, есть только мы с вами. Шантаж — не удар, а касание, туше, и вы прекрасно понимаете это. Прав...

— Ничего не понимаю. Вы о чем?

— Правда начнется, если вы все-таки вызовете охрану, впрочем, и тогда она не начнется, будет просто другая игра.

— Что вы мелете? Вы хоть сами-то сообра...

— Но игра неизменна! Меняется жизнь, а мы не меняемся, даже превращаясь непрерывно...

— Он сошел с ума, — сказал Свантхречи плафону.

— Весь мир сошел с ума еще в момент своего рождения. Самосохраненниининининеее, друг гофмайор!

— Да вам не охрану, вам санитаров вызывать надо!

— И санитаров не вызовете. К тому же ничего страшного не произошло. Ведь игра! Сейчас найдут импата...

— Вы уверены? Да все ваши действия, вся ваша бестолковая... бестолковая... Весь город поднят на ноги. Вы даже отдаленно не представляете себе последствий даже в случае поимки... Вы ни черта не понимаете, безответственный мальчишка, что все это значит для СКАФА.

— Вы имеете в виду борьбу с полицией? — невинным тоном спросил Мальбейер.

— И не только ее... — Свантхречи осекся. Война, которую СКАФ вел с общественной полицией за власть в городе, являлась маленькой семейной тайной административных верхушек и была строго засекречена. Считалось, что единственное ее проявление — общезвестная взаимная неприязнь скафов и полицейских. — Откуда вы... ах да! Подслушивающие устройства. Однако вы... Но раз вы знаете, то — да! Война. Конфликт. Они раздуют эту историю, да тут и раздуть-то... они используют ее...

— Если только мы не опередим их, дорогой друг гофмайор, — улыбнулся Мальбейер.

САНТАРЕС

Раскаленный город медленно пробуждался от затянувшейся сны. Дома со вздохами и сухим кряхтеньем распрямляли посережние за ночь стены, чистились, подкрашивались, жадно вытягивали сегодняшний воздух, сегодняшний свет, звуки, запахи, сортировали их, отделяли энергию от информации, изумленно распаивались или, наоборот, суровели и обтягивались кирпично-красной

металлической бахромой в зависимости от реакции обитателей ка неожиданное сообщение, которым позволил себе обеспокоить жителей Сантареса доблестный гарнизон СКАФ, неугомонная памятка о прошлых кошмарах.

— Облага! Облага!

Бездействующие вот уже шесть лет столбы-волмеры, или гвозди на старом слэнге, бесшумно выросли на тротуарах, на площадях, в подвешенных скверах, обезобразили стадионы и закраснели разом, и слабо зашипели. В небо один за другим взмывали «пauки» с запасными скафами, на улицах стало тесно от синих фургонов для перевозки импатов, эфир наполнился хрипловатыми голесами — взволнованный галдеж, в котором трудно было разобрать что-нибудь, кроме общей растерянности и волнения. Давно, очень давно не знал Сантарес тотального поиска, и хотя болезнь до сих пор уносила ежедневно десятки жизней, к ней успели привыкнуться, она уже не так пугала. И собственно, никто уже не верил в нее по-настоящему, все видели перед собой только скафов, привыкли их не любить, не любить иррационально, не отдавая себе отчета в причинах, однако и к скафам, в общем-то, привыклись — то же неизбежное зло, как и импато, их породившее. А теперь кошмар, казалось бы, прочно забытый, вернулся снова. Люди вслушивались в голос диктора, погибшего от импато-судороги в последний год Карантина, и говорили друг другу:

— Облага?

Высветляли окна и смотрели вниз, на опустевшие улицы и видели «гвозди» (само слово не сразу приходило на ум, а дети спрашивали возбужденно: «Где гвозди, где, покажи!»); кто-то бежал по траве сломя голову, а кто-то, возвращаясь с утренней прогулки, задирая к небу голову по вдруг проявившей себя привычке и невольно ускорял шаг; казалось, даже листва потемнела, потеряла свой праздничный колер; а потом над домами зависал «паук» и все смотрели на него, и ждали: вот вззоет «гвоздь» и «паук» опустится, и скафы, одетые как средневековые рыцари, выйдут на мостовую и целеустремленно направятся к твоему дому; а «гвоздь» и в самом деле взывал, и скафы действительно бежали, и хорошо, когда не к тебе, а к другому, и в большинстве случаев обнаруживалось, что тревога ложная, потому что «гвозди» эти, эти чертовы волмеры, вопят почему зря, но, знаете ли, уж лучше пусть они повопят впустую, чем промолчат, когда надо вопить, а ведь и такое случалось.

Если не считать Томеша, в Сантаресе к тому времени находилось шестьсот пятьдесят пять необнаруженных импатов большей частью с нулевой и первой стадией; вторая была у сороке человек, третья — у двох. Только эти сорок два по-настоящему требовали

изоляции или даже уничтожения и только двое были стопроцентно обречены.

ДАВИН

...Кон Давин (двадцать два года, третья стадия) несколько дней назад чудом избежал захвата и теперь скрывался на втором подземном горизонте Сантареса, где располагались заводы текстиля и продуктов питания, — здесь практически никогда не появляются люди. Болезни его исполнилось двадцать дней. Он уже пережил первый пароксизм ярости и теперь ожидал второго. Тотальный поиск застал его вдали от вентиляционной камеры, где он отсиживался последние двое суток. Голод и жажда выгнали его из убежища. Четвертый пищевой завод, куда он сейчас направлялся, был недалеко, импат уже попал в тоннель, по которому двигался конвейер с пустыми упаковками — когда-то робот-планировщик считал целесообразным разместить производство продуктов и упаковок на разных горизонтах, и теперь эти две точки соединяла длинная извилистая нора, практически никогда не освещаемая. Но Кону это не мешало. Он прекрасно видел в темноте. Конвейер двигался слишком медленно, и большую часть пути Кон летел.

Тоннель неожиданно кончился большим залом с множеством ниш и входов в другие коридоры, а конвейер с упаковками (и в этом заключалось самое спазматическое, как сказал себе Кон) ушел вдруг в пол, в узкую холодную щель, через которую не мог бы протиснуться и ребенок.

Даром предвидения импат владел всего несколько часов, да и то в небольшой степени. К тому же в прежней жизни он был весьма логический человек, поэтому интуиции не доверял интуитизно. Захлебываясь в мыслях, он теперь метался по залу, пытаясь определить, какой именно из тоннелей приведет его к Четвертому заводу. Кон постанывал от голода. В одной из труб журчала вода.

Внезапно труба закашлялась, и в тот же миг шуршание конвейера смолкло. Стихли и другие шумы, отдаленные и смутные. Все остановилось и начало остывать.

— Что-о?! — закричал Кон. — Что такое?!

Входы стали бесшумно закрываться чуть подрагивающими металлическими плитами. Кона бросило в дрожь. Он ничего не понимал, все эти приготовления пугали его, хоть и не верил он в дар предвидения. Потом в центре зала с легким хлопком что-то разорвалось (застыл, вытаращил глаза, похолодало, и темнота сгустилась вокруг), и на полу, словно фантастический болотный росток, вырос пыльно-красного цвета «гвоздь», теплый кошмар из детства.

«Гвоздь» вспыхнул ярко-красным цветом, заболели глаза, поворчал, взвыла сирена. Кон отскочил от «гвоздя», и вой стал тише. Потом с лязгом и скрежетом (залланированным!) раскрылся вход в один из тоннелей, и Кон, чувствуя, как забурлили в нем ярость и страх, ринулся туда. Но там тоже полыхал «гвоздь», и снова пришлось зажмуриться. Грохоча, плита опустилась за ним. Снова сирена, теперь уже впереди.

— Ведут меня! Ведут! — кричал Кон.

МАЛЬБЕЙЕР

...снова подобрел.

— Ах, дорогой друг гофмайор, — вещал он. — Не обижайтесь вы на меня. Вы должны быть счастливы, я создал для вас такую ситуацию.

А Свантхречи ревел, как стартующая ракета, и уже не находил слов для негодования. Оказывается, это был очень неуравновешенный человек. Чем больше он неистовствовал, тем больше успокаивался Мальбейер, тем больше обретал самоуверенность и наглость — не внутреннюю, не ту, что была с ним всегда и только прикрывалась рогожкой лебезения, а и внешнюю тоже, замешанную на доброй улыбке, но нахрапистую, прорисованную в каждой черточке лица, в каждом изгибе тела, в каждом движении.

— Да вы успокойтесь, друг Свантхречи (ах как коробило гофмайора такое обращение!). Вот я вам сейчас все объясню. Предположим, как вы говорите, импата мы не поймеем.

— Но ведь вы же не знаете ничего, ведь того, что с этим со всем связано, и подслушать-то невозможно! А вы со своими картонными играми. Все гораздо серьезнее!

— Так вот, предположим, он от нас ушел. Что, как вы сами утверждаете, не так уж невероятно.

— Не так уж невероятно! Да почти наверняка так! Скафов на тотальный поиск не хватает, половина не обучена... Да полиция нас просто съест!

— Значит, нам надо съесть ее раньше. Не забудьте, я там служил и прекра-а-асно знаю их повадки и слабости.

— Как вы это себе представляете? — с презрением, но уже несколько тише бросил Свантхречи.

— Мы будем задавать вопросы. Кто ополовинил состав СКАФа, кто лишает нас власти, кто требует от нас подчинения, кто, наконец, восстанавливает против нас город? Кто, как не полиция, виноват в сегодняшнем инциденте?

— Но ведь не они же!

— Это мы с вами знаем, а они — нет. Причем атаковать сей-

час, во время облавы. Принудить их к содействию. Чтобы не они нами командовали, а мы ими. И тогда...

— Бред. Наивный и непрофессиональный...

— И тогда с их помощью мы ловим импата. С большим, зметьте, трудом. Причем не столько благодаря, сколько несмотря на...

— А если не поймает?

— Полиции неизвестно, какого импата мы ловим. Их в городе не меньше сотни.

— Но ведь эти импаты не в предсудороге!

— А уж это мы будем определять. Полиции придется поверить на слово.

Свантхречи задумчиво прошелся по кабинету, остановился за спиной Мальбейера, тот запрокинул голову, чтобы видеть лицо начальства, и от этого поза грандкапитана, удобно сидящего в кресле, с задранным кадыком, с привычно умилной миной, стала до того наглой, что Свантхречи с трудом подавил желание плюнуть в его опрокинутые глаза. Он был молод — еще для большого начальника, этот Свантхречи. Он сказал, то ли спрашивая, то ли утверждая:

— Значит, подлог?

— Увы! — Мальбейер юмористически развел руками и, не удержавшись, упал вместе с креслом к ногам гофмайора.

ДЕЛАВАР

...Джеллаган Делавар, тайный импат-нулевик со стажем два года, носил старомодную сплошную вуалетку, которую можно было не снимать в местах, где ношение шлемвуала считается неприличным. Если бы он хоть раз попался в руки к скафам, то был бы тут же отпущен — слишком незначительной была степень его болезни. Но Джеллаган был старик в высшей степени недоверчивый, тем более что ходили слухи, будто сейчас импато нулевой стадии излечивается, а как раз этого он и не хотел, так как болезнь приносила ему много радостей.

Джеллаган жил хорошо (люди и не подозревали, насколько хорошо жил Джеллаган). У него был небольшой домик в три комнаты и даже собственный двор. Всю жизнь Джеллаган мечтал о такой роскоши, и только под старость, когда не мечтать положено, а вспоминать, он благодаря самой страшной в мире болезни добился исполнения своей мечты. Ничего не дало ему нулевое импато — ни дара предвидения, ни телепатии, ни прочих сверхспособностей, которыми щеголяют порой смертники, ничего, кроме тихой постоянной радости и по-детски обостренного восприятия.

Добрый сказочник дедушка Делавар — разве есть ребенок, который его не читал? Радость морозящими струйками омывала его дряхлое тело, ни на секунду не оставляла его.

Она не исчезла и тогда, когда прозвучал сигнал тревоги. Правда, вспыхнул страх на секунду, но не скафов боялся старик, его испугало вот что: вдруг вместе с сигналом появилось перед его глазами неясное видение, что-то плохое, с ним бывшее в будущем. Он подумал, что подступает-таки к нему следующая стадия, а значит, надо со счастьем прощаться. Но потом радость снова взяла свое, и он снова опустился на колени перед травой, перед любимой своей травой, которую сконструировал кто-то и рассадил в восточной части города, травой упругой, чистейшая зелень которой так радовала глаз. Запах земли опьянил его, холодно-влажное прикосновение лаковых стебельков бросило в дрожь, колени удобно утонули в грядке, и он не заметил, как над улицей закружил «паук», как, шипя, перед его домом вырос внезапно «гвоздь», словно призрак ужасный бородача с алебардой, и как вспыхнул малиново и взревел (старик слушал рев и представлял себе песню чудовища эта, он поднял голову к небу и вместо скафов увидел лишь горизонт, то единственное, чего уже больше не было в истерзанном домами пространстве Сантареса — тонкую синюющую полосу).

Когда скафы подошли к нему, он улыбался под вуалеткой. Они были так болезненно прекрасны в своих средневековых нарядах, что просились в новую сказку. Один из них наклонился и протянул руку к его плечу.

— Простите. Но рядом с вами датчик волмера зафиксировал излучение.

— «Гвоздь»? — спросил Джеллаган, улыбаясь обоим скафам.

— Да. Мы бы хотели...

— Но это ведь ложная тревога. Он всегда ревел в эпидемию. Его даже отключать собирались. Или менять, не знаю. Я все очень хорошо помню. Меня зовут Джеллаган Делавар.

— О! — сказал другой скаф. — Мой... я хочу сказать, сын моего знакомого очень хвалил ваши сказки.

И поглядел на напарника. Тот дотронулся наконец до плеча Джеллагана.

— Вы, наверное, правы. Но нам нужно проверить. Работа?

Старик распрямился, отряхивая колени. Это очень странное смешение чувств — радость и панический страх, и панический страх от того, что ты способен по этому поводу испытывать радость.

— Конечно, конечно. Э-э-э, пройдемте. Я покажу вам дом.

— Но... мы бы хотели сначала...

— Да-да!

— Удостовериться, что...

Второй скаф крикнул вдруг с раздражением:

— Да снимите же вы, наконец, свою вуалетку!

ТОМЕШ

...Вырвавшись в город, Томеш сначала захватил одну машину, убив при этом водителя, затем другую. Он носился по ярко раскрашенным пустым улицам, стараясь не попадаться на пути «паукам». Однако потом это стало невозможным, скафы были уже везде, и он не выдержал, бежал от машины, от всего, укрылся в ближайшем найденном тайнике, поблизости от памятника Первым. Каждый раз, когда вблизи пролетали скафы, позвоночник пронизывала боль.

ХАЯНИ

...Самым неторопливым «пауком» в тот час был «паук» Дайры. Он плыл на высоте пятисот метров. Внизу игрушечным макетом застыл город с пустыми улицами, с разноцветными дисками парков, с домами, один из которых являлся частью замысловатого орнамента, очень неоднородного, иногда просто безвкусного (даже сумасшествие способно на глупости и штампы, на штампы особенно) и даже для привычного взгляда очень странного: был в этом орнаменте словно бы стержень, графическая основа, только она никак не улавливалась, а лишь намекала на свое существование. Никто сейчас уже и не помнил, что первоначально план Сантареса представлял собой квадрат с координатной сеткой улиц — рой безумия в клетке здравого смысла. Узоры Сантареса отличались друг от друга и цветами и формой: то вдруг попадется ярко-синий квадрат с небрежно вписанным треугольником, а то видишь замысловатый росчерк грязно-непомятой окраски, которую и цветом-то назвать противно. Тут же квартал зеркальной архитектуры, нестерпимое сверкание стен, чуть пободаль — темно-зеленая с разводами клякса жилого сада.

Откинувшись в кресле, Ниордан глядел перед собой полузакрытыми глазами и нервно барабанил пальцами по рулю. Дайра полностью отключился от того, что было в машине, и непрерывно бормотал что-то в микрофон. Свободной рукой он машинально потирал плечо, ушибленное при падении во время захвата. Сентаури не отрываясь смотрел на город, хотя что-нибудь интересное он вряд ли мог бы увидеть; все, что могло бы заинтересовать его сейчас, было скрыто, и он прекрасно это знал.

Но вот глядел, напрягая глаза, шевелил губами, время от времени сморгивал и встряхивал головой, так что походило на нервный тик. Хаяни рисовал в блокноте кинжалы и автоматы, временами задумчиво глядел вниз, и вид у него был бы непринужденный, если бы не подрагивала нижняя губа.

Постоянной заботой Хаяни было выглядеть как можно фотогеничнее. Он попытался удержать губу указательным пальцем.

— Ты ведь знал Баррона, Хаяни? — спросил Сентаури.

— Как сказать? Здоровался.

— У него наверняка ведь был кто-то? (Они не успели узнать, что рассказал Баррон перед смертью.)

— По-моему, нет.

— Был. Никак по-другому не объяснишь. Такой непробиваемый. Голыми руками импатов брал.

— Да, я читал.

— Не все в книжках пишут, — глубокомысленно заметил Ниордан. — Никто замечать не хочет. Как нарочно. Обидно, да?

— Голыми руками. Он их... во как знал. А этот его — как последнего пиджака. Наверняка какой-нибудь родственничек имелся. Не иначе.

— Помолчите, — прошипел Дайра. — Мешаете.

На заднем сиденье переглянулись.

— Ты бы отдохнул, командир, — после паузы буркнул Сентаури.

Дайра, словно того и дожидался, что кто-нибудь предложит ему отдохнуть, согласно кивнул и, уже откидываясь в кресле, приказал ДиМарко временно принять операцию.

— Пару минут, — сказал он. — Ф-фу, устал. Сумасшедший дом.

— Как вы думаете, командир, — обратился к нему Хаяни. Он как-то особенно вежливо, особенно бережно наклонился к нему, и тон его был вежливый, и глаза, и даже затылок. Только нижняя губа кривилась немного. — Ну, предположим, убьют последнего импата...

— Почему именно убьют?

— Хорошо, — губа дернулась. — Вылечат. Сколько, по-вашему, времени пройдет, пока люди перестанут чувствовать себя голыми без вуалеток?

— К черту твои вопросы! Надоел. К черту!

— С такими пиджаками доберешься, пожалуй, до последнего, — сказал Сентаури.

— И кстати, что тогда будем делать мы, скафы?

— Попрям, — ответил Дайра.

— Вымрем, — хихикнул Нюрдан, и все с удивлением на него посмотрели.

— Командир, я серьезно. Импатов становится все меньше, и скафов, боевиков, в общем-то, тоже. А система растет. Традиции, привычки, эта неприкасаемость, всякие новые службы, без которых раньше прекрасно обходились, а теперь, оказывается, никак нельзя. Так-таки все и ухнет в один день?

— Ты мне лучше вот что скажи, — Дайра плотно сжал веки, лицо бесстрастно, непроницаемо, бородатый пергамент. — Кто сказал Мальбейеру, что у меня есть сын? Знали только мы трое. Ну?

Вежливо улыбаясь, Хаяни смотрел на Дайру и все никак не мог открыть рот. Потом Сентаури, не отрываясь от созерцания городской панорамы, тихо сказал:

— С чего это? Разве он знает?

— А ты будто не слышал, как он про вечеринку спросил. Зачем это в гости набивался? Меня вот главным назначил. Он что-нибудь спроста делает? Да и разговаривал со мной так, словно бы намекал.

— Мальбейер глуп, — заговорил, наконец, Хаяни. — Он намекает на то, чего сам не знает, это его манера. Безмозглый комбинатор. Он тут как-то распинался передо мной, теорию свою объяснял. Взаимная компенсация ошибок. Мечтает создать такую ситуацию, когда ошибка, ну недосмотр в интриге, исправляется другой ошибкой, а та, в свою очередь, третьей. И так до бесконечности. И он чтобы на пульте. Для него важно не то, кто выигрывает от интриги, а то, что она постоянно растет, постоянно все вокруг себя переиначивает.

— Ты? Ну признайся! — с силой сказал Дайра, поворачиваясь к нему.

— Что «ты»?

— Ты сказал? Ведь некому больше! Ведь не Сент же, не Нюрдан!

Удивительно, до чего Хаяни следил за своей фотогеничностью. Слово все время смотрелся в зеркало.

— Да нет, с чего ты взял, командир, почему он сказал? Да и не знает Мальбейер ничего. Показалось тебе, — виновато начал Сентаури.

— Ты? Ведь ты, Хаяни?

Тот фотогенично потупил глаза, фотогенично сглотнул (губа дрожать и кривиться перестала), фотогенично кивнул и наифотогеничным образом улыбнулся.

— Я, командир. Вы уж простите, сам не знаю, как получилось. И не хотел говорить, а... Можете меня выгнать.

— А я так и сделаю, — пообещал Дайра. — Будь уверен. Суперчерезинтеллигент.

Он отвернулся и взял микрофон.

— Да посиди ты без своей операции! — подал голос Сентаури. — Не помрет она без тебя. Ты там командовать будешь, а нам как пиджакам сидеть. И не поговорить даже. Давай хоть минут на двадцать спустимся, сами половим. Невозможно без дела. А, командир?

И опять согласился Дайра. Он отложил микрофон, через плечо глянул на Сентаури.

— Я, кстати, спасибо тебе не сказал.

— За что это? — О, как странно улыбнулся Сентаури!

— Жизнь спас. Спасибо. Если б не ты...

— Э-э-э-х! Если б не пиджаки вроде Баррона, — с ожесточением сказал Сентаури (Хаяни рисовал в блокноте огромный сверкающий нож). — Если бы... На сто процентов был у него какой-нибудь родственничек. Как бы иначе он подловился?

— Да, битый был скаф.

— А надо сразу уходить, когда родственник, пиджаком быть не надо, вот что!

— Спуститься бы лучше во-о-он к тому памятнику, — сказал Ниордан.

— Не вижу я, где там прятаться, — неуверенно заметил Сентаури.

— А вы никто ничего не видите. Никогда. Там что-нибудь может и найтись. У меня чутье. Верно.

— Давай, — согласился Дайра, и они сцепились в подлокотники, готовясь к быстрому спуску.

КИНСТЕР

...Укрытием Томешу служил бездействующий силовой колодезь один из тех, что ограничивал Памятник Первым. Как и во всех фантомных памятниках, в нем, конечно, присутствовала сумасшедшинка, но пожалуй, преобладала глупость. Глупая выдумка, глупая компоновка, глупая трата средств. Но, как ни странно, очень многие сантаресцы любили его, даже скульпторы часто приходили сюда. Некоторые утверждают, что пронстекает эта любовь из дефицита в Сантаресе символов и лозунгов. А Памятник Первым — это вам и символ, и лозунг, правда, несколько глуповато-замысловатый. Первый Импат против Первого Скафа. Скаф — на постаменте среди сквера, Импат — всегда сбоку, в кустах. Собственно, Памятник Первому Импату был из блуждающих — он перемещался по площади чуть ли не двести квадратных метров, меняя

цвет, размер, даже форму меняя. Лишь одно оставалось неизменным — он не спускал глаз с Первого Скафа, неподвижного фантома со случайной мимикой. Если взгляд Импата всегда излучал ненависть, вернее, тот сложный и неизменный набор эмоций, который присущ третьей стадии болезни и за бедностью терминологии называется яростью, то Скаф относился к своему врагу намного неоднозначней. Лицо его выражало то любовь, то жестокость, то каменело монументально, а иногда прорывалась как бы насмешка. Скаф был более человечен, более ясен, а та непонятность, которую придал ему художник, была куда ближе людям, чем загадочная, химерическая, неестественная закаменелость черт вечно убегающего и вечно возвращающегося Импата.

— Тут и спрятаться-то негде, — сказал Сентаури.

— Внимательнее надо, — отозвался Ниордан. — Они любят...

«...Я действую на него, и он притягивается ко мне. Вон какой страшный, разбухшие руки, горб, весь потемнел, неужели и я такой же, я помню, так бывало перед дождем, drobный шепчущий холод, капельный холод, мзгла. Хорошо, что у нас нет детей, хорошо. Жарков небо, еще темней от него, пронизывает, последний раз вижу. А у того, того! Какое лицо, ну его! Словно почувал, безмясый. Как исказило его! Страшно и темно вокруг и тени злобные ходят, и люди с металлическими руками, не вникающие и не желающие вникать. Непонятные правила даже мне, тем более мне. Не помню, не помню, не помню собственного лица! Мерзкий, отвратительный город...»

...— Не люблю этот памятник. До чего ж противный, — проворчал Дайра.

— Почему, — сказал Ниордан. — Чушки как чушки.

— Все помешались на сумасшествии. Хаэтит, Ниордан. Пошли дальше. Ничего здесь нет.

«...Не заметили меня, рожки, крестоносцы, главное было не думать о них, плавно, как лодка, вид снизу, вот оно, вот оно, аххх ты, что-то здесь, я боялся, не знаю, может быть, я и вправду боялся. Бой, в котором я заран... Он двинулся, он двинулся на меня, неподвижен! Острый нос, то ли улыбка, то ли оскал, на того смотрит. Непонятны с детства, страшны, вся жизнь под знаком, алые, мрачные краски, алчные... нет не алые! Замереть, распластаться, мимикризовать, не дышать, не излучать, жить, смотреть вниз, и тот, кто висел, и тот, кто стрелял в мою дорогую жену, всегда подсознательно не хотел знать ничего. Оказывается, правильно...»

...Хаяни не верил в случайную встречу с импатом. Тот затаился, конечно, и теперь много дней пройдет, прежде чем вскроют его убежище. Поэтому поиски его вовсе не занимали. Он зато-

сковал было, но поймал себя на мысли о том, что тоскует слишком фотогенно, для собственного удовольствия, и резко, захватски мотнул головой. Некоторое время он примерял к лицу самые различные выражения — бесшабашность, обиду, хмурость, даже подлость примерил, отчаянную такую подлость, но под конец остановился на ленивом барском равнодушии. Он небрежно глянул вниз, на уплывающий памятник, тонко улыбнулся, приподнял брови и, сморщив длинный нос, подумал, что в этой паре скульптур, несмотря на убогость замысла, есть все же «что-то». Какая-то искаженность, диспропорция, иллюзия жизни. Вот именно в отсутствии смысла, в намеке...

— Сколько раз смотрю на эту парочку, — сказал он Дайре, — никак не надоедает. Ведь правда, красиво?

... — Кр-р-р-а-а-а-с-с-с... красиво! — ответил Томеш.

МАЛЬБЕЙЕР

...ликовал. Разговор был напряженнейший, и отвлекаться на посторонние мысли ни в коем случае не следовало, но он сказал себе все же, я знаю ключ, в каждом под ролью скрыт ребенок, я даже разочарован, до чего люди просты, и этот тоже, и чем больше он пыжится, тем больше он ребенок, ведь он сейчас просто боится меня, мистически боится, как несмышлениш строгого учителя, а ведь я знаю не больше, чем он, вот чудеса. Тут он оборвал себя и подумал, что слишком много времени любит тратить на отвлеченные размышления, когда надо конкретно, однако в этот момент гофмайор Свантхречи вернул его к действительности. Он спросил:

— Вы что, заснули, Мальбейер?

Опять в его голосе появился приказ.

— Простите, задумался. Привычка.

Как странно, подумал Свантхречи, как странно он сегодня ведет себя, уж не сошел ли он и впрямь с ума в этом городе сумасшедших?

Мальбейер изрядно удивил гофмайора, если не сказать, напугал. Он обнаружил такое знание тайных ходов и подводных течений, которые управляли действиями командного состава СКАФа, такое умение каким-нибудь глупым поступком переплести эти течения и ходы в архизапутанные клубки, что ни выгнать его, ни согласиться на дальнейшее пребывание в организации не представлялось возможным.

— Чтобы собрать сведения, которыми вы располагаете, нужно иметь целый штат осведомителей.

— Ну что вы, друг гофмайор, вы подумайте сами, откуда у

строжного грандкапитана такие возможности? Просто держу глаза открытыми и люблю подумать, вот и все.

— Недавно вас обсуждали... в связи с одним вопросом...

— Да-да? — Мальбейер изобразил вежливое внимание.

— Говорили там про вас, что вы интриган, что... но я не верил, я считал, что вы только играете роль интригана, ведь вам лично (да и кому угодно) все эти ваши комбинации практически ничего не дают. И вся ваша незаменимость, вся ваша власть — для чего она?

— Как? Для новых комбинаций, конечно, дорогой друг гофмайор. Для чего же еще?

— Не понимаю вас. Вы блефуете, я уверен.

— Потому что вы не знаете, что такое интрига. Вы привыкли думать о ней, как о чем-то низком и недостойном. На самом же деле искусство настоящей интриги утеряно много веков назад. Все заняты, все что-то делают. Никто не томится от безделья. А ведь настоящая, классическая интрига предполагает полную незанятость комбинатора, полную бесцельность действий. Правда, такие условия в те времена выполнялись крайне редко. Лишь тогда ясна цель, когда нет впереди настоящей цели, вы понимаете?

— Продолжайте.

— Я использую только один вид интриги или, говоря мягче, комбинации. — Мальбейер буквально пел. — Комбинация на предельное усложнение ситуации, когда невозможно все учесть, а значит, и не надо. Ошибка исправляется другой ошибкой, с виду бессмысленной, грубой, но это способствует усложнению, а следовательно, есть необходимый шаг. Цепная реакция, взрыв.

— Чушь какая-то, — Свантхречи вытаращил глаза. — Вам действительно лечиться надо, Мальбейер!

Но тот не слышал.

— Цель. Какая может быть цель? Непредсказуема цель. Калейдоскоп. Но только стеклышек все больше и больше. Усложнение — вот единственное, что нужно. А представьте, что каждый играет в эту игру!

— Я серьезно, вам надо к врачу.

— Сложность только одна. Ситуации склонны затухать. Они, как живые существа, рождаются и умирают. И бывают бесплодны. Даже, как правило, они бесплодны. Мне кажется, сегодня первый раз события сложились достойным образом. Что будет, что будет, Свантхречи!

— Будет то, что я вас арестую, а облаву остановлю.

— А-а-а-а-а, значит, вы поверили мне? Поняли наконец-то, Свантхречи?

— Потрудитесь обращаться в уставном порядке! — загремел Свантхречи, но высокий фальцет Мальбейера перекрыл его рев.

— Мальчишка, щенок, ты ничего уже не сможешь сделать! Через час меня выпустят, а тебя прогонят, только пальцем шевельни против меня!

Свантхречи потерял дар речи и рухнул в кресло. Над ним навис Мальбейер. Он вдруг напрягся, побагровел, закрутил головой и завизжал что было сил:

— Запорю подлеца!

Бедный гофмайор после этих слов ощутил невесомость. Он испугался, причем не какого-нибудь там Мальбейера, нет, ему просто представилось, что вот он, слабый малыш с мягким тельцем, лежит на спине, а кто-то большой, грозный и непонятный собирается сделать с ним что-то ужасное. Детские страхи.

— Кто... кто... — просипел Свантхречи.

— Это я, все я, ваш друг Мальбейер, грандкапитан Мальбейер, друг гофмайор, — Мальбейер стал снова умилен, словно ничего не произошло, уже пятился подобострастно. — Жду ваших распоряжений.

— Идите... идите... — замахал руками Свантхречи.

В дверях Мальбейер остановился.

— Так вы замолвите словечко за Дайру? Теперь-то, надеюсь, нет других кандидатов?

— Что?! — крикнул Свантхречи, но грандкапитан уже захлопнул за собой дверь.

ДЕЛАВАР

...— Вам ничего не сделают, — сказал скаф. — Вас отпустят, как только закончится поиск. Только зарегистрируют.

И Джеллаган подумал, вот я теперь не гений, а самый простой импат, неопасный даже. Ничего не изменилось и, похоже, все кончилось. И я рад. Рад. Рад!

Перед калиткой стоял непонятно откуда возникший фургон. Джеллаган покорно забрался внутрь, сел на ближайшее к двери сиденье и переплел пальцы рук — так, ему казалось, должны делать пленные импаты. Он был неправ — обычно импатов приноывают. Ему же сделали исключение, потому что он был нулевик и потому что он был Джеллаганом.

— С почином, — сказал скаф водителю фургона и направился к своему «пауку».

ДИМАРКО

— Внимание! Сорок шестой докладывает лидеру поиска.
Срочный доклад. Прошу принять вне очереди.

— Лидер на связи. Что у вас, сорок шестой?

— Дайра? Это вы, Дайра?

— Нет, временно замещаю. Это ДиМарко. Что у вас?

— У нас? Схватка с полицией. Они тут...

— Ничего себе! Подождите... Включаю Дайру.

КИНСТЕР

Опустившийся, оборванный, мутный, насквозь пропитанный липкими запахами, Томеш Кинстер будет проживать в это время жизнь за жизнью в бесцельных блужданиях по Сантаресу, жители которого обожают проявлять любопытство на расстоянии, желательно из-за металлизированного окна собственной комнаты. Они давно отказались понять хоть что-нибудь в происходящем, они легко поддаются убеждению и в большинстве своем видят смысл жизни в том, чтобы прожить подольше и повкуснее, и сами же себя за то презирают, хотя и подозревают время от времени, что презрение их кое в чем обосновательно, но все же лучше как-нибудь по-иному, если б вот только не лень.

Долгой веренице жизней импата предстояло вскоре прерваться. Он знал, когда это произойдет и даже что произойдет после. Именно это «после» и заставляло его яриться.

Те жители города, которые по браваде, легкомыслию, убеждению или, что чаще, по необыкновенному равнодушию пропустили мимо ушей сообщение о тотальном поиске, оторопело останавливались теперь, завидя импата, всматривались, как летит он или, скорее, ползет с неожиданной скоростью, запрокинув голову, вытянув руки вперед, словно ныряльщик... останавливались, а затем срывались и убегали в панике. Некоторые выходили навстречу Томешу, раскидывали руки, словно собравшись его ловить, но спроси их в ту минуту кто-нибудь, что именно хотели они сделать, вряд ли можно было ожидать от них вразумительного ответа. Тут было все: и восторг перед самоубийством, и усталость от вечного подспудного страха (с самого детства, страха измучительного, унижающего, иногда ничем реальным не подкрепленного), и презрение, омерзение даже к существу, которое заражает улицы, весь город, которое немислимо здесь, и торжество необыкновенное, что вот он — предел совершенства, а все-таки изгоняем, все-таки обречен. Томеш обходил их, он не испытывал к ним достаточно ярости.

ДАВИН, ДЕЛАВАР И ДРУГИЕ

...Экипаж сорок шестой поисковой машины принял сигнал о наличии импатоизлучения в районе северных общественно-полицейских казарм. Скафов на свою территорию полицейские не пустили. Применяв разрешенную инструкцией степень силового воздействия, скафы все же прорвали заслон, но оказались в окружении и выяснить источник импатоопасности не смогли. Как потом выяснилось, тревога была ложной. Скафы допустили две важные ошибки: не связались при первом сопротивлении с лидером поиска и покинули машину. В результате все они получили сильные телесные повреждения, причем трое на неделю лишились трудоспособности.

...Наверху два скафа тащат импата. Тот не хочет идти, подгибает ноги и злобно ругается. За ним бегут два нарядных мальчугана лет по шести каждый.

— Импат, импат, головой назад!

...Горизонт общественного транспорта, или, как его называли сантаресцы, Новое Метро, замер в момент сигнала облавы. Застыли многополосные тоннели-конвейеры, забитые людьми, остановились двухместные экипажи, управляемые с унипульта. Только что полтора миллиона этих крохотных автомобильчиков носилось под городом на двухсотмильных скоростях; они визжали на крутых поворотах, ухали при переходе с одного слоя горизонта на другой, бешено врывались в узкие темные тоннели, выскакивали на подземные площади, где в полном хаосе, казалось бы, чудом не сталкиваясь, мчались их точные копии, одинаково желтые, мимо афиш, реклам, рукописных признаний в любви, мимо причудливых, быстро промелькивающих скульптур, которые мало кому удавалось разглядеть толком, мимо бесконечных лифтов и эскалаторов, бесчисленных серых дверей; багровый свет, вой, сверканье, мгновенная тьма, спящие лица, чей-то хохот у телевизора, ряды свободных экипажей, люди, вещи, спешка. И вдруг — тонкий фарфоровый звон, ре диез, фа, голос диктора, рефлекторный мороз по коже. Остановилась одна машина, другая, вот уже все стоят, кто-то не понимает, что случилось, не в порядке громкая связь, он пытается выбраться из машины, но дверь надежно заклинена, и, сплющив нос об окно, он заворожено вглядывается в неожиданное и страшное спокойствие, которое воцарилось вокруг.

Вот проросли «гвозди»-волмеры, вот один из них надсадно взревел, и вот, лавируя между умершими экипажами, пробирается к тому месту «паук» с багровым крестом.

...Возьмите меня, скафы, возьмите! Ну что же вы? Я всю жизнь

с голым лицом, я импат, возьмите меня! Не берут... Что ж мне вместо «гвоздя» реветь, что ли?

...О, как бился в руках скафов Кон, как, уже наполовину одурманенный гарпуном, расшвыривал их, какая это была радость, какое счастье и как бесконечно долго все тянулось, за время одного удара можно было придумать симфонию, но почему-то именно симфонии в голову не приходили.

И скафы, поймавшие его, и водитель фургона, все они были новичками, только поэтому они нарушили один из важных пунктов Инструкции по захвату — ни в коем случае не помещать вместе импата высокой стадии с нулезником, так как нулезник может оказаться хроническим, как, например, Джеллаган. Это случалось редко, но все же случалось, а хроники в высшей степени подвержены заражению. Иногда вторичное излучение вызывает у них ураганный всплеск болезни, тогда они сразу перескакивают на высшие стадии и становятся «судорожно опасны».

Джеллаган и Кон оказались в одной машине. Кон сказал:

— Сволочи. Сучьи сволочи.

Джеллаган ответил:

— И пришло лето, и на поверхность вышли слуги дракона Асафа и поклялись отомстить за него.

— Псих! — крикнул Кон. — Уйди, псих!

— И птицы, мохнатыми крылами мотая, круглыми глядя глазами, следили за ними — резко слуги выделялись на фоне зеленого леса, желтыми своими крылами маша неестественно.

У старика дрежал подбородок, старика переполняла особая радость.

— Слушай, ты, слушай! — сказал он. — Слуги дракона Асафа к Министру Зла...

— И-ди-о-о-о-от! — звал Кон. — Нас сейчас уничтожат, а он сказочки!

Джеллаган смотрел на Кона, и его глаза блестели от дикого волнения.

— Как я счастлив сейчас! — прошептал он. — И кровь с паровозных стапелей тихо крадется, а тряпку — в море, и крутить ее, как только детей своих крутят, чтобы ты распух от любви к ним, как я их люблю...

МАЛЬБЕЙЕР

...Ну что, Дайра, дорогой друг? Как наши дела?

— Ищем, друг грандкапитан.

— Много троечников?

— Пока один. Но не тот. Нулевиков очень много. Как бы им не повредить.

— Ничего, ничего. Ну ищите, не буду мешать.

ДЕЛАВАР

...— Что же ты наделал? Зачем к нулевнику посадил этого? — сказал Круазье водителю фургона, а Джеллаган прошептал:

— Из-з-з-з-ви-ни-те меня. Прокляните. Мне все равно.

И опустил голову. Он был рад всему.

Кон лежал на полу машины. Один глаз был закрыт, другого не было. Огромная дыра в кабине, искалеченный мотор — чудом, вот уж истинно, чудом увернулся водитель от верной смерти.

Джеллаган переживал временный спад, предвестие судороги. Скафы стояли вокруг него с укрепленными шлембулами, пальцы на курках.

— О, дьяволы ночные, пришедшие в солнечный луч, — сказал Джеллаган, — о, плененные девы. О, скафы, каким сияют ваши мужеством плечи!

— Не доведем, — тихо пробормотал Круазье, — Ничего не поделаешь. Здесь.

И другой скаф сказал Джеллагану, немного стыдась:

— Прости и прощай.

Старинная формула, которой сейчас не пользовался никто, кроме киношников. Сказал и огляделся по сторонам, и снова впился глазами в импата.

— Вот моя грудь! Я люблю вас! Я счастлив! Если бы вы только...

И выстрелил торопливо.

НЕИЗВЕСТНЫЙ

...запыхался. Икры болят. Сердце колотится. Тридцать один пролет без лифта. Шутка? Эй, вы там, внизу! Все не верите? Смотрите, я импат! Я умею летать! Я лечу-у-у-у!

Из окна вниз, все крутится, рука, больно, что такое, ударrrrrr! (все вспоминалось, все вспоминалось, но не помнилось ничего, как быстро, как быстро, ай-ай-ай-ай-ай-ай!)

да не может этого быть что вы

КИНСТЕР

...Северный порт находился в пятнадцати милях от города и в район тотального поиска не входил. Во времена эпидемий он, не-

известно из каких соображений, был огорожен высокой стеной. Ее давно пора было бы снести, и разговоры такие шли, но то ли руки не доходили, то ли существовало какое-то тупое противодействие, то ли свыклись со стеной люди и даже не думали всерьез об ее уничтожении — одним словом, стена оставалась, уродливая и мрачная.

Помимо множества служебных калиток, в стене имелся, конечно, и главный вход — богато изукрашенные ворота под деревом. Проходя в них, человек сразу попадал на пропускной пункт, оснащенный датчиком Волмера, при котором неотлучно сидел охранник. Охрана формировалась не из состава СКАФа, а из местных полицейских и несла службу лишь по традиции — вот уже семь лет ни один импат не пытался проникнуть на территорию порта. Причиной тому была психология импатов, а главное — то, что им крайне редко удавалось покинуть город.

Теперь, когда Томеш знал совершенно точно, где и как достигнет его смерть, он мчался к ней сам, и не фьючер-эффект гнал его вперед, а желание испытать, надежда узнать главное; и казалось ему, что вот наконец он свободен и делает то, что хочет, а не то, что заставляет его делать неизбежность будущего. Несколько раз он ударялся о деревья лесопосадки, причем один раз так сильно, что рука стала плохо слушаться.

Лесополоса вдоль шоссе была очень узкой — всего десять метров — и настолько загажена, что даже в такую пору никто из отдыхающих не прельстился ее тенью; все они — а в тот день за город выехало более пятнадцати миллионов человек — расположились в семейных коттеджах, генопалатках или просто под большими зонтами. Те, кому не удалось пробиться к воде, разбивали на пустырях собственные бассейны и фонтаны. Отовсюду звучала музыка — то бравурная, то грустная, то легкомысленная, кинокрики, пальба, смех — все это мешалось в один неумолчный гам, как будто не было в тот день ни клочка тишины, как будто всю ее пожрали в тот день отдыхающие. И Томеш ненавидел их со всей страстью предсудорожного импата, теряющего разум, память и последнюю надежду сосредоточиться.

А сосредоточиться было необходимо. Открытие рвалось наружу, и уже готова была ключевая фраза, все объясняющая, оставалось только произнести ее мысленно, однако с первого же слова начинались ответвления, каждое из которых вело к боммму, и Томеш в результате постоянно забывал это первое слово, и все время приходилось возвращаться к началу, и начало отодвигалось все дальше и дальше.

«Будущее все короче, прошлое удлиняется» — это звучало не

банально, а наполнено было мудростью неизъяснимой, всесодержащей, и фраза была тут же, да вот попробуй, найди ее!

Все тридцать четыре дня, все сидения за столом, такие бессмысленные, все бормотания, все, все...

Когда до порта оставалось полмили, Кинстер встал на ноги и вышел на шоссе (фьючер-эффект). Брюки он где-то потерял, рукав скафской куртки был наполовину оторван. Держась за дерево (внезапная слабость), он махнул рукой первой попавшейся машине, и та, конечно, остановилась.

Из окна высунулся водитель, худой мужчина с белесыми ресницами.

— Что случилось, друг?

— Прикрой лицо, — с гримасой отвращения сказал Томеш. — Я импат.

МАЛЬБЕЙЕР

— Друг гофмайор, — проникновенно сказал Мальбейер включенному визеру, — боюсь, что нам пора прибегнуть к услугам полиции. (Что я говорил! Что я говорил!)

— Не нашли? — встрепонулся Свантхречи.

— Нашли. Но... не в городе. В северном порту. наших сил не хватит на оцепление.

— Разве такое может...

— Он прошел контроль в костюме скафа, а когда сработал волмер, сказал охраннику, что преследует импата. Пока тот опомнился... Нам повезло — охранник не из нашей службы.

— Но там же почти никто вуалей не носит!

— Такая неосторожная мода! Боюсь, нам предстоит немало грустной работы, друг гофмайор.

— Ну Мальбейер! Так просто вам это не...

— Друг гофмайор, я...

— Немедленно туда, а я связываюсь с Крэкконсом.

— Да. Пожалуйста. Как мы договорились.

— При чем тут вы?

НИОРДАН

— ...Самое дырявое место — эти нежилые районы, — сказал Сентаури. — Нечего удивляться.

Дайра в сердцах выругался.

— Ну все как нарочно!

«Паук» Дайры мчался над городом, далеко обогнав осталь-

ных. Ниордан, пригнувшись к штурвалу, жадно ел глазами пространство.

— Вообще-то он должен был улететь. По времени должен был улететь. По времени должен был. Много же рейсов! — сказал Дайра.

— Да улетел, командир, улетел твой сын, не волнуйся.

— Сам, сам, собственными руками упустил троечника. Чтобы мне догадаться про нежилые районы!

Жадные глаза Ниордана, широко раскрытые. Все наготове. Только Ниордан без шлемауала. Пикон. Рыцари древнего ордена. Храп коней. Пыль. Красные огромные шары солнца. Не аглядывайся в себя, не время. Детство. Ох, успеть бы только, успеть бы. Вот они предчувствия. Все идет к одному, с самого рассвета. А говорят, судьбы нет, как так нет, когда вот она, пощупать можно, только мальчонку-то зачем. Уверен, уверен, все так и кончится, пошлый детектив, знаю, что все так кончится, только бы, только бы.

— Помнишь, мы видели здесь пылевые смерчи? — сказал Хаяни.

— Да. Сразу две штуки, — ответил Сентаури. Друг Сентаури. Верный друг. Слишком верный.

— Вот вам моя рука! — громко и торжественно ляпнул Ниордан, однако тут же осекся и секунд через пять обвел всех верблюжьим надменным взглядом. Остальные сделали вид, что не слышали, один только Дайра выпучился. Он очень, он чрезвычайно ценный работник, Ниордан.

ДАЙРА

Итак, двадцать три скафские машины, курсирующие над Сантаресом, получили приказ следовать к Северному порту. Сверкнув стеклами, они развернулись. Водители чуть больше сгорбились над штурвалами, чуть сильнее прищурили глаза. Почти одновременно «пауки» удвоили скорость. На окраине города они нагнали машину Дайры, собрались в компактную стаю. И горожане проводили их многозначительными взглядами.

Через пять минут (столько времени понадобилось Свантхречи, чтобы склонить к содействию начальника общественных полицейских войск Крэконсона, ибо Крэконсон не почуял ловушки) расплахнулись золоченые гаражи, полицейские вертолеты — «дворняги» — взмыли в небо и помчались вслед за «пауками» на север. Вертолеты менее маневренны, чем «пауки», но имеют большую скорость, поэтому на подходе к порту полицейские обогнали скафов.

Впоследствии операция выставления кордона была отнесена к числу самых четких и самых красивых полицейских массовых операций за последние пятнадцать лет, но именно с нее начался новый расцвет СКАФа, расширение его функций, усиление власти и последующее обособление в самостоятельное подгосударство.

При подходе к цели вертолеты разделялись и образовали круг диаметром полторы мили, центральная точка которого приходилась на взлетное поле порта.

Три молниеносные команды — и круг упал на землю. При этом повреждено было сто четырнадцать ацидоберез и убит один человек — инженер Института Насаждений. По нему пришелся удар амортизирующей прокладки. Еще не кончился послепударный шок, а полицейские уже выпрыгивали из распахнутых люков, уже устанавливали визуальную и эфирную связь с соседями. Спустя одиннадцать секунд после падения последний из них замер в настороженной позе. Северный порт был оцеплен. Вся операция, начиная с момента подачи приказа о вылете, заняла четыре минуты тридцать одну секунду.

...К этому времени прибыли скафы. Пять машин отделились от общей стаи и заняли стартовые коридоры, несмотря на то что с момента объявления в порту тревоги никто и так не взлетал. Остальные саранчой посыпались на авиаполе. Они упали рядом со зданием вокзала, где сгрудились безликие, почти беспольные люди под гигантскими буквами НОРДПОРТ. Скафы красно-черным потоком полились на толпу, люди расступались, давая им дорогу, у каждого скафа болтался на плече волмер, автоматы наготове, а с плоских телеэкранов, висящих в холлах, бесстрастно взирал на это человек с нервным лицом и по-детски горестными глазами — бывший человек, теперь импат Томаш Кинстер.

Несколько «лауков» упало рядом с задержанными самолетами, дверь каждого самолета была распахнута, и в проемах виднелись фигуры пилот-контролеров. Инспекция проводилась очень быстро и энергично, больше напоминая нападение, чем проверку импатоприсутствия. Пилот-контролеры в спешке были сбиты с ног, бесцеремонно отброшены в глубь салонов. Замершие пассажиры, помертвевшие лица под вуалетками, чье-то визгливое бормотанье, женские истерики, торопливые скафы, громыхающие, мощные, а над каждым креслом мигала надпись: «Задержка рейса».

«Не зря, не зря мне так было мерзко сегодня», — невесело думал Дэйра, пробираясь к диспетчерской вслед за тонким вихляющим чиновником в голубой форме. Он не знал внутреннего устройства здания порта, при нем еще не случалось, чтобы импат проник сюда. Дуреет Кинстер, дуреет, это может кончиться плохо.

Скафы работали почти так же слаженно, как и полицейские. Через несколько минут всю толпу (девять тысяч человек) разделили на небольшие группы, каждый из пассажиров мог быть теперь немедленно взят на прицел.

Грачевшее сообщение о приметах Томеша Кинстера вдруг оборвалось, секунду слышался только многократный глухой топот. А потом неестественно низкий голос произнес:

— Пассажирам, находящимся в зале номер один и примыкающих к нему холлах, предлагается незамедлительно спуститься в залы два и три для прохождения медицинского контроля.

Началась вторая, параллельная стадия операции. Где-то здесь метался предсудорожный импат, его еще только предстояло найти, и одновременно начинался Полный Контроль, операция, которую так часто описывают в книгах и так редко проводят на практике. Но без него в порту не обойтись. Тут любят ходить с голыми лицами.

— Полетят головушки, — тихо сказал Сентаурн.

— Сент, возьми контроль, — сказал Дайра. — Нечего около меня толочся. Все трое идите туда. Я в диспетчерской. Связь по файтингу. (Файтингами они называли боевые телефоны, полностью защищенные от помех и подслушивания, способные осуществлять связь через толстые каменные и даже металлические стены.)

Незакрепленная вуалетка колыхалась в такт его дыханию.

В порту царил резкий запах пота.

КИНСТЕР

...Томеш знал, что умирает, и смерть свою воспринимал легко, точнее, не воспринимал совсем. Он знал — близко судорога, ощущения, которые он испытает при этом, были ему привычны и не интересовали совершенно. Он знал, что умрет, и в то же время не знал, не хотел знать, и это было удивительно легко — не пускать знание. Особенно хорошо он знал, что произойдет в следующую секунду, как он повернет голову, как двинет рукой, как скажет что-нибудь... хотя нет, говорить ему не хотелось.

Он услышал сирену и увидел лица, обращенные к нему, увидел глаза, полные паники, поднял руку и услышал свой голос, громкий и неожиданно чистый:

— Просьба ко всем надеть шлемвуалы. Среди вас больной.

В официальных сообщениях скафы очень редко упоминали об импато. Местное суверие. Черная кошка.

От него все равно шарахались, теперь уже как от скафа, грязного, оборванного, окровавленного убийцы в нелепых желтых с иголки брюках. Томеш с удивлением почувствовал, как сжи-

маются его кулаки, как вздымаются руки, как рот открывается и выталкивает отчаянные, с плачем слова:

— Ведь за вас же, за вас мучаюсь... Душу свою... Клятая война!

Никогда в жизни не слышал он такого ругательства, и в слове «война» никогда не делал неправильного ударения.

Он никак не мог понять, от чьего имени сказал эти слова — от себя или от скафа, роль которого он исполнил. Или это были фьючер-слова, лишённые автора и смысла.

Тело начало выкидывать фортели.

Он переждал два бомма, казалось, таких длинных, а прошло-то всего ровно столько времени, чтобы сделать один поспешный шаг, два бомма вокруг этих слов «за вас же», какое-то там было хитросплетение, намек, напоминание, какое-то очень важное сходство импата со скафом, даже родство. Томеш поймал себя на мысли, что не помнит, кто он — импат или скаф. Что-то я должен сделать.

Все изменилось вокруг. Потемнело и стало фиолетовым, и это пугало тоже, ведь в темноте краски блекнут. Боммм.

Он медленно заносил ногу для следующего шага, окаменелое, напряженное тело рвалось невыносимо медленно.

Вот он, предсудорожный всплеск, вот что это такое. И так же нехотя всплыла первая мысль-зацепка, чистая, без примеси бомма. С каким напряженнейшим ожиданием он вглядывался в ее неясные контуры, как нежно гладил ее ворсистое тело, как тщательно готовился к пониманию! Наружная простота ее была обманчивой. Вглядеться — переплетение мучительных громоздких боммов с множеством ответвлений, а среди всей путаницы одна только ниточка (он позволил себе знать это), всего одна дала надежду на излечение.

— Так-так-так-так-а-а-а-ак! — чтобы перебить боммы и отогнать лишние мысли, сказал себе Томеш. Помогло. Сегодня все получается. Счастливый день!

Медленно приближалась низкая синяя дверь в служебку, тело слушалось кого-то чужого, и Томеш был рад этому, мысль, такая тяжелая, такая невоспринимаемая, требовала полного внимания.

— Только импат...

Зеленая рука, скрючив пальцы, тянулась к дверной ручке, его рука — вот что отвлекало.

— Только импат может...

Глухо рокотали голосовые связки (а для окружающих его визг был нестерпим) — тело Томеша что-то кричало, а за дверью виднелась лестница, а за лестницей — окно (хоть бы не туда, ре-

но), но какая же ясность мысли, клятая война! Вот о чем я мечтал, вот что казалось несбыточным чудом.

— Только импат может справиться с пате...

Лестница, лестница, долгие часы подъема, короткий сон; земного притяжения нет, все твердо, излишне твердо, и цвета странные, таких не бывает, и тишина, только удары изредка, шепотом, непонятно откуда, и ни запаха, ни прикосновения, все онемело вокруг.

...Логическими следстви...

И каждый бомммм плодотворен необычайно, каждая мелочь, каждая чушь превращается в произведение мышления, и время летит быстро, с восторгом, и его много; оказывается, импаты очень долго живут, так долго, что умирают исключительно от усталости.

...Сила, заключенная даже в искаленном мозге, так велика, что...

Дверь. Комната. Человек за столом. Усилим воли передвижение в красный спектр. Фиолетово-фиолетовоюще-зающее. Обращивается. Все могу с ним сделать, могу дать иммунитет, но не в этом же сейчас...

...велика, что...

...ТРЦАТР

...могу заразить и без болезненных последствий, могу мгновенно убить только силой мысли своей. Как просто!

Гезихтмакер Эрик Фиск составлял письмо своему брату, где жаловался на недостаточное внимание к своей персоне и, главное, к профессии. Он не обратил внимания на сирену — уж слишком невероятным казалось ему, как, впрочем, и любому другому портовцу, что найдется импат, который задумает проникнуть на территорию. Табу. Но все-таки, видно, что-то такое отложилось, потому что, услышав дробный топот на лестнице, Фиск окаменел от страха. Неосознанного, почти мистического, уж очень не хотелось ему умирать. Он обернулся точно в тот момент, когда дверь распахнулась и в комнату ворвался скаф, невероятно обтрепанный, грязный. Он сорвал со шлема вуалетку и оставил на гезихтмакера сумасшедший азгляд.

— Что случилось? — вскрикнул Фиск.

(...Велика!)

...вручаю тебе, Эрик Фиск, плохонький гезихтмакер, бесценный дар — чистое импато.

Томеш сосредоточился на Фиске и с радостью почувствовал — тот поддался. Перестраивались нейроны, активность мозга достигла максимума, и гезихтмакер обомлело поднес ко лбу дрожащую руку.

— Удалось!!!

Фиск услышал его, и понял, и не поверил, а когда поверил, спросил, что ты делаешь, и тогда Томеш заметил, что темно-фиолетовое его тело устремляется к гезихтмакеру, что руки со скрыченными пальцами сами собой тянутся к его шее, и самое-то главное, что вот именно в это Фиск сейчас уже не верил, именно сейчас абсолютно он ничего не боялся, а только с удивлением смотрел в лицо Томешу.

ДАЙРА

...сидел в полукруглом диспетчерском зале, за столиком, который, судя по пятнам на полировке, в другое время исполнял функции чайного. Непрерывно бубнила рация.

ХАЯНИ

...Осмотровая комната, которой со времен карантина никто не пользовался и которую даже в те времена применяли не по прямому назначению, была неисправна. Пришлось повозиться с ней, и на это ушло добрых десять минут. Тихо ругаясь, восемь скафов и три портовых инженера пытались отжать согнутую скобу, и все время на них с эскалатора смотрел человек без шлема. Он держал шлем в руке, широко открыв слезящиеся глаза. Он был одет опрятно, словно с картинки.

Наконец, скобу отогнули, комната громко щелкнула и распахнулась, сбив с ног одного инженера. Тот громко охнул, а человек на эскалаторе даже не шелохнулся. И было очень тихо. Инженер резко вскочил на ноги и, не оглядываясь, ушел в одну из служебных комнат. Он шел и на ходу придерживал шлемвуал. Он очень нервничал, потому что во время падения вуалетка откинулась.

— Передай там: на выходе этого изолировать и еще раз проверить, — шепнул Сентаури на ухо ближайшему скафу.

Потом, когда комната была поставлена одной дверью к эскалатору, а инженеры ушли (от комнаты пахло пылью и еще чем-то присущим только атмосферным портам, а на одной из стен красовался огромный желтоватый потек), скафы расставили волмеры, Хаяни и Ниордан заняли пост у входной двери. Сентаури и еще один, лицо которого было им всем знакомо, а имени не помнил никто, стали у выхода, остальные прилипли к стенам. Они должны были конвоировать больных, если те объявятся.

Хаяни распахнул скрипящую дверь и сказал человеку на эскалаторе:

— Заходите.

Тот не двинулся с места.

С полминуты они стояли неподвижно, глядя друг другу в глаза, а остальные настороженно замерли, не понимая, что происходит. Затем Хаяни обернулся и срывающимся от обиды голосом сказал:

— Шуточки. Манекен поставили. Место нашли повеселиться. И Ниордан гулко захохотал.

ДАЙРА

...Импата нигде не было. Только что один из патрулей сообщил, что в задней парикмахерской комнате обнаружен труп мужчины, предположительно гезихтмакера Фиска. Верхняя одежда на убитом отсутствовала, рядом валялись изодранная скафовская куртка, шлемвуэл и чьи-то желтые брюки.

Разговаривая с патрулями и Контролем, Дайра одновременно следил за экранами, перед которыми горбатились два одинаково волосатых диспетчера. Братья, что ли? Сбоку от Дайры стоял худой охранник с шафранной кожей и тоскливо оправдывался. Его тоже мучили дурные предчувствия.

— Я говорю... что, говорю, куда, а он: «Противоимпатная служба. СКАФ, может, слышал!» Чего ж, говорю, не слышать? Служба так служба. Противоимпатная, говорит, служба. А я что — я тоже служба. Я и подумать не мог. А после смотрю — датчик зашкалило. Это еще, думаю, почему? Может, сломался? Они ведь часто ломаются. А скафа и след простыл. Я — тревогу. Я и знать не знал, и думать не думал, что такое получится.

Жужжит телетайп, на экранах медленно передвигаются ярко-зеленые крестики, целый ряд стеновых мониторов показывает толпу на нижнем этаже и пустые верхние залы. Какие-то люди то и дело неслышно входят, деловито проносятся перед Дайрой, возятся с непонятными приборами, торопливо исчезают. Взгляды украдкой, удары-взгляды. Диспетчеры-близнецы в аккуратных костюмах. Похоже, они в микрофоны свои бормочут хором. И охранник.

— У нас, ведь вы поймите, никогда такого не было, чтобы...

На него никто не обращает внимания. Он смолкает, наконец, и уходит.

Дайра зол. У Дайры на уме один сын. Дайра всерьез начинает верить в судьбу. Судьба, думает Дайра, очень любит подводить к драматическим ситуациям. Наверняка мальчишка в одном самолете с этим Кинстером. Наверняка этот Кинстер улетел на одном из четырех самолетов, которые стартовали между тревогой и

отменой стартов. И наверняка вместе с мальчишкой. Это судьба.

— А-а-а-а, Сент? Ну что? Как там? Установили? Что так долго? Что? Какой манекен? Послушай-ка... ты там... насчет детей. Ты их всех переписывай... Да. Да! Понятливый нашелся. Придумаешь что-нибудь. Давай. Некогда.

— Деннис, послушайте, Деннис, я не знаю, что там делают ваши люди, в какие игры они играют. Но у меня уже второй случай прохода через кордон. Ну да, конечно в порт, но где гарантия, что нельзя выйти наружу. Ах, датчики? При чем тут датчики? Вы лучше оцепление понадежнее делайте, у вас там, я чувствую... Мне надежность нужна, надежность, а не ваши оправдания! Вот и не надо. Да. Да. Все.

Может быть, сейчас его приведут. Нет, не приведут, конечно, а запишут и сообщат. Сентаури позаботится, сразу скажет. Не могло, не могло так случиться, все как нарочно. Словно кто-то подстроил. Я это заранее чувствовал. Еще с утра. Нет уж никаких сомнений, с той самой минуты, как этого Кинстера в порт занесло. Если для мальчишки все кончится хорошо, будет даже обидно, честное слово. Я уже поверил в самое худшее.

— Да-да, я здесь, слушаю.

«Я буду гоняться за ним с автоматом, я, я, сам гоняться буду, а он сразу в третью стадию перескочит, малыш ведь, нежный, будет рвать от ярости, уничтожать всех, до кого дотянется. Я пушу ему пулю в лоб, пулю я ему в лоб, я ему отомщу за своего мальчишку, мальчишке своему отомщу!»

— Что значит «нет»? Чтоб каждый сантиметр! Чтоб ни камня на камне, но чтобы его сюда. Не может быть ему такого везения. Нам и теперь вон сколько мороки предстоит. Исполняйте!

Что мне с его каникул? Только мороке одна. Не люблю я его, он мне только мешает. Вполне проживу. впа-алне. Я скажу себе стоп, скажу хватит, я смогу, ничего тут сложного нет. Я-то что? Вопрос в том, чтобы он мучился меньше, вот ведь теперь как. О, ГОСПОДИ, ТОЛЬКО БЫ, ТОЛЬКО БЫ ОН НЕ ЗАРАЗИЛСЯ ВЕДЬ БЫВАЛИ ЖЕ СЛУЧАИ! НУ СДЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ, ГОСПОДИ!

ХАЯНИ

...Первые четырнадцать человек были здоровы, только очень напуганы. Ниордан пристально и хищно оглядывал каждого, и Хаяни еще не успевал ничего понять, как уже слышал его простуженный голос:

— В порядке. Следующий.

Хаяни изо всех сил пытался сосредоточиться. Он знал — екор его заменят. Очень утомительно осматривать столько обмер-

ших от страха людей. Потом вошел мужчина с мальчиком лет шести, и тогда Ниордан рывкнул:

— Ребенку выйти!

По правилам дети подвергались Контролю в первую очередь.

— Но... Я... Это... — заволновался мужчина.

Он задыхался от жары под своим шлемвуалом, и мальчик тоже, только мальчик не обращал на это внимания, ему было очень интересно. А к вуалетке он привык.

— Ребенку выйти!

Мужчина склонился над мальчиком, почти прошептал:

— Подожди-ка меня там, сынок.

И погладил его по блестящему шлему, и слегка подтолкнул в открытую дверь.

— Снимите вуалетку, пожалуйста, — мягко попросил Хаяни, предупреждая новую грубость Ниордана (тот уже заранее побгровел перед следующим приказом. Сейчас он был отвлечен и коряв).

Мужчина снял шлемвуал, и волмер ожил, запел неуверенно.

Ниордан вглядывался в его растерянное лицо не больше секунды, затем повернулся к конвою:

— Ведите. Вторая.

— Нет, подождите, как же так? — заволновался мужчина. — Там же ребенок?

Его уже выволокли из комнаты, когда он крикнул:

— Сынок! Адрес запишите! Адрес!

Ниордан был ас своего дела. Хаяни — новичок. Но и он без всякого волмера уловил свойственную импатам... зйфорическую отрешенность... особую сумасшедшинку, одним словом, ту неуловимую особенность, которую непрофессионалы и не заметят сразу.

— Становлюсь скафом, — подумал Хаяни.

Это враки, что он решил покончить с собой с отчаяния — отчаяния не было. Это враки, что он готовился к самоубийству все время, сколько был скафом. Так многие потом говорили, даже с уверенностью, даже факты припоминая, но это неправда. Хаяни ни о чем таком всерьез не думал. Он всегда чувствовал, что делает не так и не то, мучился, разумеется, и разумеется, без мрачных мыслей не обходилось, но почему он все-таки учудил такое, не знает никто, в том числе и сам Хаяни.

А все было просто. Когда он увидел эту женщину — лет тридцати, уже не юную, усталую очень и не очень испуганную, пожалуй, даже меньше всех предыдущих испуганную, именно в тот момент нарыв прорвался (может быть, независимо от появления женщины). Он сразу заметил, чуть ли не раньше, чем Ниордан,

что женщина больна, тут и слепой бы заметил — ярко выраженная вторая стадия в начальном периоде (даже подрагивание ресниц, о чем во всех книгах пишется, но что наблюдается далеко не так часто).

Женщина стояла чуть ссутулившись, и оранжевая вуалетка-невидимка с этакой узорчатой изящной тюбетеечкой, заранее снятая, покачиваясь, свисала с ее правой руки. Она ждала, что ее пропустят, явно ждала, и... черт! ...тут невозможно объяснить сколько-нибудь понятно... Хаяни откинул свою вуалетку, подошел к женщине вплотную, взял за плечи (мешал автомат в руке) и поцеловал ее в губы. Женщина отшатнулась.

— Дурак! — заорал Сентаури, а Нюрдан сказал наждачным голосом, полуобернувшись к конвою:

— Вторая. Обонх.

— Ну зачем, зачем, идиот, кретин, пиджак, ну что ты надедал, что доказал, к чему?!!

А Хаяни уже нравилось то, что он сделал, ему казалось — он поступил верно, он испытывал радость, а воспоминание о будущей смерти, почти неощутимое, и мешало этой радости, и наполняло ее достойной печалью.

Женщина билась в руках конвойных и пронзительно визжала, а Хаяни сказал Сентаури:

— Будь так добр, проводи меня до машины.

И тот, яростно глядя ему в глаза, сдерживая себя, ответил:

— Пожалуйста.

МАЛЬБЕЙЕР

...В зал входят какие-то люди, среди них Мальбейер. Потирая руки, улыбаясь, будто что-то сейчас приятное скажет, он направляется к Дайре. По пути очень вежливо кивает спиной диспетчеров. Молчу, молчу, молчу!

— Ну что тут у вас, Дайра, дорогой друг Дайра?

Мальбейер неприличен. На него невозможно поднять глаза.

— Ах, сколько же здесь приборов и какие все допотопные! Ну как, не поймали еще?

— Нет, — отвечает Дайра и снова наклоняется к файтингу. — Продолжайте.

— Это вы не мне, — уточняет Мальбейер.

Дайра отрицательно мотает головой (тише!) и поднимает указательный палец.

— Тут женщина одна, — слышится в наушниках. — Триста пятый, говорит, провожала. Кинстер, похоже, туда садился.

— Она что, по фотографии узнала?

— Нет. Разве узнаешь? Странный, говорит, тип. Нервный такой. И длинный. Мужчина.

— Какой, говоришь, рейс?

— Триста пятый. На Рамс.

— Ага, так.

И Дайра замирает и уже ничего не может. Мальбейер, причудливо изломившись, глядит ему в глаза, а спрятать их невозможно, не может скаф чувствам своим поддаваться — профессия, нельзя ему. Разве не говорил я, что судьба любит драматические ситуации. Ифигения, шутка гения. Отец закрывает лицо плащом, чтобы люди не видели его горя, да? Гениальная, говорят, находка, мол, горя не передать, не любит оно чу... Триста пятый на Рамс, на Рамс, триста пятый, пялятся, что он так... триста пятый, триста пятый, вдвоем, ах ты, как же нескладно все получается!

— Список пассажиров. Срочно! — говорит Дайра.

Не понимают. Не понимают!

— Триста пятого рейса список!

— Какой список, вы что? Давно уже никаких списков не ведем, — говорит один из диспетчеров. У него лицо как натруженная ладонь. Остальные молчат. Дайра морщится и тихонько стонет, словно с досады. Смотрят. — Как карантин кончился, с тех пор и не ведем.

— Кто приказал?

Молчанье.

— В чем дело? — спрашивает Мальбейер, а глаза у него горят, он все понял, однако спрашивает, зачем? Ришелье или Рашелье, как правильно? Сколько блеска вокруг, как все-таки много красоты вкладывают в приборы, надо дело делать, надо дело делать, он там сидит у окна, а через несколько кресел, спрятав под вуал... скорее, узнать, что?!

— Свяжитесь с триста пятым. Когда у них связь. Скорее.

Дайра говорит, обращаясь ко всем, словно помощи просит, нет, требует, нет, вымогает.

Диспетчер с натруженным лицом заглядывает в свои бумажки и глухо отвечает:

— Связь через двадцать минут. Вызвать вне графика?

— Да. Нет. Испугаются. Еще паника начнется. Подождем. Ну где ж эта баба?

Что-то бормочет фэйтинг, и Дайра отвечает что-то, сам толком не знает что, но, видно, все правильно говорит, потому что никто не удивляется и не переспрашивает. Мальбейер, наклонившись вперед, с хищным лицом мечется по диспетчерской, и ничего нельзя сделать, дождался бы денек, ну опоздал бы к заня-

тиям, господи, зачем же я его гнал-то... или не Ифигения там была?... зачем же так старался избавиться, полицейские, застывшие в оцеплении, оцепеневшие в оцеплении, оцеплеванные в оцеплении — импаты нужны, чтобы жили скафы, скафы нужны, чтобы умирали импаты, банально, аксиома, а где теорема?

...на всех посадочных площадках маршрута.

— Что? — переспрашивает Дайра.

— Я говорю, друг капитан, — повторяет Мальбейер, — надо бы распорядиться, чтобы их ждали на всех посадочных площадках маршрута.

Пока Дайра отдает нужные приказания, вводят женщину. Дама средних лет, в прошлом шикарная, модное лицо, но от него уже мало помощи, все в прошлом.

Скаф, который ее привел, с видимым наслаждением откидывает вуалетку.

— Вот она. Та, что Кинстера видела.

Дама вертит в руках микроскопическую сумочку. Суетливо кивает в подтверждение. На ней изящный шлемвуал «Молодежный», вуалетка прозрачная, коричневого цвета.

— Вы можете снять свой шлем, — говорит Дайра. Он терпеть не может разговаривать с женщинами в шлемвуалах. Со смерти жены. Нервное. Дама мнетя и говорит: «Боюсь».

— Можете не бояться. Здесь находятся только те, кто прошел проверку. Снимайте, снимайте.

Он смотрит на скафа, который ее привел, и спрашивает взглядом, прошла ли проверку она.

— Первым делом, — говорит скаф.

— Не надо ждать! — неожиданно для себя взрывается Дайра. — Связывайтесь! Связывайтесь!

— Триста пятый, — говорит второй диспетчер, и все поворачиваются к нему. — Триста пятый, подтвердите связь.

— Но вы уверены, что я не заболела? — спрашивает дама.

— Конечно, — отвечает Мальбейер, сама любезность. — Она просто не посмеет вас тронуть.

— Кто?

— Триста пятый, слышу вас хорошо! Пять, девять, девять.

— Болезнь, — говорит даме Мальбейер, а та кисло улыбается. Не верит. И не может не верить.

— Триста пятый, как у вас там?

— Э-э-э, дорогой друг, — обращается Мальбейер к диспетчеру с натруженным лицом (тот сидит рядом с проводящим связь, сидит замерев, чуть голову повернув к другу, спина напряжена, веки набрякли). — Нельзя ли сделать так, чтобы и мы слышали?

В следующую секунду зал наполняется смутным ревом и шипением.

— ...Идем по курсу. Только что прошли Съен Бёф. А кто на связи? Голос что-то не узнаю.

— Я, Леон, — отвечает диспетчер.

— Привет, Леон. Не узнал тебя. Счастливым будешь. Слушай, что за суматоха там началась, когда мы взлетали?

Леон поворачивается и смотрит на Дайру. Тот закрывает глаза и отрицательно качает головой.

— Все в порядке, — говорит Леон. — Недоразуменке. Все в порядке.

Но голос его выдает немного.

— Значит, все хорошо?

— Хорошо. Все хорошо. Следующая связь в тринадцать сорок. Отбой.

— Прекрасно. Отбой.

— Отбой, — повторяет диспетчер и отодвигает зачем-то микрофон. На лбу у него выступил пот.

— Это мы поспешили, дорогой друг, — замечает Мальбейер. — Как бы он не заподозрил чего-нибудь. Паника, это, знаете...

— Клятая война, — говорит диспетчер.

— Вы с тем самолетом разговаривали? — спрашивает дама.

ДАЙРА

— Господи, — говорит себе Дайра, — хватит уже с меня. Хватит, спаси парнишку, сволочь ты такая, господи ты мой любимый, я все отдам. Душу бессмертную свою больше спасать не буду, зачем она мне, ну я же тебя прошу!

Он всем корпусом поворачивается к даме.

— Какой он был, импат, которого вы видели? Опишите.

— Ах, я не знаю. Эти вуалетки... стройный, высокий, очень-очень нервный. Очень. Я сразу подумала, что...

— Как одет?

— М-м-mmm, — дама картинно заводит глаза, на щеках — красные пятна. — Он был такой... в сером костюме... ботинки лакированные, глухой серый костюм, с горлом... что-то парикмахерское, а вуалетка — ничего особенного, шлем такой рогатый, знаете? Костюм расстегнут. Жарко. Но он был вообще очень растрепан и неопрятен.

— Что значит «неопрятен»?

— Ногти, — улыбается дама. — Длинные грязные ногти. Служанские волосы. Из-под шлема. Все неприлажено, будто не его. А что теперь будет с Элен?

Дайра смотрит описание одежды Фиска.

— С кем?

— С моей сестрой, Элен. Она тоже этим рейсом. Ей, правда, не в сам Рамс, но...

— Уведите ее, — говорит Дайра. — Мешает.

— Нет, вы мне скажите! — взвизгивает дама, но скаф бесцеремонно уволанивает ее за дверь, и Дайра кричит вслед:

— Я не знаю, что с ними будет!

— Полный самолет импатов! — с ноткой мечтательности говорит Мальбейер. — Давненько такого не случилось.

— Никогда не случилось, — поправляет кто-то из диспетчеров.

СЕНТАУРИ

...У женщины была вторая стадия, и это настораживало: при обычном заражении она наступает минимум через день, а то и через неделю. А иногда не наступает вовсе, и после трехмесячной изоляции болезнь может вообще пройти — все зависит от состояния заразившего, от близости и силы контакта и от многих самых разных причин, включая погоду и толщину черепной коробки зараженного.

Женщина слабо охала, повиснув на руках конвоиров. Без вуалетки — она оставила вуалетку в смотровой — она казалась нодедой.

Сентаури шел метрах в полутора позади конвоя.

Они быстро пересекли гулкий полупустой зал, вышли на воздух. Там ждала вереница фургонов, приземистых, бронированных, с огромными багровыми крестами по бокам, и женщину уже втащили внутрь одного из них, когда Сентаури сказал неожиданно сильным голосом:

— Хаяни; постой. Пару слов.

А Хаяни, будто только и ждал этого, послушно повернулся и сделал два шага к приятелю.

— Хаяни... Послушай, дружище. Ты... не из-за того, что я сегодня... Не из-за меня, нет?

— Нет, — ответил Хаяни, с нетерпением ждущий первых симптомов.

— А... почему тогда?

Хаяни отвернулся.

— Да так просто. Мечтал я, понимаешь, всю жизнь хоть на час гением стать. Если так не получается.

— Гением? — недоверчиво переспросил Сентаури.

— Ну да. Я знаю, смешно. Не могу я тебе объяснить.

Сентаури мотнул головой.

— Так ты... И только из-за этого?

— Да.

— Ну и пиджак же ты. Детство какое-то! Вот пиджак! Да разве можно?

— Не знаю. Можно, наверное. — Глаза у Хаяни огромные, тонкий и длинный, и вдохновение, какого никогда не бывало раньше. — Что ж, прощай, Сент?

— Прощай, — откликнулся Сентаури, пристально глядя на друга.

Хаяни пошел к фургону, а в спину ему:

— Но ты же врешь, все врешь, ну скажи, что ты врешь!

КИНСТЕР

...В последние минуты жизни Томеш снова завладел своим телом, завладел намеренно, а не то чтобы на него снизошло просветление, как это иногда бывает с умирающими. Но о смерти он не думал. Ему вообще надоело думать к тому моменту. Да и не нужно было. Он уже знал главное — что такое чистое импато, и решил одарить им всех пассажиров, а им казалось, что он хочет их уничтожить. Томеш летал по салону и снимал со всех шлемвуалы одним касанием, чтобы заразить их и принести им счастье, о котором сам уже и мечтать не мог, а они кричали от ужаса, они не хотели такого счастья. Он отдал им свою долгую-долгую жизнь, а они решили, что он отнимает жизнь у них. Он преисполнен был к ним нежности родительской, а им казалось, что это импат в высшей стадии импатической ярости.

Получалось не так, как с Фиском, люди не принимали подарка, ведь не один на один, их много, но должно было, должно было выйти.

Закончив в салонах, Томеш помчался к пилоту. Он знал, что успеет, и помнить не хотел своего будущего — ведь так хорошо, когда тело твоё слушается тебя, а не кого-то другого, несуществующего. Так хорошо, когда исчезает знание и взамен приходит надежда.

ДАЙРА

...Только что увели даму, которая, похоже, видела Кинстера. Дайра сидит, подперев щеку рукой, неестественно бледен. Мальбейер склонился над диспетчером (Леоном), но смотрит на Дайру. Остальные негромко переговариваются. Стоят, замерли, зашьшь, даже фэйтинг умолк. Жужжит телетайп, устали глаза, щип-

лет. Потом сразу происходят два события: распахивается дверь и резко пригибается к микрофону диспетчер.

— Триста пятый! Слушаю вас!

В дверях Сентаури. Без шлема он кажется еще более высоким, сильно курчавятся седоватые волосы, усы и борода, тоже в колечках. Смешон.

— Только что... — трагически начинает он.

— Тихо! — неожиданно для всех рявкает Мальбейер. По его знаку Леон трогает на панели светлую точку, и снова по залу разносятся шипение и рев.

— Ну! — кричит Дайра и встает со стула.

— Дайра, тут у нас...

— Потом, потом!

— Триста пятый, слушаю вас! Триста пятый!

— Что там еще? — говорит Мальбейер.

— Дали вызов и молчат, — виновато отвечает Леон. — Смотрите! — он тычет пальцем в экран. — Меняют курс.

— А Хаяни покончил с собой, — как бы между прочим сообщает Сентаури, курчавый, вульгарный вестник.

Дайра беспомощно бросает взгляд в его сторону, и снова к диспетчеру.

— Что же нам теперь всю страну на ноги поднимать из-за одного импата, — стонет он.

— Не из-за одного, — с печальной задумчивостью говорит Мальбейер. — В том-то и дело, что не из-за одного, дорогой мой друг Дайра. Они там теперь все...

— Хаяни покончил с собой, вы слышите?

— Ну так уж и все, — Дайра подходит к Леону, хватая его за плечо. — Вызывай еще рев.

— Триста пятый, триста пятый! Подтвердите связи!

Шипение. Рев. Все сгрудились вокруг Леона, уставились на экран с ползущим крестиком. Один только Сентаури застрял в дверях; бычий, пьяный взгляд, думает, что его не слышат.

Дайра хватая микрофон:

— Триста пятый, слушайте меня! Это очень важно! Любой ценой заставьте пассажиров надеть шлемы!

Вот оно, вот оно, все, все так... После смерти жены. Нервное. Трудно дышать, вот ччерт, физиология реагирует. Может быть, игра? Игра? Какое... не все равно разве?

Голос. Искаженный, резкий, трещащий, насекомый, неразборчивые слова. Чистая, незамутненная смыслом ярость.

— Это он, — говорит кто-то.

Потом крик. Длинный, мучительный. Еще крик. Клохтанье. Фон.

Опять голос, уже другой, прежний, это голос пилота, но словно пилот спотыкается, словно ему воздуха не хватает.

— ...Он взорвался сюда... заставил свернуть... Я ничего не мог сделать... чуть голову мне не оторвал... шлем снимал, но там... застежки, понимаете... я не дался... С ума сойти, какая сила! А теперь упал почему-то... это что? И корчится... корчится... смотреть ужас... бормочет... ничего не понять... Что делать? Скажите, что делать, вы ведь знаете! Я его прикончу сейчас!

— Да. Стреляйте! Стреляйте немедленно! И садитесь как можно скорей, — кричит Дайра.

— Как стрелять? А... да. Сейчас.

С давних времен по давно забытым причинам пилот должен иметь при себе оружие. Старинный, еще световой пистолет хранится обычно в шкафчике с НЗ и медикаментами, красивая игрушка, которой никто никогда не пользуется, но с которой так не хочется расставаться.

— Это судорога, вы разве не понимаете, друг капитан! — злобно улыбается Мальбейер. — Куда это вы их сажать собираетесь? Ведь вы же скаф, вы же все знаете, что делают в таких случаях.

— Хотя кого-нибудь да спасем, — упрямо говорит Дайра. — Может, в салонах кто не заразился.

— Ах Дайра, Дайра, дорогой друг капитан, — качает головой Мальбейер. — Как я вас понимаю! Я ведь знаю — вам сложно. Я ведь, извините, все ваши обстоятельства...

Ему трудно говорить отеческим тоном, он зол, он страшно зол, гвардии СКАФ грандкапитан Мальбейер. Дайре кажется, что все кричат ему: «Ну выбирай!». Он прячет глаза, бьет кулаком в зеркало стола.

— Я его кончил. Убил, — жалобно говорит летчик. — Я его... Ну?! Ну?! Ну?!

— Если вам трудно, — вкрадчиво говорит Мальбейер, — то давайте я. По-человечески понятно ведь. Но что же делать-то, что же нам еще остается делать?

— Вы слушаете? — надывается пилот. — Я его пристрелил! Вот сию минуту, сейчас!

— Слышим, — отвечает Дайра. — Как в салоне?

— Не вздумайте их сажать! — шипит Мальбейер. Дайра поворачивает голову и долго смотрит ему в глаза.

— В салоне? Паника в салоне. Черт знает что. Но это пустяки. Честное слово. Сейчас успокоим. Слушайте!

Сентаури стоит навытяжку, он бормочет о Хаями и одновременно прислушивается к разговору.

Дайра говорит:

— Да? — и в сторону, диспетчеру: — Ближайший порт. Где?
— У меня шлем металлизированный, — продолжает между тем пилот. — Я не мог заразиться. Он хотел снять. но там застежки такие... Сейчас мне самое главное сесть поскорее.

Мальбейер неподвижен, злобен, внимателен. Никто ни слова.

— Держите курс на Тристайя Роха, — отвечает Дайра по под- сказке Леона. — Набор маяка знаете?

— Знаю. Знаю. У меня есть.

— Что вы делаете? — шепотом кричит Мальбейер. — Ни в коем случае не...

Дайра с досадой отмахивается.

— Не мешайте, пожалуйста. Сент! Свяжись с этими... из Кос- мофрахта.

— Зачем? Я...

Сентаури отлично понимает зачем. Глупо, конечно, что все тревожные службы космоса отошли к Космофрахту, да мало ли глупостей делается вокруг! Итак, Сентаури понимает, но он только что потерял друга и почему-то очень болезненно относится к последующим, хотя бы и чужим потерям. Что-то странное творится с Сентаури. Он ведет себя как последний пиджак. Дайра должен, должен, должен горевать вместе с ним, оплакивать Хаяни и чувствовать вину, а он... то, что он делает, совершенно правильно, и по-другому быть не должно, только Сентаури недоволен. Что-то очень нехорошее происходит с Сентаури.

Дайра отдает микрофон диспетчеру, оперся на пульт, замер.

— Они все в шлемвуалах, все как один, — глупо хихикает пилот. — Теперь-то они все их нацепили. Вот умор!

Разве защитит шлемвуал от предсудорожного импата?

Дайра передергивается и выхватывает микрофон из рук дис- петчера.

— Послушайте, как вас там! У вас в салоне должен быть ре- бенок. Лет девяти. Синие брюки, а рубашка...

Волосы шевелятся у Сентаури.

— Да их тут на целый детский сад наберется, — снова хи- хикает пилот. — Они тут такое устраивают! Наши девочки с ног сбились. Вы уж посадите нас, пожалуйста!

— Конечно, конечно, — бормочет Дайра. Он бледен не- много.

Жадные, шальные глаза Мальбейера, изумленные — диспет- черов. Или кажется только? Сентаури связывается с космичками. Замедленные движения. Неизбежность. Сведенные мышцы. Покор- ность. Запах нагретой аппаратуры.

— Есть Космофрахта, — говорит Сентаури безразличным тоном и отходит в сторону. Дайра бросается к файтингу.

— Их там двести пятьдесят человек. И все они импаты. Двести пятьдесят импатов в одном месте. Крайне опасные и вряд ли хоть один из них излечим. Судорога. Тут уж...

Мальбейер словно оправдывается.

Дайра горячо врет в микрофон, а на другом конце его слушают с недоверием, отвыкли ракетчики от неучебных тревог. Дайра сыплет фамилиями, уверяет их, что просто необходимо сбить атмосферник, потерявший управление, долго ли до беды. Беспилотный, конечно, ну что вы! И трясет нетерпеливо рукой в сторону застывших диспетчеров — координаты, координаты! — а Мальбейер кривится и бормочет, не то все, зачем, просто приказ, пусть-ка они попробуют со скафами спорить, и действительно, ракетчики не верят Дайре, ни одному слову не верят, и зачем только врать понадобилось, ему говорят, идите вы к черту, мы вас не знаем, кто вы такой, но трубку не вешают, видно, чувствуют что-то серьезное. И тогда Дайра, багровый, как боевой шлемвуал, глупо как-то подмигивает, поджимает по-бабьи губы и называет себя. Так бы давно, отвечают ему. Он еще раз говорит свое имя, звание, принадлежность, сообщает пароли, шифр, а потом долго ждет, поводя вокруг сумасшедшими немного глазами.

Пилот никак не может выйти на пеленг — волнуется. Диспетчеры вдвоем помогают ему, и все оглядываются на Дайру, а пилот уже чуть не криком кричит.

— Первый признак, — говорит Мальбейер и два раза кивает, словно сам с собой соглашается. Ему тоже не по себе.

— Слушайте! — кричит вдруг пилот. — Там сзади бог знает что творится. Это так надо, да?

— Успокойтесь, не дергайте управление. Оставьте ручки, что вы как ребенок, в самом-то деле!

— Учтите, я сейчас сяду просто так, где придется, пойду на вынужденную, они ведь мне всю машину разнесут!

Леон вопросительно оглядывается на Дайру, тот смотрит на диспетчера в упор, но не видит его. Тогда Мальбейер делает знак рукой «не надо» и говорит:

— Не надо. Скажите, чтобы не садился.

Трясущимися руками Леон снова берется за микрофон.

— Ну? Что? — кричит пилот сквозь беспокойный шорох. — Вы поняли? Я снижаюсь. Вы слышите меня?

— Я не могу, — чуть не плачет диспетчер. — Я не могу, не могу!

Мальбейер выхватывает у него микрофон, собирается что-то сказать, но тут азартно вскрикивает Дайра:

— Да! Да! Я понял! Ну, конечно, это приказ, а вы что думали — дружеское пожелание? Да, сию минуту. Вы видите его?

Прямо сейчас, сию минуту и действуйте! Да скорее же вы, ччччерт!

Вид его жуток.

В зал врывается хриплый монолог перепуганного пилота, который, в общем-то, достаточно умен, чтобы все понять, только вот поверить не может.

— Пуск, — тихо говорит Дайра. Он выключает файтинг и медленно оглядывается.

Все стоят, замерли.

— Вы меня доведите, вы уж доведите меня, а то тут и с машиной что-то неладное. Вы слышите? Леон! Что ты молчишь, Леон? Ты меня слышишь!

— Я не молчу, — говорит Леон.

— Леон! Почему не отвечаешь? Что у вас? (На экране появляется еще один крестик. Он стремительно приближается к первому.) Мне ведь главное — сесть, ты понимаешь, только сесть, а больше...

Крестики сливаются и исчезают.

— Пошли, — говорит Дайра.

НИОРДАН

Новость разнеслась по залам за считанные секунды. Люди, прошедшие проверку, — а таких набралось уже порядочно, — только что были похожи на сломанных роботов, а теперь ожили, заговорили, стали собираться в группы, жестикулировать, вытягивать шею, недоверчиво качать головами. Многие не верили услышанному, потому что даже во времена Карантина, в те страшные времена, когда импаты летали по улицам, заглядывали в окна, устраивали оргии на площадях, даже тогда не случалось такого. Больных убивали всегда поодиночке, всмотревшись, удостоверившись в безнадежности их болезни.

Изображение Томеша, по оплошности не выключенное, глядело на них со всех сторон, и если раньше оно внушало ужас, близкий к мистическому, то теперь вызывало жалость, а темносинее обрамление экранов казалось траурной рамкой.

— Что же это такое, послушайте!

Потом открылась одна из служебных дверей зала номер один, оттуда неуверенной походкой вышел человек в форме диспетчера. Вуалетки на нем не было. Люди расступались перед ним, но он все равно умудрялся зацеплять их плечами. Он шел и громко считал, загибая пальцы. Его попытались спросить о чем-то, но он только мотнул досадливо головой и ускорил шаги. А потом эта же дверь распахнулась снова, на этот раз с громким стуком. Три

скафа — Дайра, Сентаури и Мальбейер — решительно направились к туннелям, ведущим на летное поле. Дайра шел впереди, Мальбейер вышагивал рядом, придерживая его за локоть, а Сентаури, как и положено, отставал на полтора метра. Правой рукой он придерживал свой оккам, причем делал это с таким воинственным видом, словно уже в следующую секунду собирался пустить его в ход.

Толпа перед ними расступилась с гораздо меньшей охотой, чем перед диспетчером. Коротышка в детском шлемуале с ярко-желтой надписью «Спаситель» заступил им дорогу. Прижав руку к груди, он обратился к Дайре неожиданно низким голосом:

— Эй, вы тут главный?

Дайра молча остановился.

— Проходите, не мешайте, — рыкнул Сентаури, протягивая к мужчине свободную от оккама руку. Тот увернулся.

— Скажите, это правда, что вы сейчас машину с импатами сбивли?

Дайра беспомощно оглянулся и вдруг отчаянно закричал:

— Ниордан! Ни-ор-даан! Сюда!

— Вы слышите, что вам говорят? Отойдите немедленно!

Мужчина не двинулся. Вокруг начала собираться толпа.

— Ради бога, какой рейс? — простонал кто-то.

— Рейс, рейс назовите!

— Ни-ор-даан! Сюда!

— Я его уже вызвал, — сказал Мальбейер.

Люди, люди вокруг, ни одного лица, сплошь маски. Дайре это вдруг показалось странным, даже испугало немного.

— Так это правда?

— Правда, правда! — огрызнулся Сентаури. — Вы разойдетесь или нет? Мы спешим. У нас масса работы.

— Рейс! Назовите рейс!

— Вы все узнаете! Пропустите, ну!

Сентаури почувствовал себя главным, а потом вспомнил, что теперь, когда история с сыном Дайры неминуемо должна выйти наружу, это не такая уже фантазия. Он сделал попытку улыбнуться, но только поморщился.

Сквозь толпу ужом проскользнул Ниордан. Вуалетка его была аккуратно подвернута и заткнута за козырек шлема — вопиющее нарушение устава при захвате, поиске и тем более проверке, но так делали многие, потому что главный инструмент проверяющего — глаза.

— Ну что, отбой? — спросил Ниордан.

— Нет, конечно, — размякшим голосом ответил Дайра. — Не отбой. Пойдем в машину, хорошо!

— Да вы нас пропустите или нет? — теряя терпение, выкрикнул Сентаури.

— Правда, что там и половины зараженных не было, а пилот вообще в шлеме, а других можно было спасти?

— Нет. Вы все узнаете. Не скапливайтесь! Разойдитесь!

— Они убивают нас, где только могут. Им что, у них сила, — слышался чей-то скандальный голос. — Уж такие они люди.

— Да разве они люди? Чудовища!

Сентаури трясущимися руками заткнул вуалетку под шлем.

— В па-аследний ррраз! Па-прашу ррразойтись!

— Гляди, командует. Очень главный.

— Ниордан, пойдём к машине, — еще раз попросил Дайра. Ниордан кивнул. Жадно прищурившись, как будто перед ним была сложная дорога, он разглядывал плотную шевелящуюся массу людей.

— Смотрите все на этого человека, — громким командным голосом сказал вдруг Сентаури, указав на Дайру. — Только что он убил своего сына... которого... убил потому, что хотел спасти вас, именно вас да еще пару десятков тысяч других. Вам про него легенды надо рассказывать, молиться на него надо, а вы, пиджаки, клянете нас... мы для вас жизни...

— Один сына своего прикошил, а другой хвалит! А?

— Скафы, что вы хотите? Ребенка и того не пожалеют. По одному подозрению. Вон у меня...

— Ниордан, — сказал Дайра.

Тот с ловкостью фокусника выхватил оккам и пустил над головами очередь. Слаженно ахнув, толпа подалась назад.

МАЛЬБЕЙЕР

— Вот уж это... вот как раз... — громко сказал Мальбейер, хлопнув себя по ляжкам, и подмигнул Сентаури, который в тот момент испуганно на него оглянулся.

— Они не посмеют стрелять в здоровых людей! Не бойтесь! — крикнул кто-то.

Толпа угрожающе заворчала.

СЕНТАУРИ

...выставил челюсть и перевел указатель обоймы на «морт»...

ДАЙРА

Потом они шагали по летному полю, смутно отражаясь в темно-синем покрытии. Ровные ряды атмосферников, серебристых

сплюснутых сигар, между ними — россыпью брошенные «пауки». Ни одного человека вокруг. Снова удушающая жара. Пот.

— Это вы напрасно, друг мой Сентаури, — озабоченно говорил Мальбейер. — Это запрещено. Могло кончиться плохо.

— Да я припугнуть только, — оправдывался тот. — Никогда бы я в них не выстрелил.

— И все-таки напрасно. Отношение к скафам и так далеко не благоприятное.

А Дайра вставлял — все кончено. А Ниордан кивал головой.

Сентаури бросил на своего командира презрительный взгляд.

Потом они заметили, что давно уже стоят перед «пауком» Дайры. Роскошный лимузин Мальбейера находился чуть дальше. Ниордан так быстро и ловко занял свое место в «пауке», что даже непонятно было, в какую дыру он просочился. Он слышал настойчивый зов Френеми. Остальные упорно изучали свои отражения в летном покрытии. Сентаури мрачно бубнил что-то неразборчивое.

— Вот, — сказал ему Дайра. — Вот ты опять спас мне жизнь. Весь день только и делаешь, что жизнь мне спасаешь. Они могли нас на куски разорвать. Ведь в самом деле не стрелять же в здоровых!

— Ты смог бы, — с ненавистью глядя на него, ответил Сентаури. — Ты у нас герой. Молиться на тебя надо.

Мальбейер укоризненно покачал головой.

— Ах, ну зачем такая злая ирония? Дайра у нас действительно герой сегодня, — он тронул Дайру за плечо, но тот как бы невзначай отстранился. — Вы совершили сегодня подвиг, дорогой Дайра. Подвиг с большой буквы.

— Его нет, — сказал Дайра. — Конечно. Нет. Последняя соломинка. Ах, черт, нет! Ну и ну.

Говорил он невыразительно и смотрел невыразительно, ему многое хотелось сказать, ему хотелось взмахнуть руками, прижать их к сердцу, сделать большие глаза, сильное, страстное хотелось придать лицу выражение, настолько сильное, что уж точно выглядело бы фальшивым. Поэтому он заморозил себя. А Сентаури злобно ткнул в него пальцем — ты никогда его не любил. Ты никого не любил. Меня тошнит от тебя. Собственного сына прикончил и хвастается, какое у него горе, тоже мне, герой нашелся. Дайра подумал — неправда! — и сказал ему — неправда, зачем ты так говоришь, ты же не знаешь ничего (он злится на меня почему-то. Почему он на меня злится?). Пиджак ты, отбрил Сентаури, ты его не любил, все притворство одно. Неправда, взмолился Дайра, ох, ну зачем такая неправда, не было на свете человека,

которого я любил бы больше, единственное, за что я в этом мире еще держался, а теперь все, его нет, я его собственными руками, разве ты можешь понять, что я чувствовал, ты, кто никого не любит, из чувства долга не любит, это же дико. (Успокойтесь, успокойтесь, дорогой Дайра, и рука на плече, и голос баюкающий.) Ах, да отстаньте вы, ведь не он же убил своего сына, ведь не ты же убил своего сына, и эту дурацкую машину ведь не ты же спалил, ну так и помолчи, не мешайся! А Сентаури (вуалетка, как и у остальных, подвернута, лицо потное, рот искривлен, глаза на Дайру нацелены) сказал: — Вот так он любил сына, друг гранд-капитан, этот ваш герой Дайра. Вы слышали? Ведь он не о сыне горюет, он о себе горюет, скотина, пиджак.

Он начал спокойно, а под конец распалился. Это был настоящий взрыв ненависти. Сентаури ненавидел Дайру. Дайра ненавидел Сентаури. Мальбейер растерянно улыбался, но в глазах его тоже просверкивала злоба, и губы изредка вздрагивали. Даже Ниордан, уединившись с Френеми, говорил о ненависти (ненависть — это импат, но это и скаф тоже, только там другая ненависть. В моей стране нет места для ненависти, поэтому я здесь. Однако народ недоволен, возражал Френеми, народ на грани бунта. Ему нужна ненависть. Вас могут лишить короны).

Возможно, этот взрыв спровоцировал Мальбейер, тем, пожалуй, что чересчур уж он подчеркивал предупредительность к Дайре, а на Сентаури смотрел с пренебрежительным холодком. А Сентаури больше всего в тот момент хотел, чтобы именно Мальбейер его понял. Ему тоже многое хотелось сказать, правда, он не совсем точно знал, что именно, но лишь бы сокрушить, смять, уничтожить этого самозлюбленного пиджака Дайру и чтобы обязательно на глазах гранд-капитана. Примешивались тут и мысли о повышении, они мелькали почти незаметно, однако не потому хотел Сентаури иметь Мальбейера союзником. Он не знал, почему. Я тебя с самого начала раскусил, сразу угадал, что ты за схема. Не знаю, может, ты и хороший скаф, но только до поры, потому что пиджаку хорошим скафом не стать. Хаяни тоже не был хорошим скафом, жидковат был для этого, думал слишком много, но он по крайности не пиджак, он на самом деле хотел стать одним из нас. Ты его всегда недолюбливал, потому что ты не такой, ты притворялся, а он нет. Это ты его суперсверхчерезинтеллигентом прозвал, ужас как остроумно, а сам ты, знаешь ты кто? Квазиканбьеродебы! Ты его просто презирал и скрывать не собирался, что презираешь. Ты и сегодня подумал, что это он про мальчишку твоего рассказал. А он не рассказывал ничего и не думал даже рассказывать. Ты его просто убил этим. Он мне так

и сказал. Дайра, говорит, за человека меня не считает, наговорил на меня. И никто не считает.

— Он так и сказал? — спросил Мальбейер.

Но постой, крикнул Дайра, он ведь и в самом деле про сына моего разболтал. Нет, сказал, словно ударил Сентаури, это я. Это я предупредил Мальбейера. И не жалею. Я тебе никогда не верил. Тебя выгнать надо из скафов.

— Подождите, тут что-то не так, — заторопился Мальбейер. — Мне о сыне вашем, дорогой друг капитан, именно Хаяни и рассказал. А Сентаури... Может, вы другому кому говорили, друг Сентаури?

— Да что вы, в самом-то деле? — оторопел тот. — Не помните? А кто мне вакансию предлагал?

«Схожу с ума», — показалось Дайре.

— У меня и мысли такой не было! — наубедительнейшим тоном оправдывался Мальбейер. — Да такое и невозможно. Вакансия — Дайре. Это не я решаю, меня на том совещании не было. Откуда у вас такие сведения?

Сентаури растерялся. Ненависть все еще рвалась наружу, но эта сбивка закрыла для нее все выходы.

— Ах, ну да... Понятно... Тут ведь... Вот так, значит...

Ничего он не понимал.

— Послушайте, — простонал Дайра, — У меня погиб сын. Мне плохо, честное слово. Перестаньте, пожалуйста. Завтра.

СЕНТАУРИ

И взрыв продолжился.

Сентаури изобразил великолепнейшее презрение. И это скаф! Посмотрите на него. Он сейчас расплечется. Как так вышло, что этот разнюченный пиджак все выдержал, сына убил, а я на Хаяни сломался, то есть на том, что вообще-то меня мало касаться должно. Он — смотрите! — герой. (Друг мой Сентаури, задумав, начал Мальбейер, но осекся. Сентаури стал повторяться, он чувствовал, что не здесь главное обвинение, и все пытался нащупать его. И чем больше он клял Дайру, тем меньше понимал, за что так на него нападает (приходилось делать усилие), и от этого еще больше злился, так как знал наверняка, что злиться причины есть.)

Очень мешала жара. Собственно говоря, больше мешало другое. Яркое светило солнце; а Сентаури казалось, что уже вечер и темно; Мальбейер стоял совсем не там, откуда доносились его реплики; один за другим взлетали пауки, но никто в них не садился: на поле вообще не было ни одного человека. Сентаури

терпеть не мог такого состояния пространства. Это унижало его. Каждый раз, когда пространство снова приходило в негодность, его охватывал страх, что в этот день оно развинтится окончательно и некому будет заняться его починкой.

Дайра говорил ему, ты ничего не понимаешь. Все не так. Я ему сегодня гренки поджарил, он гренки любил. Я всегда так жду его приезда. Все вещи разбросаны. Он в мать. Она тоже ничего не понимала. Это только кажется, что все просто.

Сентаури слышал лишь то, что можно использовать для обвинения. Ты его не любил. Ты вообще никого не любил. Ты наслаждался тем, что можешь думать, что любишь, это прямое нарушение устава — иметь близких (почему прямое? Где там написано? Где?). Не притворяйся, что не понимаешь. Нельзя иметь близких, нет, я все понимаю, очень трудно без них обойтись, без близких то есть, это особое счастье надо, но ты гордился тем, что есть у тебя кого любить, тем, что против правил идешь, а работу свою, добровольную, между прочим, ты презирал. Ах, какие мы гады становимся, ах, да как портит нас эта работа — ты все время так говорил. Вот я всей душой скаф, силы во мне — полгорода зимой обогреть можно, а сломался, потому что я человек, потому что я настоящий, и Хаяни был настоящий, а ты — пиджак фальшивый (Мальбейер оценил метафору, юмористически подняв брови), но получается-то совсем другое! Получается, что ты — самый надежный скаф! Хотя нет, самый надежный — вот он, сидит в «пауке» нашем, гляди-ка!

Они оглянулись на Ниордана. Тот широко улыбнулся. Как раз в этот момент Френеми сообщил ему о раскрытии нового заговора и о запланированной на среду казни второго министра.

— Разбойник, — с чувством сказал Ниордан.

— А теперь посмотри сюда, — громко и торжественно, разве что чуть быстрее, чем надо, произнес Сентаури.

Дайра обернулся и побелел. Сентаури целился ему в живот из оккама. Они стояли близко друг к другу, и дуло автомата почти касалось Дайры.

— Это еще что? — спросил он.

— Не тебя я убиваю, а всю вашу службу, которую мне... которую я... Пусть уж лучше все импатами станут, чем давать силу таким, как ты.

— На «морт» переведи, — сказал Дайра.

Сентаури перевел на «морт».

— И никакого святого дела не надо, не может оно святым быть, это я сегодня понял (а Мальбейер стоял и ждал и улыбался хитрящей своей улыбочкой). И нам с тобой ходить по одной земле невозможно. (Когда это вы по земле ходили, дорогой друг

Сентаури, где это вы землю у нас нашли? — спросил Мальбейер и наконец-то занялся делом: вклинился между Дайрой и Сентаури. Он отвел дуло автомата двумя пальцами, и Сентаури, продолжая говорить и как бы ничего не замечая, сделал шаг назад.) Я за Хаяни тебя убиваю, за сына твоего, за тех...

— Ну-ну, друзья мои, так же нельзя! Взрослые люди, скафы, и вдруг такой нервный всплеск.

— Отойдите, грандкапитан! — проревел Сентаури, полностью уверенный в том, что того сейчас с места не сдвинешь.

— Дорогой мой Сентаури! — проникновенно начал Мальбейер тоном, который предвещал долгую спокойную беседу. — Если бы вы только знали, как я вам сочувствую. Вы потеряли друга, а друг у скафа — это не то, что у обычного человека. Ведь мы лишены близких... Случаи, подобные вашему, не так уж редки в нашей организации.

— Мальбейер! — с угрозой в голосе сказал Сентаури.

— О, вы меня неправильно поняли, — Мальбейер игриво хихикнул. — Почему-то, если говорят о приятельных отношениях между мужчинами, то это почти всегда фривольно воспринимается.

— Да замолчите же вы, фигляр!

— Вы так взволнованы, дорогой друг Сентаури. И кстати, стоит ли наговаривать на себя — ведь вашей вины в случившемся нет никакой, напрасно вы это.

Сентаури взвыл, задрал голову к небу.

— Я их обоих сейчас прикончу (внимательный, спокойный взгляд Мальбейера, недоуменный — Дайры), я их обонк сейчас прикончу!

И умчался прочь гигантскими скачками.

МАЛЬБЕЙЕР

...повернулся к Дайре.

— Его мучит вина, — сказал он. — Только он немножечко играет. Это видно.

— Мальбейер, — сказал Дайра. — Ведь все подстроили вы. Признайтесь.

— Я? — Мальбейер с бесконечным удивлением всплеснул руками. — Что подстроил? Боюсь, друг капитан, я вас не совсем понимаю.

— Ну это все, — Дайра неопределенно пожал плечами. — Вы ведь знали, что я провожаю сегодня сына, поэтому и лидером меня поставили.

— Дайра, Да-а-айра, дорогой, как вы могли подумать?

— А то, что импат попал в аэропорт, тоже ваша работа? И то, что вместе с сыном летел, тоже?

— Дорогой друг, опомнитесь! Я же не всемогущий. Вы мне льстите.

— Ваша, ваша, не отпирайтесь! — с маниакальной уверенностью твердил Дайра.

— Но послушайте!

— Ваша!

— Да откуда вы взяли, что там находился ваш сын?

— А где же ему еще находиться? На других рейсах он не улетел. И в аэропорту его не было. Не путайте меня, вы все врете. Я с самого утра чувствовал, к чему все идет.

— Дайте же мне докончить! Я все не мог выбрать времени сказать вам: по моим данным, на триста пятом его тоже не было.

— Как? — сказал Дайра.

— Конечно, это не стопроцентно, однако...

— Так нельзя лгать, Мальбейер. Это противоестественно.

— Пять детей. Все идентифицированы.

— Вы все врете. У вас и времени-то не было.

— Я только этим и занимался. У меня мнемофайтинг.

— Нет. Нельзя. Подите прочь, я вам не верю. Вы снова хотите меня запутать. Ниордан!

— Да, командир?

— Домой! — Дайра прыгнул в машину и захлопнул за собой дверь.

— Он наверняка жив, Дайра!

— Нет! Нет! Вы врете!

«Паук» взлетел, а потный Мальбейер все еще кричал и жестикулировал.

ХАЯНИ

В фургоне было темно. Яркие, быстро мигающие лучи, что проникали внутрь через маленькие овальные окошки, раздвигали темноту, но не растворяли ее. Блестели волосы на склоненном затылке рыдающей женщины. Хаяни, изогнувшись в кресле, жадно прилип к своему окну. Как же быстро мелькали улицы, как неизбежно засасывались они в прошлое, все меньше и меньше оставалось их впереди!

— Ничего, ничего, — громко сказал Хаяни.

Женщина подумала, что он ее успокаивает, и заняла вдруг на тонкой срывающейся ноте. Казалось, этому не будет конца.

Хаяни вспомнил о ней и соболезнующе покачал головой.

— Да. Ведь для вас, вероятно, жизнь хончилась.

Женщина всхлипнула и подняла голову. Не красавица, подумал Хаяни, мьют-романский тип. Тонкая длинная шея, почти полное отсутствие подбородка, огромные, с тревожным разрезом глаза, сухая смуглая кожа. Лет пятнадцать назад такие лица были в моде. Странная, болезненная привлекательность.

— Что? — спросила она.

— Я имею в виду все вот это, — Хаяни метнул головой в сторону своего окошка. И тут ему пришла в голову мысль, что женщина совершенно не понимает его, что она абсолютно ничего о нем не знает. Это было удивительно.

— О, я вам сейчас объясню. Неужели вам не хочется знать, почему я поцеловал вас?

Женщина нахмурила заплаканные глаза. Лицо ее окрасилось в зеленый цвет — фургон въехал в Ла Натуру, район максимальной естественности.

— Почему то, что вы оплакивали сейчас, для меня пустышка, зеро, тьфу, почему то, чего вы так бонетесь, для меня счастье недостижимое, цель всего?

— Ой, ну не надо, ну помолчите! — сказала женщина, и лицо ее страдальчески искривилось. У мьют-романов это выглядит особенно некрасиво.

— Не сбивайте меня, я сейчас объясню, все это нельзя не понять. Итак, пусть смерть, ведь все равно смерть, зато возможность — вдруг не сейчас, вдруг отсрочка, поймите, ведь силы невиданные, гениальность, сверхгениальность, реальная, не плод фантазии, не мечта в знак протеста, и все это взамен долгой, но тусклой, но униженной, суетливой, которую я сам же и гажу.

— Помолчите, пожалуйста, — тихо попросила она.

— Не сбивайте меня! — нервно крикнул Хаяни и хотел было стукнуть кулаком по подлокотнику кресла, забыв, что руки и ноги в захватах, что только головой и немного туловищем он имеет право вертеть. — Скажите, почему импатов без масок или хотя бы вуалей перевозят? Почему у них голые лица? Милосердие? Символ? Или просто не догадались? Почему я поцеловал вас? Действительно, а?

У женщины началась эйфория, что-то очень скоро она начинается, волны теплого спокойствия пробегали по телу, но мешал монолог скафа, грозил все нарушить.

— За-мол-чи-те! — сказала она.

— Вы не понимаете, что у вас только я и остался, что дальше будут только врачи да санитары, все с закрытыми лицами, вопросы, процедуры, медикаменты, полное одиночество, нас водили, я видел. Я последний человек на этом свете для вас.

— И зачем только вы меня целовали? Что я, просила?

— А-а-а-а! У вас тоже начинается? Я давно заметил. И у меня скоро начнется, я чувствую. Я сам не знаю, зачем, точнее... знаю, но... Собственно, я давно об этом думал, но так, знаете ли, отвлеченно, между прочим, мол, хорошо бы. Я ведь понимаю, что глупо. Я ведь все понимаю. Знаете, как они меня звали? Суперчерезинтеллигент. Они меня презирали, только не за то, за что следовало бы, но все равно презирали. Один из них теперь будет думать, что это из-за него. Нет! Даже два! Два будут думать! Двое. Что?

Женщина зажмурилась. Ее подташнивало от желания счастья, смешанного с предсмертной тоской. Главная беда в этом — немолчимость.

А Хаяни все говорил, говорил, не отрывая от нее глаз, сам себя перебивал, перескакивал с одного на другое, замолчите, да замолчите вы ради всего святого, кричала женщина, но он не смолкал, и речь его все больше походила на причитание, о чем только он ни рассказывал ей (фургон часто останавливался, снаружи глухо переговаривались скафы, прислоняли лица к окошкам): и о школе, где никто его не любил беднягу, а может быть, и ничего относились, а ему казалось, что не любят, и о радости, с какой он бежал из школы, и как все рады были ему в интернате, и как вскоре снова захотелось ему бежать, как нигде не находил он того, что искал, смутного, неосознанного, как временами становилось легче, а затем жажда бежать с еще большей силой накатывала на него, и он никак не мог понять, за что ж его так не любят, почему везде, где бы он ни появился, всегда в конце концов становится плохо, всегда приходят фальшь, пустые слова, нарушения обещаний, и его отношение к женщинам казалось ему гадким, он старался любить каждую из них, и с печалью, словно в вине или наркомышке, топил в них свое несуществующее, наигранное и в то же время самое реальное горе, и как стыдно было ему встречаться с ними потом, и как хотелось нравиться всем, и как не понимал он, почему не все от него отворачиваются, и как его знакомые были шокированы, когда он бросил вдруг все и ушел в скафы.

— Замолчи! Замолчи! Скаф проклятый, убийца, выродок!

— Вот, вот, этого я хотел, этого и еще много чего, уже тогда мечтал я поцеловать вас (извините, с тоской во взоре, зато уж обязательно), не просто прислониться голым лицом к голому лицу, а непременно поцеловать и именно женщину, очень я этого хотел.

У женщины внезапно пропало желание убить Хаяни, победила все-таки эйфория, ей стал вдруг нравиться этот причитающий скаф и возникло желание вслушаться в его речи.

— Бежим отсюда, — сказала она. — Ведь мы импаты, в нас силы должно быть много, что нам эти защелки, бежим, спрячемся, я не хочу больницы, не хочу умирать, не хочу, чтобы меня до самой смерти лечили!

В Хаяни на секунду шевельнулся скаф (импаты готовят побег из фургона), однако очень не хотелось сбиваться с мысли, и он только досадливо мотнул головой.

— Вы не понимаете. Все будет враждебно, нигде не будет спокойствия, вокруг сплошь враги, я таких убивал сегодня, которые скрыться хотели. Только в больнице и есть шанс. Что вам защелки? Ведь на мозг их никто не ставит. Мы попросим, и нас разлучать не будут, хотите? Я такие случаи знаю. (Он не знал таких случаев.) У меня там врачи знакомые, не могут они мне отказать, я ведь скаф, ведь не все так плохо относятся к скафам.

— Бежим! Помоги мне бежать!

Казалось ей, что фургон огромен, что пыльные столбики света несут прохладу и волю, что окна — бриллианты, что скаф — прекрасен, желанен, что скорость — свобода, что все можно и никто не в состоянии возражать. Казалось ей, что фургон наполнен невидимыми людьми, добрыми и влюбленными, и не желающими мешать, о, какими людьми!

— Бежим, я сказала. Встань. Оторвись от кресла.

— Но...

— Встань, скаф!

Она сошла с ума, она сошла с ума, она сошла с ума!

Мерзкое, недоразвитое лицо, лишенное подбородка,

— Извините, вы совсем не так меня поняли. Я вовсе не имел в виду бежать, когда... Иначе зачем же... Да и захваты не так-то просто сломать.

— Тебя убьют, я вижу, тебя убьют. Я не хочу, чтобы тебя убили. Я знаю, куда мы с тобой пойдем. Долго будет искать.

— Но мне не нужно бежать, зачем? Тем, по крайней мере, будут условия...

— Мы запремся и никого не будем впускать.

— Но зачем? Зачем? (Уродливая старуха с переломанными костями, перекошенная от боли и злобы, летит прямо на машину, а Дайра на дверце, извивается.)

Сила в голосе женщины, непреоборимая сила.

— Поймите, ничего хорошего нас там не ждет. Ничего мы не теряем с этими захватами.

— Я хочу жить! Я хочу жить там, где жила, пойми, скаф, пойми, помоги мне бежать. Меня никто не любил.

— Меня много любили (два раза, подумал Хаяни) и проклинали за то, что любят. Что хорошего в этой любви? А там при-

смотр, врачи, полное развитие способностей, да я просто уверен, что болезнь далеко не пойдет, я статистику видел. Там свобода.

Лицо женщины, что называется, пылало, и верхняя его половина была прекрасной. Ну просто глаз не отвести.

— Говори, скаф, говори! Так хорошо слышать твой голос.

Все тело ее напряглось, выгнулось, плечи перекосились. Кресло под ней скрипнуло. Красное лицо в поту и слезах.

— Что... что вы делаете?

— Ты... говори... — Она рванулась изо всех сил, но захваты не поддавались. По два на каждую руку и ногу. — Ох, скаф, ну как же мне нужно выбраться отсюда!

— Не мучь, не калечь себя, ты все равно больная, все от тебя шархаться будут. Нет больше того места, где тебя ждут.

— Только все начиналось, только-только! Меня в Николо ждали уже. Я ведь на свадьбу ехала, скаф.

— Да, обидно. Ты успокойся, главное, успокойся.

В сущности, Хаяни успокаивал не ее, а себя, потому что чувствовал — не сможет он больше противиться ее настроению, сам будет так же беситься. Он давно уже знал за собой особенность — произвольно подлаживаться к людям: сначала игра, потом попытка сделать ее более достоверной, насколько возможно достоверной, и вот он уже тот, кем минуту назад притворялся.

— Я ведь их не знаю. Их много, тридцать шесть человек, но они сейчас укрупняют семью, везде приглашения разослали.

У мьют-романов распространены стайные браки.

Машина давно стояла на одном из перекрестков Стеклового района. Хаяни услышал, как водитель хлопнул дверцей и зашагал вперед. Еле слышимый гул голосов, дерево, прилипшее ветвями к окну Хаяни. Женщина опять забилась в кресле.

— Скоро они там? — чуть слышно спросил Хаяни.

— А ты скажи, скаф, ты когда-нибудь жил в большой семье? Что это такое?

— Я вообще ни в какой семье не жил. Я воспитанник. Я хотел в семью, но... как бы это сказать?.. в уме. А на практике, знаете, страшновато было.

Он и не заметил, как стал раскрываться.

— А женщины?

(Кресло кричало, как живое. Женщина билась в нем с силой невероятной.)

— Женщины... что женщины? Это все не то. Одна только у меня любовь была, да и то к мужчине. Я и в скафы пошел превращать недостаток в достоинство.

— Я научу тебя любить, скаф, я с самого детства только и делаю, что люблю, сама не знаю кого, всех, кого попадетсЯ. —

Она вскрикнула от боли, слишком неловко и сильно рванувшись. Казалось, кресло извивается вместе с ней. — Мы с тобой убежим, я знаю, куда, ты уже и сейчас глядишь на меня, ну ничего, я скоро.

— У меня был друг (Хаяни терпеть не мог, когда его перебивали). У нас ничего общего не было. Мужлан, соран-голова, из этих, из гусаров. Когда я уже все перепробовал, уже когда отовсюду бежал, когда, в общем, в скафы попал... Я же вот с этой самой мыслью и пришел в скафы, импатор стать, правда, тоже в уме, не знаю, понимаешь ли ты меня...

— Это неважно, ты говори, а то сил у меня не хватает.

— Но он мне чрезвычайно понравился, хотя и боялся я его. Однажды на него бросился импет, которого тут же напичкали снатворными пулями, не дали и двух шагов сделать, а я был рядом. Я тоже мог стрелять, но подумал тогда не об этом, что вполне мог своего друга загородить, как это говорится, принять удар на себя.

Опять хлопнула дверца, фургон тронулся с места.

— Мог, но не сделал, чуть-чуть только даннул рукой. Тут даже не трусость, я просто не среагировал, но... ладно, пусть будет трусость, я за нее тогда его полюбил. Хотя сейчас, думаю, мог бы и возненавидеть. (А женщина билась, билась, и страшно было смотреть на нее, кресло раскачивалось, подлокотники трещали, но, сделанные на совесть, держались. Хаяни не отводил от женщины вытаращенных глаз, от напряжения выступали слезы, он вытирал их о плечи, до предела сжимая зречки, чтобы не потерять женщину из виду. Она была знакома ему теперь как собственная рука.) Ты пойми только правильно, это даже не трусость была, точно, а просто всегда какая-то секунда проходит, я просто не знаю, что должен в эту секунду делать, и это не трусость, а получается нехорошо. Я думаю, он видел, как я двинул рукой. Я тогда поклялся себе, что всегда буду с ним рядом, и это всегда... почти всегда было так. Если даже я забывал о клятве, он сам становился рядом, он ведь и в тот раз, когда я двинул рукой, тоже рядом стоял, он охранял меня, жалел, понимаешь? Он всегда меня прикрывал, был той самой секундой, которой раньше мне так не хватало. Только сегодня... но сегодня... другое дело... только сегодня я сам...

Теперь фургон мчался на полной скорости, и от того все, что окружало Хаяни, стало выглядеть нереальным. Бесшумный полет, бешено рвущееся из кресла тело, почти спокойные, только чуть умоляющие интонации собственного голоса, горечь в груди, отстраненность и невозможность помочь не то что ей, а даже и себе самому. Страх. И желание помочь. И воспоминания, сначала

холодные, почти не лживые, и стыд за то, что они такие холодные, и конечно, сразу же после стыда, настоящее чувство в воспоминаниях.

— Мне кажется, — простонала женщина (а голос просто не мог ей принадлежать), — что, после того как ты меня поцеловал, я должна стать твоей женой.

— Это очень странно, — тут же отозвался Хаями. — Но мне то же самое кажется. Я думаю, иначе не может быть.

— Не бойся, сейчас, еще немного.

— Как я хочу тебе помочь!

— Сейчас! Сейчас! Свй-й-йча-а-а-ас! Охххх...

Сильный скрежет, кресло распалось.

— Так. Так. Хорошо, — завороченно твердил Хаями, и женщина поднялась, растрепанная, почему-то в крови, с обломками захватов на руках. Сумасшедшие совершенно глаза... Сделала и нему шаг, и зашевелила губами, как бы говоря что-то, развела руки, покачнулась, и он подался вперед, ужас глубоко-глубоко, словно и нет его. Он ощутил свою позу и подправил ее, чтобы было фотогеничнее, ему пришло в голову, что не о побеге сейчас идет речь, и отрекся он от него, с той же истовостью, с какой минуту назад принимал его, и не удивился себе, и знал, что именно так и должно быть, и подумал — фьючер-эффект, и понял тут же, что никакого фьючер-эффекта нет, просто так должно быть, так правильно, и все тут. А она сделала еще шаг, стала перед ним на колени и просунула пальцы под захват на правом запястье (глаза в глаза, будто в танце, тесно прижавшись), поцарапав кожу ногтями, и рванула, больно, и захват распался, как распалось до того кресло, а Хаями смал и разжал кулак и что-то сказал, сам не слыша себя. Ее пальцы уже разрывали следующий, локтевой захват. Он вскрикнул от боли, не отводя глаз, и вот свободна рука, и он погладил женщину по лицу, и она улыбнулась, он уже помогал ей освободить левую руку и думал: «Она меня раздевает». Теперь они говорили одновременно, тихо-тихо, не слыша друг друга, и он тоже чувствовал что-то наподобие эйфории, заставляя себя чувствовать. Вот уже обе руки свободны, и он поднялся, нагнув голову, чтобы не удариться о верх фургона, и это дало ему точку отсчета, пришло ощущение реальности, и постепенно стал возвращаться ужас, а потом отворилась дверь, но женщина не слышала ничего, трудилась над его правой ногой; тогда он осознал, что фургон стоит, дверь открыта, смутно знакомые скафы смотрят на них и медленно-медленно (так казалось ему) снимают с плеч автоматы. Она не слышала, не слышала, не слышала ничего, и Хаями был уже на их стороне, уже поспешно снимал с ее головы руки, поспешно и с отвращением.

МАЛЬБЕЙЕР

...По пути к Управлению, а потом по пути к кабинету Мальбейер сосредоточенно беседовал с Дайрой, настолько сосредоточенно, что даже иногда забывал здороваться со знакомыми, чем немало их удивлял. Он и в кабинете продолжал заниматься тем же и опомнился только тогда, когда интеллктор голосом Дайры сообщил, что подошло время визита в музыкальную комнату. Тогда он сказал себе: «Пора. Что-нибудь да скажу», — соорил неизвестно какую мину, но вежливую, и выбежал из кабинета. Он забыл, что собирался звонить разным людям и попытаться хоть что-нибудь узнать о передвижениях сына Дайры, о шансах не то, что он жив, он вспомнил об этом только на первом этаже, на выходе из Управления, среди блестящих зеркал и синих лозунгов, которых так не хватало остальному Сантаресу, среди озабоченных спешащих людей, из которых каждый принадлежал к СКАФу, но вряд ли хотя бы каждый десятый видел в глаза живого импата. И многие из них в течение, может быть, часа с удивлением и насмешкой оглядывали фигуру грандапитана, сломанную над местным телефоном, его восторженно искривленный рот, влажные красные губы, то, как он размахивал руками, как убеждающе морщил нос и кивал, и топал ногой в нетерпении, и вел себя в высшей степени одиноко.

ХАЯНИ

У доктора были вкслые, изрядно помятые щеки и выпуклые красные глаза, полуприкрытые огромными веками. Он напоминал бульдога, впавшего в пессимизм.

— Нет, — потрясенно сказал Хаяни, — не может этого быть.

— И тем не менее, тем не менее, — ответил врач, помолчав. — Я понимаю, очень сложная перестройка. Помилование у плахи. Я понимаю.

Ничего он не понимал, этот седой растрепанный антик с демонстративно снятым шлемуалом. Он ждал благодарности, восторга, он сладострастно следил за шоком и не замечал, что это давно не шок.

— Но что же произошло?

— У вас иммунитет. Вам потрясающе повезло. Среди скафов, скажу я вам, такие случаи встречаются чаще, чем среди остальных людей. Вам нет нужды закрывать лицо. Счастливец!

Что-то подозрительное прозвучало в голосе доктора, когда он говорил «счастливец». Не только легкая простительная зависть.

— И я свободен?

— Как птица, — доктор встал и сделал приглашающий жест в сторону двери.

— А... там... формальности какие-нибудь?

— Все это без вас. Идите. Я действительно рад вас поздравить. Не каждый день здесь такое. Все чаще леталисы. Нулевиков-то сюда не привозят.

Хаяни тяжело встал, кивнул доктору (тот в знак прощания вытянул вперед шею и широко раскрыл глаза; белки у него оказались не красными, а желтыми) и неуверенно пошел к выходу. На полпути остановился.

— Я хотел спросить. А... вот женщина, которую со мной привезли, что с ней?

— С ней все, с ней все, — с мрачной готовностью закивал доктор.

— То есть... что значит «все»?

— Третья стадия, инкур, да еще, скажу я вам, полная невменяемость. Слишком быстро все развивалось, иногда это очень сильно действует. Положительная, знаете ли, обратная связь через вас. Любопытная это болезнь — импато. Спасти ее невозможно было. А изоляция... Впрочем, вы ведь скаф, что я вам объясняю?

— Я? Скаф?

Доктор недоверчиво посмотрел на форму Хаяни.

— Разве нет?

— Да. Конечно. До свидания.

Жара. Все кончено. Оживающий город. Узкая каменная улица. Окантованные металлом ветви домов с затемненными нижними окнами. На корточках перед входом в Старое Метро сидит босая девушка. Она закрывает лицо ладонями. Проходя мимо, Хаяни ускоряет шаги.

— Ничего, ничего.

* *
*

СЕНТАУРИ

Вот Сентаури, размахивая руками, бежит за фургоном. Дорожка прогибается под ногами.

Вот он в кабине рядом с водителем. Из головы не идет мелодия, мучительная, как дурное предчувствие. Под полом кабины что-то звякает, а сзади, оттуда, где должны сидеть пойманные импаты, ни звука, абсолютная тишина. Это кажется странным возбужденному Сентаури. Сентаури всматривается в окошко, соединяющее кабину с кузовом, но оно выключено.

— Выключено, — говорит водитель так, словно некоторые слоги, как клавиши, у него западают. — Не работает. Все руки никак не дойдут.

— Почему они молчат?

— А о чем говорить-то? О погоде? Они часто молчат. Если не воют. Эти — свеженькие.

Мысли у Сентаури невнятные, шумные, слова непривычные, подобраны кое-как. Он и сам себя с трудом понимает. Он спрашивает, например, у водителя:

— Дети есть?

Он прекрасно знает, насколько бестактен и лишен смысла его вопрос. Дети у скафов бывают, но говорить об этом нельзя.

— От нас уже пахнет.

Трава за окном серая, ветер есть, но почему-то не шумит. «Все не так», — думает Сентаури и говорит водителю:

— Останови здесь.

Сентаури дергает дверь, и она неожиданно повисает на одной петле.

— О, ччверт! — говорит водитель. — Каждый день какой-нибудь подарочек.

Вот Сентаури стоит на шоссе. Запоздало свистит встречный ветер. По шоссе с равными интервалами проносятся удручающе одинаковые фургоны. Из некоторых окошек глядят лица без выражения.

Вот он опять в кабине. Но это не фургон, обычный автомобиль. Наверное, сняли оцепление. Человек за рулем глядит только вперед.

— Что молчишь? — спрашивает Сентаури. Голос его хриплый. Человек пожимает плечами.

— Приезжий?

Человек отрицательно мотает головой.

— Не молчи, — просит Сентаури, и человек впервые бросает на него взгляд.

Он местный, коренной сантаресец, собрался уезжать по делам, да тут поиск, нельзя же бросать своих.

— Это конечно, — соглашается Сентаури. — А кого «своих»?

— Мало ли, — говорит человек.

За лесополосой начали мелькать еще редкие дома.

— Мы потому вас ненавидим, — в запальчивости отвечает человек (он очень волнуется), — что работа ваша, котя и полезная, пусть и необходимая даже, но заключает в себе унижительный парадокс.

— Ах, парадокс! — почему-то взрывается Сентаури. — Ну давай его сюда, свой парадокс! Интересно, интересенько!

— Вы в массе своей люди ограниченные, хотя и предпочитаете об этом молчать, призваны спасать людей, ограниченных куда меньше, от тех, кто по сравнению с нами не ограничен вовсе, от тех, кто, грубо говоря, всемогущ. Слабые защищают средних от сильных. Парадокс, противоречащий природе.

— Люди вообще противоречат природе!

— Это неправда. И потом, кто вам сказал, что мы вас ненавидим?

— Жена? — перебивает его Сентаури.

— Почему жена?

— Я говорю, к жене добираться?

— И к жене тоже, — водитель насупился, машина мчит так, что видна только съедаемая лента шоссе. Пригороды. Нежилые районы. Царство разумного подхода. Ровные красивые газоны. Дома, легкие, дешевые, экономичные. Почему-то здесь никто не живет. Только приезжие. Сентаури вспоминает инструктора-психолога, молодого тощего парня с бледным лицом и кривой шеей. Он проводил выборочный опрос и спросил Сентаури: «Вам приходилось стрелять из оккама-500?» Сентаури долго над ним смеялся, не в лицо, разумеется. Урод, для него пострелять из автомата было несбыточной мечтой. А теперь он сам интересуется женой пиджака.

— А что вокруг дороги — и не видно, — говорит Сентаури. — Только то, что далеко.

— Скорость, — отвечает водитель. — Впрочем, впереди все видно.

Потом они опять говорят о неприязни к скафам, стандартная, казалось бы, беседа. Сентаури все пережевывает парадокс. Ему это кажется новым. Все кажется ему новым. Он говорит:

— Нужно, чтобы все три группы людей жили в согласии, раз уж так получилось. А клеим должна быть любовь.

— Что-о-о?

— Любовь. Приязнь, как ты говоришь.

— Ну это уже настоящий садизм!

А потом Сентаури кричит:

— Останови машину!

Он выкидывает хозяина из машины (медленно проявляются дома и скверы по бокам дороги, и под дорогой, и над дорогой), а потом бежит за ним извиняться, в одной руке автомат, этот чертов оккам-500, а хозяин, толстячок на тонких ниточках-ножках, бежит, подпрыгивая, часто оборачивается, вскидывает руки, и опять дорога прогибается под Сентаури, и опять ему кажется, что он не дышит совсем.

— Ну его, весь этот сумасшедший город! Все это неправильно! Все нужно наоборот!

Сентаури хватает редких прохожих за рукава и предлагает им любовь. Его не понимают. Он говорит, хочу любить женщину, человек я в конце концов или не человек, а над ним хохочут, правда, издали. Он говорит им, это ненормально, я хочу любить женщину изо всех сил, кобели проклятые, а над ним рыдают от хохота. Потом в стеклянной нише у входа в Новое Метро какие-то пятеро пытаются его избить, и Сентаури с невыразимым наслаждением крушит им челюсти.

Сначала его принимают за оповенного, потом — за сумасшедшего и наконец за импата. Его все время мучит мелодия-предчувствие, даже во время драки ее стонущий медленный ритм полностью сохраняется.

— Вы тоже смердите, тоже! И вам не достанется! — кричит Сентаури.

Откуда ни возьмись, появляются скафы. Ребята все знакомые, из группы Риорты, они тоже узнают его, но лезут как на незнакомого.

— Пиджаки, остолопы! — надрывается он, отмахиваясь окком. — Вы хоть волмеры-то свои включите! Ведь я здоровый!

Он науськивает на скафов толпу, но толпа распадается, тает, и это тоже продукт распада пространства, а скафы уже в «пауке», уже взмывают, уже забыли о нем. Но вот попадают ему новые скафы, и эти новые волокут под руки обомлевшего паренька, степень, судя по всему, небольшая, но очень уж он испуган, этакый пощипанный молоденький петушок.

— Вы тоже отравлены, — машинально повторяет Сентаури.

Кто-то похожий на Дайру проходит мимо, и Сентаури хватает его за рукав. Рубашка с неожиданной легкостью рвется, и человек, прижимая к лицу прозрачную зулетку, убегает. Он даже не пытается выяснить, кто его хотел задержать и зачем. Вот Сентаури в каком-то доме с куполообразными потолками, стены увешаны серебряной чеканкой, перед ним — женщина. Ни удивления, ни страха в ее глазах. Одно сочувствие. Это хорошо. Он говорит ей, ты, вечная. Он говорит ей, сколько раз это было, но скафом всегда оставался, никакой привязанности. Он говорит — крушил, радовался, считал, что святое дело, да так оно и есть, святое оно, святое, но сколько же можно, разве для людей оно, разве можно в таком гробу жить? Он говорит ей, у тебя, наверное, много родных, а у меня нету. Нету у меня никого. И ему так жалко себя, он говорит, что-то у меня соскочило, и боится, что опять его неправильно понимают, но женщина обнимает его. У женщины длинные волосы, у нее такая нежная кожа, но Сентаури забирает страх,

страх привычный, воспитанный чуть не с детства, рефлекс, именно до этого всегда доходило, и всегда он в таких случаях страшно грубил. И женщина отшатывается, не понимает. И оказывается, не такие уж и длинные у нее волосы. Поздно менять, поздно уходить, и он уходит только потом, как всегда, сразу после, а женщина остается обиженная, и как всегда, возникает у него брезгливое к себе чувство, и как всегда, он его перебарывает, идет быстрым шагом по улице, оккам чиркает по тротуару, чирк, чирк, и все, к сожалению, на месте, и какой-то лихой мальчонка бежит за ним и корчит рожи, и кричит стишки паршивые, которые они всегда кричат ему вслед:

— Вонючий скаф,
Полезай под шкаф!

И все становится на свои места, и он говорит себе, какого черта, он говорит себе, ну в самом деле, какого черта, э-э-э, бьвет!

Он пожимает плечами, качает осуждающе головой, неуверенно улыбается и стонет от стыда и презрения к себе. Потом (очень быстро) он оказывается перед домом Дайры и видит, что навстречу идет Хаяни.

ХАЯНИ

У Хаяни болели ноги. Ему хотелось спать. Заснуть он все равно не смог бы, но в голове шипело, и слипались глаза. Подступал вечер. Стало свежей, люди высыпали на улицу, они были взбудоражены, громко разговаривали, то и дело встречались плачущие. Как змея, которая останавливается перед брошенной на землю веревкой, Хаяни не мог пересечь пограничные проспекты Треугольного Района — «сумасшедшей» части города, он поворачивал назад, блуждал по изломанным улочкам, тупо рассматривал густо навешанные картины: Делакруа, Изотто, Маньери, Хайрем, Пикассо, Петров-Водкин, Врубель, Кипренский, Далиль... То он попадал в Римский Район, район воинственных романцев, из которых вряд ли хотя бы пятая часть действительно имела отношение к итальянскому племени: в основном это были люди, побывавшие у гезикмахера, изменившие свою внешность, чтобы было где жить; то он попадал в Мраморный Район, где жили люди искусства — продюсеры, наборщики, артматематики, и его обдавало запахом тухлой воды; брызгам бесчисленных фонтанов, люди с мокрыми волосами то отшатывались, то начинали задирать его, но никогда не доводили дело до прямых оскорблений — форма скафа и злила, и отпугивала одновременно.

— Эй, скаф, какой улов сегодня?

Ведь разобраться если, думал он, с огромным удовольствием ощущая агрессивность своей походки, то получается, что мы действительно их защищаем, действительно наше дело святое, уж там неплевать, какие мы сами, уж это издержки, мелочи, нет! Это даже уважения достойно, мы в жертву отдаем им не только свои жизни, все отдаем, так чего им на нас злиться? А может быть, и не злятся они вовсе, просто себя разжигают?

На музыкальном тротуаре плясали эйджуэтеры — их было человек десять, одетых в черное, с накрашенными лбам; с кастаньетами в руках, они напевали что-то бессмысленное... камень гром пали сюда... и прыгали с плитки на плитку, и получалось ритмично, однако никакой мелодии, только намек на нее и намеренная сбивка.

— Скаф, скаф, иди сюда! Спляшем!

— Скаф, подари автомат!

Кто-то истошно кричал за углом, а другие, не обращая внимания на окружающий содом, чинно прогуливались под ручку, внимательно и быстро оглядывали Хаяни, переговаривались неслышно, и Хаяни вдруг стал уставать от этих красок, от этих звуков, от этих людей.

Где-то впереди послышался сильный удар, затем грохот сыплющихся камней, крики, аплодисменты — это дрались блуждающие дома, редкость в наше время, где-то на улице Вотижару, пойдёмте, пойдёмте скорее, не так уже много-то их и осталось, этих блуждающих, что-то спокойны последнее время, стоят себе, никуда не рвутся.

Полотна мастеров, испещренные надписями, многие из которых были нецензурные, а остальные — либо плоские шуточки, либо объяснения в любви, — все это тысячу раз виденное, сейчас раздражало Хаяни, приводило буквально в бешенство.

— Что со мной такое? Я ведь рад, что не заразился, честное слово, рад, — сказал себе Хаяни.

Оглушающий удар, совсем рядом, звон стекол, звуки сыплющихся блоков, взрыв восторженных воплей. Хаяни резко прибаивал шаг, потом побежал, вклинился в толпу зевак, завопил, еще ничего не видя, но оказалось, что не вовремя. На него удальноно оглянулись.

— Надо же! И скафа сюда принесло! Наслушался нарко, не иначе.

Дома расходились для очередного удара. Один был основательно покалечен, он угрожающе кренился, у другого был обломан только один угол да еще выбиты стекла. Все пространство вокруг домов было усыпано ломаными блоками и багряно сверкало битым стеклом.

Первый дом начал вдруг раскачиваться, все сильнее и сильнее. Казалось, вот-вот упадет.

— О! Сейчас подсечка будет! Повезло!

Все так же раскачиваясь, дом ринулся на своего противника. Тот стоял неподвижно и, казалось, ждал.

Движения были замедленны, как в рапидной съемке. Вот они на дистанции схватки, вот атакующий дом размахнулся, а второй, по-прежнему не трогаясь с места, начал разворот, подставляя под удар уже поврежденный угол.

Удар! В самый последний момент второй дом на максимальной скорости пошел навстречу первому, а первый, наклонясь максимально, коснулся его, раздался скрежет, звон, и второй дом начал вдруг разворачиваться назад, он как бы терся о бок своего противника, давил его, а затем верхняя часть первого дома начала рассыпаться. Толпа взвыла.

Хаяни бесновался вместе со всеми. Ему не нравилось зрелище, но он хохотал, кричал, указывал пальцем, хватал кого-то за плечи, а потом сам не заметил, как снова оказался один.

— Ва-ню-чий шкаф,

Полезай под шкаф!

Ва-ню-чий шкаф,

Полезай под шкаф!

Он снова побежал, но теперь у него появилась цель.

Хватит с меня, думал Хаяни, я приду и скажу, ребята, я с вами, не прогоняйте меня, Дайра, куда ж я от вас, нет у меня никого, кроме вас, а что обидел, так что ж — свои, как-нибудь разберемся. Я люблю вас, ребята. А Дайра скажет, что шкафу любить не положено, что это мешает его работе, но он только скажет, а все равно примет, он ведь понимает, что совсем без близких нельзя, у него ведь и у самого рыльце-то ох как в пуху. А Сентаури ничего не скажет, только буркнет что-нибудь пиджачно-брючное, да бурчи сколько хочешь, я не в претензии, бурчи, дорогой, мы, может, и словом больше с тобой не обмолвимся, если трепя не считать, только поглядим друг на друга, только рядом станем — чего ж мне больше.

СЕНТАУРИ

У самого дома Дайры Хаяни нос к носу столкнулся с Сентаури. И все произошло так, как думал Хаяни: они остановились друг перед другом и посмотрели друг другу в глаза, и Хаяни протянул руку, но потом все пошло кувырком. Сентаури сорвал с плеча автомат и всадил в него очередь, и это было очень больно, и падать ужасно не хотелось, но что поделаешь — не устоять

на ногах, а Сентаури отбрасывал автомат, Сентаури тряс руками, Сентаури кричал что-то, и Хаяни сквозь боль подумал, ну какой я пиджак, ну, конечно, я все понял или вот-вот пойму, но не успел ничего понять, а все было так просто, он забыл, что по беглым импатам стреляют, что реакция на появлении беглого импата доведена у скафов до рефлекса, потому что при таких встречах важно нанести удар первым, он ничего этого не успел, и Сентаури с перекошенным лицом стоял теперь перед ним на коленях и рвал фэйтинг с груди и бормотал, морт, боже мой, морт, почему морт, хоть кто-нибудь, отзовитесь, что же это такое, почему не отвечает никто?

ДАЙРА

Дайра так никогда и не узнает, что случилось с его мальчишкой на самом деле. Всегда у Дайры будет ощущение, что он не умер, а убежал, хотя мало к тому будет у него оснований. В каждой странности своей последующей жизни: в безмолвном телевизове, в неизвестном, который однажды ночью не посмеет войти к нему во двор и, потоптавшись у калитки, торопливо уйдет (а Дайра будет следить за ним из полувыключенного окна музыкальной), в небольшом букете красных цветов (это особенно! Никто из знакомых Дайры никогда не грешил и не будет грешить пристрастием к букетам, анонимно переданным в больницу, где уже к старости Дайра будет менять вдруг ставшие хрупкими кости), иногда в совсем уже мелочи, в слове, оброненном невпопад, — везде будет усматривать он присутствие сына.

Память услужливо исказит воспоминание об утреннем разговоре на кухне, переставит акценты, вставит несказанные слова, и все для того только, чтобы всю жизнь мучиться Дайре ненужным вопросом — почему, черт возьми, мальчишке надо было бежать от него, почему не подает он вестей о себе? Дайра никогда не сменит адреса, он снимет с дома замки, а уезжая надолго из дому, будет оставлять сыну записку.

То ему будет казаться, что Мальбейер соврал тогда на летном поле, то, вспоминая его искренние, испуганные глаза, он будет говорить себе, что это был тот самый раз, когда Мальбейер не врал. Время от времени Мальбейер будет приходить к нему в гости, обставляя свои визиты ненужной таинственностью, сидеть в музыкальной, изображать из себя страстного поклонника нарко, улыбка, притворные банальности, странные, очень странные разговоры, но никогда ни словом не обмолвятся они о мальчишке. Дайра будет считать, что Мальбейер молчит из садизма, может быть, неосознанного, а сам никогда о судьбе сына не

спросит, хотя и будет готовиться к этому каждый раз, репетировать, примерять различные выражения. Не сможет он этого сделать.

А в тот день он прямо с аэродрома приехал с Ниорданом к себе домой, никто не встретил их, так и знал, сказал тогда себе Дайра, а Френеми куда-то исчез, и это немного беспокоило Ниордана. Они прошли в музыкальную и сели в кресла друг против друга, и Дайра подумал, он же настоящий псих, этот самый «самый надежный скаф», псих на сто процентов, и эта мысль оказалась такой длинной, что уже стемнело, когда она кончилась. Потом снаружи раздались крики и выстрелы. Ниордан повернул голову к двери, а немного спустя в музыкальную ворвался Сентаури. Он сказал, я только что убил Хаями, я думал, он сбежал от них, а он оказался совершенно здоров. У него, мне сказали, иммунитет, мне сейчас объяснили по файтингу. Я все-таки прикончил его, вот комедия-то! На этот раз Сентаури совсем не обиделся, что они не отреагировали, ему было не до того — он был занят саморазоблачением, и это выходило у него так скучно, и длилось все это так отвратительно долго, что Дайра сказал ему, ты просто дурак. И опять Сентаури не обиделся.

Как раз тогда появился Мальбейер, а вслед за ним вошел Френеми, но руки у Френеми были связаны, и позади стоял конвой.

Никто не удивился приходу Мальбейера. С его появлением все словно ожили, или, чтобы точнее, гальванизировались. Моментадно Дайра ощутил в себе массу информации, которую необходимо было сообщить Мальбейеру: и о смерти Хаями со всеми известными подробностями, и о том, что Сентаури вовсе не претендовал на высокий пост, и о том, что он вообще собирается уходить из скафов, и о том, что сына в доме не оказалось, а следовательно, Мальбейер врал, когда говорил, что есть надежда; нужно было особенно сделать упор на разъяснении этого «следовательно»; нужно было также расспросить его, насколько верна информация о том, что все дети на триста пятом идентифицированы, нужно было получить разъяснения по поводу ваканси. Нужно было плюс ко всему указать Мальбейеру на дверь, но сделать это так, чтобы он не ушел. Впрочем, он не ушел бы в любом случае. ему тоже было что сообщить. Все заговорили одновременно, каждый пытался говорить как можно громче, чтобы именно его было слышно, один только Ниордан презрительно молчал, вслушиваясь в лепет предателя Френеми, основного вдохновителя всех раскрытых им заговоров.

Дайра сказал Мальбейеру, я не понимаю, зачем вам нужно было, чтобы именно я сбил этот атмосферник, а Мальбейер от-

ветил, что это неправда, что прекрасно Дайра все понимает, только понимает неправильно, что на самом деле Мальбейер вовсе и не хотел стрельбы, как раз наоборот, он надеялся, что Дайра откажется, и тогда пришлось бы взяться за дело ему самому, грандкапитану гвардии СКАФа. Но у него тоже не получилось бы — простекло бы огромное количество суеты, ахов, комплиментов и ломания рук, все в ужасе и отвращении отвернулось бы от него, но атмосферник приземлился бы, и сотни предсудорожных импатов рассыпались бы по людным местам, и началась бы страшная эпидемия, и погибло бы множество народу, и СКАФ значительно укрепил бы свои позиции, и уже никто не посмел бы с нами бороться, пусть даже и был бы наш путь усыпан проклятиями, потому что скафы — это раса, это каста, это качественно отличные от людей существа, более жизнеспособные и в силу своего аскетизма с большими, чем у обычных людей, возможностями, это — профессионалы, на что Сентаури с необычным жаром возразил, что профессионал не может быть скафом, что настоящими скафами становятся только пиджаки, а от пиджаков ничего хорошего ждать не приходится, и Мальбейер тонко усмехнулся. Дайра тоже не остался в стороне от дискуссии, он сказал, что скаф — это мертвец с автоматом, только мертвец способен на то, что требуется от скафа, и поэтому раса скафов, если даже она и есть, не имеет будущего. Разумеется, это не относится к институту СКАФа, это образование бюрократическое, долговременное, очень живучее, но никакого отношения к функциям скафов, к их морали оно не имеет. Мальбейер, сладко покачав головой, ринулся в спор, а в это время Френеми перестал каяться, он уже бросил Ниордану тяжелые, больные слова, и глаза Ниордана щурились еще больше, и лицо его выражало нечеловеческую жестокость. Для Сентаури Мальбейер превратился в двух человек: один ходил между кресел, в которых расположились скафы, страстно жестикулировал и с обычной витиеватостью говорил невероятные вещи, а другой склонился над Сентаури и, упершись ладонями в подлокотник кресла, молча и пристально вглядывался ему в лицо. Это очень мешало.

Потом Ниордан сказал:

— Предатель. Казнить его сейчас же, немедленно. Он хотел ненависти. Пусть он ее получает.

И закрыл руками лицо.

Все смолкли. Мальбейер, который после этих слов почувствовал себя крайне неловко, скроил невинную мину и замолчал наконец-то, сел в ближайшее кресло. Дайра вымученно улыбнулся и сказал:

— И этот тоже против меня. Не думал.

СЕНТАУРИ

— Я никого не продавал. Неправда, — пробормотал Сентаури. — Я все честно. Это не предательство. Я не из-за вакансии. Я и не знал о ней ничего. Неправда это. Псих. Что он понимает.

Первый раз за все время Ниордана в глаза назвали сумасшедшим. И ничего не произошло. Он просто не слышал.

ДАЙРА

Помолчав, Дайра сказал:

— Ведь это ужас, что мы делаем. Вот где настоящее омертвление. Я убил сына (быстрый взгляд в сторону Мальбейера), Сентаури — самого близкого друга, Мальбейер собирался уничтожить тысячи людей и жалеет о том, что ничего не вышло, а собрались мы вместе и обсуждаем сугубо теоретические вопросы, которые и касаются нас только чуть-чуть.

МАЛЬБЕЙЕР

— Позвольте! — тут же воспрянул Мальбейер. — Я вовсе не жалею, что у меня ничего не вышло, здесь вы ошиблись, друг Дайра, наоборот, я почти счастлив: вера в человека, лицемерие подвига куда дороже несбывшейся комбинации. А что до ваших советов по поводу неуместности сейчас теоретических диспутов, то позвольте напомнить, что при сильных потрясениях мозг обладает способностью обезболить страсти — так сказать, психологическая анестезия, иначе мы просто не выжили бы.

СЕНТАУРИ

— Все мы пиджаки и трупы, — сказал Сентаури, — это Дайра верно подметил. Омертвление. Причем тут мозговая анестезия? Просто мы трупы.

ДАЙРА

— Да, — согласился Дайра. — Для него все очень быстро случилось. Неожиданный взрыв, боль, падение, всего несколько метров, не больше. Смерть. Почти наверняка мгновенная смерть. (Ниордан вдруг встал).

— Таким как мы, самое милое дело — самоубийство, — спокойно и тихо продолжал Дайра. — Мы не люди. Они не могут принять нас. И мы правы, и они правы.

МАЛЬБЕЙЕР

— Это неправда, неправда! — зачастил Мальбейер. — Дорогой мой друг Дайра, не драматизируйте так ситуацию. Это жизнь! Жи-и-изны! Что мы знаем о жизни? В ней все случается, но нет ничего, из-за чего бы стоило ее обрывать. Вслушайтесь — жи-и-изны!

ДАЙРА

— Именно, что каста. Неприкасаемых, — упрямо бубнил Дайра, ковыряясь в носу. — Я расслабился и умер.

НИОРДАН

— А я умер давно, — задумчиво сказал Ниордан. Он оглядывал всех ищущими глазами, рассчитывая привлечь к себе всеобщее внимание. — Слушайте. Я остался один. Только вы. Моя корона, моя мантия — все это теперь игрушки, не больше. Никогда не вернуться мне к своему народу.

Фигура Ниордана была непрерываемо царственна. Он стоял, держась за спинку кресла, устремив задумчивый взгляд сквозь Мальбейера, и что-то бормотал себе под нос, глаза его горели.

— Только я потерял друга, неважно, что он был плох. Он не понял меня. Или я не понял его. Но только он, он один связывал меня с моим народом. Я вынужден был разорвать эту связь. Теперь я просто скаф.

Говорил он возвышенно и нелепо, однако пластика его тела уничтожала всякую мысль о том, что можно над его словами посмеяться или просто не принять их всерьез.

ДАЙРА, МАЛЬБЕЙЕР, СЕНТАУРИ, НИОРДАН

Он сорвался вдруг с места, кошачьей походкой подлетел к полке с записями (Дайра был обладателем великолепной коллекции нарко), пробежался по ним пальцами, отобрал, почти суетясь, пять белых кассет и одну кремовую (белые кассеты хранили в себе записи нарко, а кремовым цветом отмечались преднарковые мелодии). Вихрь с точно выверенными движениями, он в следующую уже секунду вставлял кремовую кассету в магнитофон, такой же, как у Мальбейера (да-да!). Закрыв глаза, он возложил на панель пальцы правой руки.

Музыкальная преобразилась. Из центра пола забил, замскрился разноцветными красками фонтан-тоноароматик. Стены комна-

ты оголились. Исчезли с них картины, зеркало, пропал даже след резной пластиковой двери. Все еще находясь в напряжении, слушатели судорожно вдохнули манящий знакомый аромат. Предакушению радости, отдыха, о, как все забывается, даже больно, как все забывается. По стенам пробежали причудливые серые тени, где-то вдалеке заиграла флейта, чуть слышно, дразняще... странный мерцающий свет залил комнату, лица изменились, чуть пообмякли; незнакомые, ждущие, широко раскрытые глаза Ниордана, исподлобья — Мальбейера, Сентаури выпятил губы, Дайра... нет, Дайра остался тем же. Сведенные пальцы мнут подлокотник, челюсть вперед, спина прямая, только глаза чуть успокоились, перестали резать, приобрели растерянное выражение. И неожиданно, хлыстом, кипятком — атака оркестра тутти! Фонтан взлетел до потолка, осыпал все шипящими, быстроиспаряющимися каплями, какофония запахов, ярко вспыхнувшие экраны-стены... какая-то площадь огромная, с двухэтажными по бокам домами, желтыми, зелеными, багряными, предутренняя площадь, пустая, без единого человека, яркое небо. Ниордан вытянул вперед руки, и фонтан опал. Тогда он наклонился вперед, растопырил пальцы и на цыпочках, плавно побежал к тому месту, где только что был ароматик. Мальбейер вопросительно посмотрел на Дайру. Тот успокаивающе прикрыл веки и сказал одними губами:

— Танец.

Ниордан до самоубаения любил танцевать. Он танцевал чрезвычайно редко, по каким-то своим, одному ему известным праздникам, и на вопрос: «По какому поводу танцуешь?» — неизменно отвечал настороженным, оскорбленным взглядом. Из-за этой страсти он куда больше, чем нарко, под которую нельзя танцевать, любил преднарковую музыку. Даже просто сидя и слушая преднарко, он переживал воображаемый танец: запрокидывал голову, вздыхал, жмурил в сладкой муке глаза, трогал быстрыми пальцами то лицо, то колени — меньше всего в эти минуты он напоминал сумасшедшего.

В этот раз Ниордан танцевал оливу — один из самых старинных мьют-романских танцев. Прелесть оливы, особенно в исполнении Ниордана, заключалась в том, что при внешней скупости движений (дерево под ветром) в ней заключалось такое море чувств, что просто удивительно было, как это Ниордан не перенгрывает. В этот раз танец почему-то не получался. Ниордан, как всегда, был чрезвычайно пластичен, руки его, ветки оливы, словно нежной корой обросли, тело, ноги — каждое движение было прекрасно, а вот лицо подводило. Жестокость нарушала гармонию. Его быстрые, резкие, почти незаметные движения, точ-

но в такт, уже не составляли того целого, которое отличает искусных преднаркотанцоров, — чувствовался диссонанс.

Музыка менялась. Она становилась то спокойной, то резкой, и Ниорден четко отслеживал смены ритма. Потом, очень себе удивляясь, встал с места Дайра, подошел, нарочито неловко, к танцору, обнял его за плечи и, мотая головой, стал переступать ногами в такт музыке. «Я не понимаю себя», — подумал Дайра. Еще меньше он стал понимать, когда к ним присоединился Сентаури — каменное выражение лица, совершеннейший неумеха, презиравший танцы, эту маленькую радость истинных пиджаков, терпящий танцы только ради компании. А когда с виноватой улыбкой вдруг поднялся со своего кресла Мальбейер, когда он подошел к ним, пытаясь приноровиться к несложному ритму, пытаясь, явно пытаясь не выглядеть чересчур смешным, когда он обхватил руками плечи Сентаури и Ниордана, когда он тем самым замкнул кольцо и уже полностью испортил оливку, тогда Дайра перестал удивляться, перестал ждать известий о своем сыне и полностью подчинился музыке.

Они ступали неуклюже и тяжело, один Ниорден был, как всегда, неповторимо изящен, наша гордость, наш Ниорден. Он танцевал уже не оливку, он подражал своим друзьям, он тоже обнял их за плечи, его ноги тоже стали пудовыми, но все-таки это был настоящий танец, произведение искусства. Объятия крепки, из-под тяжелых век упорно глядели четыре пары воспаленных, бессонных глаз... враскачку, враскачку... синхронно и не совсем в такт... да разве до такта им было? Их танец лишен был даже намека на радость, на хотя бы самое мрачное удовлетворение, их танец был тяжелой работой, приносящей тоску, убивающей самые смутные надежды. А музыка становилась все веселее, это непрменная тема преднарко, потом, ближе к концу, придет в эту музыку горечь, а сейчас на экране бежала стайка ярко одетых девушек, руками, ногами, телом каждая из них выполняла свою собственную серию сложных фигур, которые поддавались расшифровке только на самом высоком профессиональном хореографическом уровне, но это, несомненно, был радостный танец. Иллюзия присутствия была полной, и она только усиливала печаль — тот мир, тот танец, та радость были недостижимы.

Дайра не знал, что именно танцевали девушки: запись принес когда-то Ниорден и, по своему обыкновению, оставил без комментариев.

Мертвые витали над скафами. Убитые сегодня, вчера, во все времена, они давили на танцующих неумело мужчин, так давили, что даже Мальбейер чувствовал их присутствие. Нет, никто из них, конечно, не верил в духов, им не вспоминался, конечно, каж-

дый леталис во время захвата, просто все разговоры, все горести этого дня вдруг всплыли одновременно в их памяти, спаялись в однородную массу из боли, страха, ожидания, ненависти, любви... лицо Томеша Кинстера на экранах аэропорта, невнятное бормотание диспетчера, толпы возбужденных людей, какой-то старик, размахивающий рогатым сверхбезопасным шлемоуалом, посылающий вдогонку проклятия, раскаленные тротуары, крики, больные, непонятные разговоры, оскал Сентаури, масляные злые глазенки Френеми, Баррон, спящий в углу дежурки, мертвая летящая старуха с растопыренными локтями, улыбка Мальбейера, теплые капли пота, надписи на картинах...

Дайра заметил, что вот уже несколько минут он не отводит взгляда от одной из танцующих девушек. Он пригляделся к ней внимательнее. Лицо ее было чем-то знакомо, просто родное было лицо, хотя Дайра мог бы поклясться, что никогда прежде ее не видел, разве что запомнил по музыкальным вечерам, а это было не очень-то правдоподобно, потому что Дайра никогда не обращал особенного внимания на экраны: его всегда интересовала одна только музыка. И ему захотелось в этот момент, чтобы девушка была с ним (так захотелось, что он поморщился), он бы ей все рассказал, все, ничего не скрывая ни от других, ни даже от себя самого; и не очень-то важным казалось ему то, что она, пожалуй, и не поймет ничего, просто чтобы рядом была. Мысль, конечно, дикая, несуразная, детская, было в этом мире четыре скафа, а больше никого нигде не было. Дайра горько усмехнулся и подмигнул девушке, и к невероятному своему удивлению, увидел, что она в ответ подмигнула тоже и улыбнулась, и помахала ему рукой.

АНДРЕЙ САЛОМАТОВ

КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ

Он шел по пыльной улице, засунув руки в карманы своей рваной вельветовой куртки. Безразлично поглядывая по сторонам, поллезывал себе под ноги и думал, где бы разжиться сигаретами и хлебом. Полицейский, до сих пор скучавший у стены маленького магазинчика, присмотревшись, подошел к нему и нехотя спросил документы.

— Пора бы уже свои иметь, — равнодушно сказал бродяга и, порывшись в нагрудном кармане, достал оттуда вчетверо сложенный лист бумаги.

— Освободился, — сказал полицейский, разворачивая бумагу.

— Да уж хватит. Пора и честь знать, — ответил бродяга, блуждая взглядом по вывескам. На стене одного из домов он прочел: «Кафе «Маленькие радости». Слева от двери на вертикальном щите крупными буквами было написано: «Только для бродяг, алкоголиков и проституток».

— Что за богадельня? — спросил он у полицейского, изучающего бумагу.

— Зайди — узнаешь, — ответил тот, возвращая бродяге документ. — И постарайся не попадаться мне часто на глаза.

— Ладно, — не глядя на полицейского, ответил бродяга и, засунув в карман бумагу, не спеша направился к странному заведению. Он внимательно изучил вывеску, подошел к двери и неуверенно взялся за ручку. Дверь открылась. На пороге стояла хорошенькая девушка в ослепительно белом платье и кружевной наkolке.

— Здравствуйте, — девушка приветливо улыбнулась и жестом пригласила озадаченного посетителя войти. Бродяга вошел и осмотрелся. Это был большой светлый зал с большим, как шкаф, музыкальным автоматом, со столами, накрытыми белыми скатертями, и кухонным запахом. Кое-где сидели такие же, как он, небритые, одетые в лохмотья, люди. Кто-то ел из дорогой фарфоровой посуды, а кто-то курил, разглядывая соседей.

— Что бы вы хотели? — спросила девушка, улыбаясь бродяге, как самому лучшему другу.

— У меня нет денег, — ответил тот. — Так, зашел посмотреть.

— Если у вас нет денег, мы покормим вас бесплатно, — ответила девушка. — Кроме того, у нас вы можете так же бесплатно побриться, постричься, принять ванну, а за это время вашу одежду почистят и, если надо, починят. Если же вы останетесь у нас до вечера, вы сможете поужинать и при желании переночевать одну ночь. Если у вас есть какая-нибудь легковыполнимая просьба — мы ее выполним. Например, вы захотите покататься в автомобиле или на велосипеде. По вашей просьбе мы можем приготовить вам любое блюдо из любой кухни. Что вы любите больше всего?

Застигнутый врасплох, бродяга ошалело смотрел на девушку и молчал.

— Ну что вы любили больше всего в детстве? — ласково спросила девушка.

— Пиво и лазать по деревьям, — не своим голосом ответил он.

— Спиртных напитков у нас нет, — сияя сообщила девушка и шутливо погрозила бродяге пальчиком.

— Тогда клубнику со сливками, — сказал бродяга.

— Ну, значит, на десерт вы получите клубнику со сливками.
Как вас зовут?

— Как хотите, — ответил бродяга.

— Хорошо, Джон. Итак, с чего вы начнете?

— С сигары.

Воспользовавшись всеми услугами, предложенными заведением, Джон, чистый и коротко подстриженный, лежал на застеленной кровати и курил. В дверь постучали, и через несколько секунд в комнату вошел священник. Поздоровавшись, он подошел к кровати и, ласково глядя на Джона, сказал:

— Может быть, вы хотите исповедаться, сын мой?

— Я не собираюсь умирать, — ответил Джон, не меняя позы.

— Исповедаться — значит, облегчить душу, — мягко сказал священник.

— Я уже сегодня облегчился, — ответил бродяга.

— Господь милосерден, Джон. Никогда не поздно обратиться к нему. К тому же вы в таком возрасте, когда уже надо подумать о спасении души.

— Это за один день вы собираетесь спасти мою душу?

— Не я, Джон. Если вы...

— Ну так пришлите ко мне Господа Бога, ему я и исповедуюсь, — перебил он священника.

— Не богохульствуйте, Джон, — укоризненно сказал священник.

— Я отказываюсь от этой услуги, — встав, сказал бродяга. Он подошел к столу, на котором стояла чашка с клубникой, и подцепил одну ягоду.

— Подумайте как следует, Джон, — уходя, сказал священник.

Не прошло и получаса, как в дверь снова постучали. На этот раз вошла та самая девушка, которая встретила бродягу у входа.

— Вы извините, Джон, но я забыла вам сказать одну вещь. Дело в том, что в виде платы за услуги мы хотели бы услышать историю вашей жизни. История может быть выдуманной, лишь бы было правдоподобно. Правда, вы можете отказаться рассказывать. Это ничего не меняет.

— А зачем вам моя история? — удивился Джон.

— Можете считать это причудой хозяйки нашего заведения. Самые интересные истории она записывает, а зачем ей это нужно, я не знаю. Я вас не тороплю. Можете подумать и рассказать мне о себе, например, после ужина.

— Хорошо, — ответил Джон. — У меня есть к вам маленькая просьба.

— Какая?

— Я хочу, чтобы вы поужинали со мной. По-моему, это легко выполнимо.

— Хорошо, Джон, — согласилась девушка, — я с удовольствием поужинаю с вами.

— Ну и отлично. За ужином я и расскажу вам свою сказку. За ужином Джон веселился напропалую.

— Вообще-то у меня есть очень хорошая профессия. Я композитор.

— Вы сочиняете музыку? — лукаво улыбаясь, спросила девушка.

— Да, и еще какую. Хотите, я вам что-нибудь сочиню? Жаль, со мной нет моего ассистента, его еще не выпустили. Он машет палочкой, когда я дирижирую, а в остальные дни пишет ноты, которые я сочиняю. Хотите, я посвящу вам небольшой концерт, тактов на пять? У меня сегодня хорошее настроение.

— Хочу, — ответила девушка.

— Вам как, с диезами или без?

— С тремя, — ответила девушка. — А кто были ваши родители, Джон?

— Папа — бароном, мама — баронессой, а я, стало быть, барончиком. Но только до десяти лет. Дело в том, что папа все время заставлял меня носить на груди родовой герб, а он был золотой и весил не меньше сорока фунтов. Мне это надоело, и я сбежал из родового замка. С тех пор вот сочиняю концерты.

— А ваши родители, они живы?

— Не знаю, — равнодушно ответил Джон. — Папа лет двадцать назад разорился и заперся, а мама пошла на панель. Я видел ее лет пятнадцать назад в Н. Она сидела в пивной на полу в собственной луже. Я выплеснул на нее кружку пива и ушел.

— Джон, это правда? — спросила девушка.

— Все, что я говорю, абсолютная правда, — Джон отвалился от стола и закурил сигару. Девушка встала и через боковую дверь вышла в сад.

— Джон, — позвала она. — Джон, идите-ка сюда.

— Я к вашим услугам, — бродяга вышел вслед за девушкой.

— Ну давайте, Джон, лезьте.

— Куда, мисс? — удивился бродяга.

— На дерево. Вы же говорили, что в детстве очень любили лазать по деревьям. Вот отличное дерево.

— Только после вас, мисс.

— Я не люблю лазать по деревьям, Джон, — удаленно ответила девушка.

— Может, я лучше прокачусь в автомобиле? — сказал бродяга.

— Вы мне ничего не говорили об автомобиле. Давайте, давайте, Джон, лезьте.

— Мне сейчас не хочется, мисс. Сами понимаете, после такого ужина лезть на дерево совершенно неинтересно. Если желаете, мы можем прогуляться с вами по саду, и я дорасскажу вам свою историю.

— Не надо, Джон. Вы очень страшно рассказываете.

— Не страшнее, чем есть на самом деле, мисс. Если хотите, я вам расскажу о детстве моего папы. Оно у него было менее страшным.

— Нет, Джон, спасибо. Как-нибудь в следующий раз. Так, значит, вы отказываетесь лезть на дерево?

— Отказываюсь, — ответил бродяга. Девушка достала из кармана маленький блокнотик, открыла его и что-то перечеркнула.

— Ну ладно, Джон, мне пора. Я должна выслушать еще несколько историй.

Проснувшись ночью, Джон встал и закурил. Не включая света, он походил по комнате, затем сорвал с окон занавески, бросил их под деревянную кровать и, достав спички, поджег их. После этого Джон забрал со стола сигары, вылил клубнику со сливками на кровать и вылез в окно. Еще минуты две он постоял внизу и, когда огонь хорошо разгорелся, быстро пошел в сторону вокзала. Но не успел он пройти и трехсот метров, как его остановил уже знакомый ему полицейский!

— Стой!

— Я спешу, — ответил Джон.

— Я вижу. Что, поджег «Маленькие радости»?

Джон бросился бежать, но полицейский быстро его догнав и подставил ему ножку. Джон упал, а полицейский, усевшись на него, надел ему наручники.

— Думаешь, ты первый? — беззлобно спросил полицейский. — Нет. Только в этом году восемнадцать раз поджигали. Можешь не беспокоиться, огонь уже потушили. Ну вставай, пойдем. — Полицейский помог Джону встать. — Свиньи вы неблагодарные. Вас кормят, бреют, моют...

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

СТРАХ

Его боялись все. При одном его имени люди вздрагивали, бледнели, переходили на едва слышимый шепот и начинали испу-

ганно крутить головой. Если дул ветер, то все начинали вслушиваться, пытаясь распознать, не несет ли он свист и дыхание чудовища. Когда появлялись тучи, люди пригибали головы и исподлобья тревожно всматривались, не скрывается ли за одной из них неведомый зверь. И каждый раз, когда наступали сумерки, все окна закрывались тяжелыми досками, двери вгрызались зубастыми запорами в стены, гасился свет и испуганные тени сидели, покорно прижимаясь друг к другу.

Они ждали.

И если в ночи раздавался тихий свист, сменяющийся истошным криком, то все вздрагивали и... облегченно вздыхали, отводя друг от друга глаза.

А утром они настороженно косились из окон, дожидаясь, когда мимо провезут наглухо заколоченный гроб, скрывающий внутри скрюченное тело. Говорили, что рассудок человека не в состоянии вынести вида жертвы чудовища, поэтому обряжать, класть ее в гроб и заколачивать крышку полагалось слепцам и слабоумным, которые этим кормились и были довольны настолько, насколько позволял им собственный страх. Лишь после этого родственники быстро прощались с сырыми, шершавыми досками и, опасливо взявшись за края, поспешно уносили гроб на кладбище. Все похороны в селении давно были малолюдными, быстрыми и однообразными.

Иногда свист раздавался днем, и тогда все бросали работу, стараясь спрятаться, укрыться от страшного ока. Они кидались в дома, распластывались на земле, залезали в пещеры, пытались стать меньше, незаметнее, слиться с окружающими предметами, пропасть на их фоне. И души их были полны ужаса, а тела корчились в неподвижных, мучительных судорогах.

Имя его произносилось редко, почти никогда, но мысли о нем отражались в согнутых спинах, испуганно бегающих глазах, отпечатывались на настороженных лицах. Мысли эти были мерлом всего, что происходило. Что бы люди ни видели, что бы они ни чувствовали, что бы ни ощущали, первой всегда была мысль о том, а не может ли это предвещать появление чудовища. Многие пытались это появление как-то предсказать, найти какие-то приметы, но все было тщетно. Оно появлялось внезапно, находило свою жертву и так же внезапно пропадало, оставляя после себя изувеченный судорогами труп. Только по свисту можно было догадаться о его приближении, но тогда спастись было поздно. Да и невозможно. Никакие двери, пещеры, стены, запоры от чудовища спасти не могли, и все это знали. Все знали и о том, что единственным человеком, способным заранее почувствовать прибли-

женне чудовища, была его жертва. Словно какая-то нить протягивалась между ними, невидимая и нерасторжимая. Словно было нечто, какая-то несмываемая печать, которая появлялась на жертве незадолго до конца, какой-то запах или свет, не осязаемые для всех, кроме нее и чудовища. Никто не знал, откуда эта уверенность появилась, потому что жертвы никогда об этом не говорили, наоборот, они изо всех сил старались вести себя как им в чем не бывало, до конца не веря в свои предчувствия, еще надеясь, что пронесет, что все это просто почудилось со страху. Но руки их уже бросали работу, глаза наполнялись болью, а ноги сами несли к дому в бессмысленной надежде спрятаться, спастись. Только самые близкие что-то чувствовали, но страх был сильнее их, и они не могли ничем помочь. Они выскакивали из дома и бежали к соседям, на ходу лихорадочно придумывая какое-нибудь неотложное дело. И, ежеминутно ожидая свиста и страшного крика, сидели там, поддерживая пустой разговор. И когда крик раздавался, они так же, как и все остальные, сначала облегченно вздыхали и лишь потом начинали стонать.

Так они и жили. Жили давно, почти с тех самых пор, как их далекие предки, спасаясь от преследований, после страшной, тяжелой дороги через горы, перевали, предательские осыпи и ущелья, снежные бури и неистовые, все сметающие в пропасть дожди; теряя людей, нехитрый скерб и животных, умирая от лишений и болезней, вышли наконец в эту тихую долину. Сначала они не поверили своим глазам, привыкшим к голым скалам и вдруг увидевшим зеленые деревья, траву, прозрачные ручьи и озера с причудливыми, разноцветными рыбами, непуганых зверей и низко летающих птиц. Им показалось, что это очередной мираж, с которыми они уже столько сталкивались. И только потрогав руками жирную, сочную землю, напившись из ручья воды и погладив ласковый ворс травы, они поверили. Поверили в то, что молитвы их услышаны, и вот она — награда за стойкую веру. Вот она — их земля, их новая родина, которую ни с кем не придется делить. Они поверили в возможность земного счастья и взялись за работу. Начали строить, пахать, сеять, собирать урожай, охотиться, в общем, делать все то, по чему успели истоскаться за свой долгий, неприкаянный путь. Все страшное было позади, а впереди мнилось долгая счастливая жизнь. Но вместо этого пришла смерть, неожиданная и страшная. Пришла и поселилась.

А начала она с того, чье имя произносилось с любовью и уважением, кто воплотил в себе все лучшее, что было у них, — с вождя племени. Потом было много смертей, но о них напоминал только страх и одинаковые холмики земли на краю селения. Об этой же смерти помнили все, потому что она была первой и

самой невозполнимой. Чудовище знало, что оно делало. Заманив в западню и убив вождя, оно лишило их воли, лишило смелости. Некому было подняться и повести их за собой. Неважно куда — в бегство или в бой. Главное — повести. Главное — встать впереди и указывать путь. Но вождь умер, и никто не смог занять его место. И они смирились...

Каждый день они ждали смерти, и ожидание это было много хуже, чем сама смерть. Потому что в нем не было жизни. В нем не было ничего, кроме терпения и покорности. Кроме тоски, обреченности и страха. Черными волнами страх сочился из каждого дома, затопляя улицы и выплескиваясь в долину. Липкими, холодными лапами он сутулил спины взрослых и калечил детей. Даже самые маленькие были молчаливы, необщительны и почти никогда не смеялись. Они еще толком не умели бояться, зато родители боялись их. Прилетая к малышам, чудовище почему-то их не убивало, но то, что оно с ними делало, было страшнее смерти. Оно оставляло в живых телесную оболочку, наполняя ее чем-то чужим — непостижимым и ужасным. После встречи с чудовищем дети становились слишком оживленными, слишком веселыми и любопытными. Они словно все время пытались в себе что-то скрыть. Скрыть свое подозрительное любопытство, свой быстрый рост и не по годам просыпающийся ум. Скрыть какую-то огромную, злую силу, которая ни на секунду их не покидала, делая свою черную работу, смысл которой не был никому понятен, но присутствие ее ощущали все. Даже родители этих детей не могли уже с ними жить и сбегали из собственного дома. Жизнь становилась невыносимой, и в конце концов кто-нибудь не выдерживал...

Поэтому когда нарастающий свист оловещал о приближении чудовища, все сжималось, пряталось и начинали прислушиваться, не раздастся ли крик. И если крика не было, то ужас их становился еще сильнее, потому что означать это могло только одно — в селении вновь появился оборотень. И только когда свист сменялся криком, страх их на время отступал, прятался. А на следующий день он возвращался, и все начиналось вновь.

Так длилось долго. Сколько именно — не помнил никто. И наверное, продолжилось бы вечно, если бы однажды со стороны гор не пришел человек. Он появился оттуда же, откуда, по преданиям, когда-то спустились их предки. Пришел неожиданно, по хозяйски, будто все здесь давно принадлежало ему. Вид его был странен и пугающ. Может быть, все дело было в лице, словно высеченном неумелым каменотесом? Или в глазах — холодных и непреклонных? Или в одежде — грубой и незнакомой, пропахшей звериным потом и запахом чужих мест? А может, все дело

было в железной палке, с которой он не расставался и которая изрыгала пламя, гром и могла убить? Неизвестно. Но силу его почувствовали все, и никто не осмелился подойти к нему близко, когда он внезапно появился в селении. Неторопливо, с грацией дикого зверя он ходил по дворам, заглядывал в дома, приносясь к готовящейся пище, смотрел с вожделением на женщин и оценивающе на мужчин. Он ходил везде, и никто не мог его остановить, потому что все слышали гром и видели пламя, вылетевшее из его палки и убившее сурана, парившего высоко в небе. Язык его был непонятен, а жесты резки и повелительны. Он занял пустующий дом на краю селения и заставил приносить себе пищу. Было видно, что он пока не собирается никуда уходить. И тогда они решились. Они попытались ему объяснить...

* * *

...Я устал. Устал ждать. Секунды, минуты, часы, недели, месяцы, годы... Сколько их прошло и сколько еще осталось. Однообразных, одинаковых. С вечной тоской и вечной надеждой.. Нет, вру! Нет никакой надежды. В этом-то все и дело. С надеждой было бы проще. А так... Пусто. Каждый день одно и то же. Утро... Какое здесь красивое утро! Как оно всем нравилось! По утрам строили планы. Мечтали... Нет, мечтали по вечерам. А утром были планы. Прекрасные планы. Планы-сюрпризы, планы-подарки. Планы, где было возвращение... Нет, не могу! Больно. Проклятая память! Вместо того чтобы забыть об этом, засунуть куда-нибудь в дальний угол, она все время выплывает. Как будто издевается. Неужели ей так легче?..

М-да, глупо. Думаю о собственной памяти как о живом существе. Скоро я так все свои органы наделю самостоятельностью и начну с ними общаться... Наверное, это тоже защита. Неосознаваемая, но действенная. Впрочем, нет. Не очень. Ей не дает вернуться он. Разум. Странно, и чего мы в него так уперлись? Развитие разума, поиски разума. «Разум — предмет гордости всякого разумного». Интересно, я это где-то вычитал или придумал сам? Не помню. Вот так всегда. О чем надо — не помню, а что не надо — все время лезет в голову. Да и знаю ли я, что мне надо? То есть знаю, конечно. Но этого не вспомнишь. Это либо есть, либо нет. У меня нет. И не предвидится. Просто не будет. Будут только горы, пещера, долина и разум. Тот самый разум, который мы так долго искали и которому, оказывается, еще так далеко до разумности. И все! Весь куцый мирок последнего синтанина на этой роскошной планете. А планета действительно чудесная. Ласковая, тихая и с характером. Мечта, а не планета. Как

мы ей обрадовались. Восторгались. Потом увидели в первый раз людей, и было что-то невообразимое. Ликование, это мягко сказано. Впервые за столько лет удалось обнаружить носителей разума. Еще робкого, еще пробивающегося сквозь звериное, но разума. Мысли. Той самой мысли, которую мы так устали носить в одиночестве... В одиночестве. Смешно. И тогда мы чувствовали себя в одиночестве, и теперь я в одиночестве. Одно и то же слово, а какая большая разница. Теперь все наши бесконечные разговоры об одиночестве кажутся кошунством. Ведь нас же было много! И нас ждала Синта! А сейчас... Ни друзей, ни Синты. Раньше мне еще удавалось отыскать ее на здешнем небе, а сейчас я и этого не могу. Забыл... Навсегда... Слово-то какое противное. Словно вышел, дверь за собой закрыл, и все. Больше никогда не откроешь. А за дверью этой осталось все — работа, семья, друзья, родина... Все! И сам ты там тоже остался, потому как без всего этого что ты можешь из себя представлять? Так, физическое тело. Организм, нуждающийся во сне, тепле и пище... Какая все-таки злая шутка — это бессмертие. Как оно нелепо выглядит здесь — на этом пятачке, ограниченном непроходимыми горами. Непереходимыми и перелетаемыми. По крайней мере, на оставшемся у меня глетчере, которого тоже скоро не будет, потому что энергии в нем с каждым полетом все меньше и меньше. И что тогда у меня останется? Пищевой синтезатор, излучатель, лечебник и все...

Если бы можно было знать все наперед. Как бы я тогда хотел полететь вместе со всеми. И вместе со всеми размазаться по поверхности этой планеты. Мгновенная боль, которую даже не успеешь почувствовать, и конец...

Надо было сразу... Ведь была же мысль. Направить излучатель и нажать кнопку. Только сначала отсоединить биопредохранитель. Совсем просто. Но не смог. Не сумел. Просто не посмел переступить через основной закон Синты — уважения к жизни. Независимо чьей — своей, чужой. Не я ее давал, не мне ею и распоряжаться. Когда это говорят с детства, постепенно привыкаешь, и соблюдение становится таким же безусловным, как и дыхание. И нарушить уже не удастся. Как бы ни хотелось... А теперь поздно. Теперь я не имею права. Теперь от меня зависят еще и чужие жизни. Чужие, боящиеся меня жизни, которым я помогаю и которым мне еще ни разу не удалось помочь...

А как я им в первый момент обрадовался. Уже распрощавшись с надеждой увидеть кого-нибудь, кроме диких зверей, вдруг однажды увидел их. Как они умудрились перебраться через горы — до сих пор не пойму. Мне это так и не удалось. Хотя, наверное, я не очень-то и старался. А они старались. И смогли.

Слабые, беспомощные, изможденные — спустились с гор и заняли долину. Это был такой подарок судьбы, что я сначала не поверил. Пришел к ним ночью и ходил, ходил, прислушиваясь к тяжелому дыханию спящих, к кашлю, хрипам, доносящимся из их надорванных легких, к запахам давно немых тел... Больше я уже ни разу не смог этого повторить, боясь, что кто-нибудь проснется и испугается. Теперь-то я понимаю, что все делал не так. Наверное, надо было появиться перед ними сразу. Может, тогда бы все пошло по-другому. Конечно, сначала бы они испугались, но потом, думаю, примирились и привыкли. Но я тогда так боялся их спугнуть, боялся, что они снимутся и уйдут обратно. Да уже и это было большим счастьем — видеть их, наблюдать за их жизнью, радоваться их маленьким победам и огорчаться неудачам. И думать, как сделать, чтобы я им стал необходим. Чтобы они мне поверили...

Мечты, мечты... Тогда я много мечтал. Уже почти разучившись это делать, вдруг снова почувствовал в себе столько сил, что, казалось, мог все. Мечтал о том, как буду жить с ними вместе, помогать, лечить от болезней, учить и постепенно передавать им все свои знания, знания планеты Синты. Это было бы лучшим памятником погибшим. Это могло бы хоть как-то оправдать, нет, не оправдать, а сделать менее нелепой их смерть... А главное, это наполнило бы смыслом мое существование здесь! Но все получилось иначе. Пока я мечтал и придумывал различные планы, пока я надеялся, решался и отступал, уговаривая себя не торопиться, прошло несколько лет. Для них, живущих совсем чуть-чуть, даже достаточно много лет. А для меня они пролетели незаметно. Ведь я жил вместе с ними. Пусть невидимый, пусть пока еще никому не знакомый, но уже не один. Я видел, как они строили свои дома, ходили на охоту, разводили животных и сажали растения. Я видел, как рождались их дети, и вместе со всеми радовался их здоровью. Я даже выучил их язык, что было совсем не сложно. Я их всех знал по именам и мог узнавать в лицо. Я радовался их трудолюбию и гордости, я видел, как с них постепенно спадает шелуха забитости и страха, как веселеют их лица, как распрямляются спины и наполняются счастьем глаза...

А потом все кончилось. Их посетила смерть. И коснулась она самого смелого, самого лучшего из них. Того, кто прошел через горы и поселился здесь. Всякая смерть нелепа, но иногда она принимает такие обличья, что кажется нелепее стократ. Эта смерть приняла обличье падающего дерева. Старого, сухого дерева, стоявшего много лет и упавшего именно тогда, когда он проходил рядом. Когда его вытащили, он был еще жив. И мог бы жить долго, если бы я успел. Но я не успел. Когда я прилетел и при-

землился рядом, распугав всех, уже было поздно. Было поздно, когда я еще только подлетал, и я знал это, но не прилететь не мог. И не потому, что надеялся, хотя и это тоже было, а потому, что всякая боль требует действий, как бы бесплодны они ни были. Она требует помощи. И не оказать эту помощь — самое страшное преступление по законам Синты. Преступление, которое я никогда не смогу совершить, хотя и знаю, что моя помощь никому не нужна. Даже наоборот. Этой помощи все боятся, а меня ненавидят. С тех самых пор. Теперь они думают, что их убиваю я, а не старость, раны и болезни. Теперь здесь все пропиталось ненавистью. Я ее чувствую везде, в каждом камне, дереве, в каждом человеке. Ненависть и страх, страх и ненависть...

Ну почему на этой планете все так устроено! Почему добро здесь оборачивается злом? Добро начинает убивать! Какое-то безумие, творимое с моей помощью и при моем участии! Разве это мало — потерять друзей, дом, потерять все? Неужели этого мало? Зачем надо еще поместить сюда, в этот огороженный скалами склеп, наполненный скорбленными подобиями разумных, наполовину убитых собственным страхом и убивающим ради него других?! А они убивают. Я это знаю. Они убили всех вылеченных мною детей, потому что боялись их, еще толком не познавших страх, боялись их странности, боялись того, что они остались живы после встречи со мной. Эти дети нарушали их чудовищную картину мира, где все перевернуто, все поменялось местами, все обезображено невежеством. Они убивали их только за то, что их не убил я! Они переносили на них свой страх передо мной и, не в силах уничтожить меня, уничтожали их, уничтожали то, что я для них сделал. Уничтожали мои руки, которые я пытался к ним протянуть...

Иногда мне кажется, что я их тоже начинаю ненавидеть. За их забитость, покорность. За их страх... И бояться. Ведь это же так просто — поверить в лучшее, а не в худшее. Понять простое, вместо того чтобы громоздить сложности — одну ужаснее другой. А они не могут. Они все переворачивают так, чтобы им же было хуже. Отказываются от счастья ради несчастья, от ума ради глупости, от жизни ради смерти. Зачем им это надо?! И неужели они все такие? Неужели и там, за горами, и на других материках они все поступают так же? Ведь это страшно! Именно это страшнее всего — шараться от всего доброго только ради того, чтобы сохранить свой взгляд на мир как скопище зла... Нет, наверно, я не прав. Несправедлив. Просто это случайность. Страшная, нелепая случайность. Я же помню их довольными и счастливыми. И не их вина в том, что это кончилось. И не моя. Вот только чья же тогда?..

Нет, не могу. Каждый день думать об одном и том же, зная, что выхода нет. Заранее знать, что ничего придумать невозможно, и все равно думать, думать, думать... Неужели это никогда не кончится? У них же есть луки и копья. Так что им мешает на меня напасть? Сопротивляться я бы не стал.

Вот, опять. Опять кто-то у них заболел. Как мне иногда хочется расколотить этот лечебник. И зачем я когда-то настроил его на людей? Если бы я знал, к чему это приведет...

Надо лететь. Может, тем мы и отличаемся от животных, что не умеем сидеть сложа руки, если кому-то другому плохо. Даже если заранее известно, что ничем помочь нельзя. Что будет еще хуже... Но чем же тогда отличаются от животных они? Нехорошо! Нехорошо так думать... И зачем только нас приучили не проходить мимо чужой боли! Как тогда все было бы проще. Но... нельзя. Не умею. И как научиться — не знаю. Да и можно ли этому научиться? Нет, в это только можно превратиться. И стать настоящим чудовищем. А я не чудовище. Пока не чудовище. И единственное, что еще в моих силах, — не становиться им. Оставаться хотя бы мнимым. Хотя им от этого и не легче... Да, жалкая роль, но остальные уже разобраны. Остается быть последовательным хоть в этой...

* * *

Ну что же ты медлишь? Ну выходи! Сколько можно ждать?!

Спокойно, Филл, спокойно. Неужели ты трусишь? А? Ты, сваливший Бешеного Ли? Подстреливший в чистом поле братьев Гуспов? Нет, ты пошутил. Только ты мог так пошутить. Если бы так пошутил кто-нибудь другой, он бы давно уже валялся с пробитой башкой. А так ты знаешь, что сам в себя палить не будешь. Вот и пошутил... Хотя есть чего испугаться. Теперь я понимаю этих туземцев. Сначала думал, что врут, что все им почудилось; ну есть какой-нибудь зверь, но сколько я их уже уложил из своей пушки. Не сосчитать. И ни одного промаха. А пуля — она любого зверя остановит. Главное, вовремя ее послать. И поточнее. А остальное ерунда. В крайнем случае можно добавить вторую. Так что все нормально. Все путем. Пусть только выйдет из этого... черт его знает, что это такое. Никогда не видел. Не мудрено, что они так дрейфят... Ну ничего. Тем лучше. Больше будут меня уважать... Конечно, и так бы уважали. Куда им. Одни луки, да и те поднять боятся. Но теперь они будут уважать еще больше. Так бы их пришлось пугануть. А я этого не люблю. Стрелять без дела при моей-то квалификации и припасах... Несерьезно. А так я еще и благодетелем стану. Да что там благодетелем — они молиться на меня будут... Ха! Бог Филл! Умора. Сказать бы ре-

бятam — не поверили. А ведь так оно и будет. Они этого урода так боятся, что на руках меня носить станут, если я их от него избавлю. Они меня всю жизнь кормить и поить будут. И бэб давать, какую захочу. А бабы здесь ничего. Заморенные какие-то, но ничего. Хотя заморенные у них здесь все. Мужики тоже. Ходят, как пришибленные, и под нос себе говорят на какой-то тарабарщине. Многих туземцев видел, но с такими еще не встречался. На здешних они совсем не похожи. Хотя мне-то один хрен. Язык я их учить все равно не буду, еще чего — мозги ломать, пусть сами меня понимать учатся... И вообще, на все, что у них тут было, мне плевать, у них теперь новая жизнь начнется — для меня. Только бы вот эту образину шлепнуть, и все. И спокойная старость у меня в кармане. Да такая, что никому и не снилась. Любое мое желание выполнять будут. И пискнуть не посмеют. Боятся будут. Уважать. Любить...

Нет, не зря я сюда пробирался. Ох не зря. Правда, другого выхода у меня просто не было. Чертов шериф всех в округе на ноги поднял. А за что спрашивается? Я ведь того малохольного предупредил — заткни глотку и уйди с дороги. А он не послушался. Сам виноват. Такие вещи надо понимать с первого слова. Если, конечно, жизнь дорога. А коли не научился — дело твое. Вот он свою порцию и получил. И потом он тоже за пушку схватился. Все видели. А что я раньше выхватил — так на то и опыт. Про это кое-где им многое могли бы рассказать. Только афишировать это особого резона у меня не было. Хотя теперь наверняка знают. За мной объявления по пятам шли. Но на несколько дней я мог рассчитывать. Отсидеться, передохнуть. Так нет же, молокосос этот подвернулся. Сначала с оружием научился бы обращаться, а потом уж вякал. Так что шериф погорячился. Тогда все честно было. Я со спины не бью. А уж когда бью, то калек не оставляю. И мало ли какие он там обещания давал. «Ни одного убийства, ни одного убийства...» Да где такое было? Где он такое видел? Чтобы в наших краях да ни одного убийства? Чушь собачья! Так нет, устроил травлю по всей округе. Со всех сторон обкладывал. Ну и получил свое. Нашел с кем связываться. Он что же, думал, я ему сдаваться буду? Мне веревка на шею ни к чему...

Ну а после шерифа мне все пути были отрезаны. Везде ждали. Только горы и оставались. Если бы не погоня, я бы сюда хрен сунулся. Смертельный номер. До сих пор, как вспомню, жуть берет. Как я вообще там не гробанулся, непонятно. На чистом везении вылез. Немудрено, что у них до меня никого не было. И не будет. Уж об этом я позабочусь. Пещерку ту, через которую чудом выбрался, завалю как следует. Мне здесь компаньоны ни к чему...

Дьявол! Все это хорошо, но вот что дальше делать? Долго оно ждать, интересно, собирается? Может, это яйцо и есть само чудовище? Или как там они его называют?.. Да нет, непохоже. Что-то там внутри двигается. Шевелится что-то. Хоть бы знать, как оно выглядит. Эти, похоже, сами его никогда не видели. Как прилетало, так они сразу и прятались...

Может пальнуть по яйцу? Проверить на крепость?.. Нет, рано. Спугну. Нельзя в таких делах торопиться. Вредно. Здоровье пострадать может. Яйцо, судя по всему, крепенькое. Небось что-то вроде брони. Или доспехов. Были такие, говорят, в древности. У рыцарей каких-то. Клаф что-то рассказывал. Он разные книжки читать любил, вот потом и заливал. Интересно. Хотя и вранье, конечно... Но палить мы подождем. Оно небось сидит сейчас там внутри и думает, как бы меня слопать. А заодно и того доходягу, что сзади орет, на нервы действует. Чувствует он этого дракона, что ли? Хрен поймешь.

А не трусит ли оно? Ха! Привыкло, что все по щелям прячутся, а тут вышел кто-то и стоит. Вот и испугалось. А? Похоже... Ничего, жрать захочет — вылезет. Я терпеливый, подожду. Ради такого куша подождать можно. Не гордый. Надо было, конечно, засаду устроить, но кто ж знал, что все это правда. Думал, врут. На охоту хотел идти — искать его. Проверить. А оно само пожаловало. Да так неожиданно, что и опомниться не успел. Старею. В самый раз на покой...

А эти... Трясутся сейчас, недомерки. Как они еще решились мне про это чудовище рассказать? Тьфу, показать. Тарабарщину их хрен поймешь. А знаками, ничего, догадался. Правда, такого не ожидал. Но это мелочи, с этим мы сладим. Пуле, ей все равно — что медведь, что человек, что бизон, что другой кто-нибудь. Она в любом дырку делает. С моей помощью, конечно. А уж я ей помогу. У меня рука не дрогнет. Раньше еще могла, уж очень все это неожиданно вышло, а теперь нет. Теперь я ко всему готов. Что бы там ни вылезло, главное, курок вовремя спустить. Нажать пальчиком, и все. Не глядя. Рассматривать будем потом. Ради интереса. И для пользы. На трофеи смотреть — дело полезное. Это я давно усвоил. Надо только, чтобы он был. А уж там на него и посмотреть можно. Чтобы потом легче было. Опыт — великое дело. Кто знает, может, эта нечисть и не одна? Может, их целое семейство?..

Это я хорошо подумал. Вовремя. А то уставился на это яйцо, а вокруг не смотрю. Азы забываю. От дома отошел... Ну ничего. Это мы сейчас. Осторожненько... аккуратно... вот так... Вроде бы ничего и не происходит. Вроде бы я на месте стою. А на самом деле... А, черт! Мне еще упасть не хватало. Был бы на его

месте любой сосунок с пукалкой, давно бы меня подстрелил. И правильно сделал. Это ж надо, не посмотреть, что за спиной. Тыл себе не прикрыть. Хорош, нечего сказать. А теперь давай, топай на ощупь и моли бога, чтобы сзади никакой ямы не было... Так... так... Ф-ф-ууу. Кажись, пронесло. Вот она стеночка родная, вот долгожданная. Холодненькая, крепенькая... Другое дело. Теперь мне хоть папу родного покажи, я сначала на курок нажму, а уж потом думать буду, как он здесь очутился и на кой черт из могилы вылез. Теперь со мной шутить нельзя. Теперь меня бояться надо. И слушаться! Слышишь, ты, слушаться! А не сидеть в своем яйце, терпение мое испытывать. Давай, вылезай. Быстрее вылезешь, быстрее кончим. Раз — и готово. Я ведь человек не злой. Калек не оставляю. И когда кричат не люблю. Как этот, за спиной. Хоть бы ему кто пасть заткнул. На нервы действует. А ты все равно никуда не денешься. Я тебе точно говорю — никуда. Мешаешь ты мне очень. Вдвоем мы здесь с тобой не уживемся. Может, ты был бы и не прочь, но я не могу. Не люблю делиться. И жизни спокойной хочу. Устал, что поделаешь. А с тобой спокойной жизни не получится. Так что извини, придется подвинуться. Покомандовал и хватит. Теперь я буду. Теперь здесь совсем другая жизнь начнется. По-моему. Так, как я хочу. И ты тогда лишним получаешься. Совсем лишним. И лучше уж ты выходи. Я ведь тебя все равно достану. Ты уж поверь мне. Это тебе любой скажет, кто меня знает. Я от своего отступать не привык. И правильно ты меня боишься, правильно. А то, что боишься, это я знаю. Чувствую. Я всегда чувствую, когда меня боятся. У меня на это нюх... Потому что если тебя бояться начали, считай полдела сделано. Считай выиграл. Проверено. А ты уже начал, иначе бы давно вылез. А шанс у тебя был. Когда ты появился, ты был сильнее. Я ведь не ожидал. И испугался. Не то чтобы уж очень сильно, но было. И если бы ты сразу вылез, неизвестно, как бы все обернулось. Но ты не вылез. Видать, тоже струхнул. А теперь поздно. Теперь я сверху. И как ни крути, деваться тебе некуда. Так что вылезай. Приехали... А-аа, зашевелился. Ну, смелей, смелей...

* * *

Что это? Ничего не понимаю. Кто-то стоит перед домом... Странно. Обычно они прячутся, а этот... Живой человек. Незнакомый. Я всех в лицо помню, но его... Нет, не видел. Может, нездешний? Но этого не может быть...

Так. Надо приблизиться. Только осторожно, чтобы не спугнуть. Немного поднять глетчер и медленно, медленно...

Все, дальше уже опасно. Заметит. Теперь можно рассмотреть

его получше... Нет, все-таки он нездешний. Одежда, лицо — все другое. И поведение! Смотрит на меня и не двигается. Не убегает, не прячется. Неужели... Не верю. Но откуда он мог еще появиться? Не в спячке же он был столько лет? И потом его вид... Неужели правда? Нет, невозможно. Они еще не готовы. Они же еще пугаются всего, что им непонятно... Хотя пугаются-то как раз здешние. Других я просто никогда не видел. А этот — другой. Так, может, там, за горами, уже не боятся? Или боятся, но меньше? Ведь он же стоит. Не прячется. Направил на меня какую-то палку и стоит. Невероятно...

А что это за палка? Блестит. Похоже на металл. Но откуда у них металл? Нет, надо проверить...

Железо. Точно железо. И неплохого качества. Для них неплохого. Интересно, что это такое? И зачем он ее на меня направил? Странно, но я почему-то чувствую в ней угрозу. Хотя ему она явно помогает. Похоже, с нею он себя чувствует уверенней. Неужели именно поэтому она кажется мне угрожающей? Нет, что-то в ней такое есть... Не могу разглядеть. Далековато. А ближе нельзя... Стоп! Совсем память отшибло. У глетчера же есть... Вот он. Так... увеличение... Нет, это слишком... Тьфу, сбилось. Руки дрожат. Вот... Уже лучше...

Та-а-а-к. Быстро они. Жаль, что я не могу перелететь через эти горы. Жаль. Значит, у них уже есть заводы, промышленность. И они делают оружие. Пусть пока примитивное, но это уже не лук и стрелы. Это сильнее. Так сильно, что есть о чем подумать. Например, о том, что же мне делать дальше? Ведь теперь понятно, зачем он стоит. Просто он хочет меня убить... Стоп, а почему сразу убить? Может, он просто от страха наставил на меня эту железяку? И теперь сам не знает, куда ему деваться? Нет, непохоже. Тогда бы он ушел. Выбрал момент и ушел. А он ждет. Ждет, когда я выйду. Ждет, чтобы стрелять. Я слишком давно их знаю, чтобы не научиться хоть как-то прогнозировать их поступки. А общего у них много. Хотя бы то, что они дети одной планеты. Он просто немного поувереннее. Он тоже боится непонятного, но уже научился подавлять свой страх оружием... Какой нелепый путь...

Ладно. Попробуем разобраться спокойно. Значит, он хочет меня убить. Убить меня, практически бессмертного, знающего так много, что ему и не снилось, из этого эле обработанного куска железа, начиненного горючими материалами?! Смешно. Но самое смешное то, что у него это может получиться. Корпус глетчера выдерживает многое, но стоит только вылезти... Все моя проклятая самонадеянность! Ведь сказано же, всегда в глетчере должен находиться автономный скафандр. Во всех правилах за-

писано. Так нет... Придется за ним лететь. Выйти просто так было бы самоубийством. Даже защитное поле я уже не могу поставить. Энергии нет для этого давно и безнадежно. Так что надо лететь... Но время... Могу не успеть... Что же получается? Улетаю — больной умирает, остаюсь — он тоже умирает, но вместе с ним еще и я? Хорошенькая ситуация. В духе всей моей жизни на этой планете... А может, подогнать глетчер к самому дому? Нет, не пройдет. Да и незнакомец этот стоит у стены. Пока я раздумывал, он даром время не терял. Похоже, ему и в голову не приходит, что нападать на него никто не собирается. Что же делать? Что? А может, попробовать с ним договориться? Объяснить. Может, поймет, что я не хочу делать ничего плохого? Я же просто не могу сделать ничего плохого! У меня даже оружия нет!..

* * *

Боишься. Теперь я точно знаю, что ты меня боишься. Значит, все. Считаю готов. И нечего мне на туземной тарабарщине лепетать. Меня этим не проймешь. Не на того напал. Это ты местных можешь пугать. А меня теперь не испугаешь. И не разжалобишь. Может, ты парень и ничего, в конце концов у каждого свои вкусы, но только тесно нам вдвоем будет. Не договоримся мы. Это ты сейчас такой смиренный — ручки из яйца своего тянешь и что-то лопочешь по-местному. А потом неизвестно как обернется. Когда позади меня окажешься. А вечно тебя перед глазами держать неинтересно. Да и не наш ты какой-то. Вон руки тянешь — вроде и человеческие да не совсем. И цвет зеленый. На кой ты мне здесь такой нужен. Всех баб перепортишь. Так что плевал я на твои знаки. Давай-ка лучше вылезай. Быстрее кончим. Давай, давай, надоело... Только голову покажи или что там у тебя есть. А уж дальше я разберусь...

* * *

...Нет, не понимает. Или не хочет понять? Прицелился и ждет. Неужели они все такие? Или мне просто не повезло. Мне ведь с самого начала не везло на этой планете. Слово я ей чем-то не понравился. Гораздо больше повезло всем остальным, взорвавшимся вместе со звездолетом. Кошунственно, но факт...

А ведь ничего решать ты не хочешь. Ждешь, когда это сделает кто-нибудь другой? Тянешь время? Неужели ты боишься? Ты же в состоянии его спасти! Надо только войти в дом...

А как? Ведь он же меня убьет. Убьет! И я все равно никого не спасу! Только погибну сам... Слышишь, ты! Опоминись, куда ты лезешь! Вспомни, до сих пор тебе так и не удалось никому по-

мочь. А сколько раз пытался? Все равно они умирали. Или их убивали. Хотя никто тебе не мешал и не угрожал железными палками. Они же умирали от одного страха. Умирали тогда, когда уже были практически здоровы. Им оставалось только встать и жить. А они умирали. Вспомни. И этот умрет. Не от одного, так от другого. Не от болезни, так от страха. Умрет, если ты выйдешь, умрет, если улетишь. Так какой же смысл? Что, спрашивается, изменит твой дурацкий геронзм? Ни-че-го! Абсолютно. Не спасет, не поможет... А ведь скоро сюда придут другие. Те, которые смогут понять. Которые не испугаются. Они уже есть, только очень далеко. И скоро придут. Должны прийти... А ведь это надежда. То, чего тебе так не хватало. Чего ты был так долго лишен. В конце концов, что для тебя значат какие-нибудь лет сто или двести. Да нет, раньше! Они очень быстро развиваются... И тогда ты будешь не один. Действительно не один. Ты будешь нужен! Тогда...

Ох, как он кричит. Даже здесь слышно... Как все глупо получается... Времени совсем мало... Надо решать... Но ведь он же все равно умрет!!! Я же ничем не смогу ему помочь!!!

Нет, не могу. Не могу я его так бросить. Жить с этим будет невозможно. Вечно слышать этот крик. Вечно слышать голоса друзей и родных, повторяющие одно и то же: «Ты бросил умирающего? Ты не помог ему, спасая свою жизнь?». И нельзя будет ничем оправдаться. Потеря каждой жизни необратима. И оправдать ее нельзя. Ничем! Это может слишком далеко завести. Тогда я потеряю право чему-либо их учить. Я не смогу им помогать. Да и жить тоже. Так что решать, собственно, и нечего. Не проходит здесь математика. И логика тоже... Нелепо. Как все нелепо... Именно сейчас, когда появилась надежда, когда я смогу снова начать жить...

Все, хватит! Надо выходить... Может, еще обойдется? Он же увидит, что я без оружия. Может, поймет...

ЛЮБОВЬ И ЕВГЕНИЙ ЛУКИНЫ

ОТДАЙ МОЮ ПОСАДОЧНУЮ НОГУ!

И утопленник стучится
под окном и у ворот.

А. С. ПУШКИН

Алеха Черепанов вышел к поселку со стороны водохранилища. Под обутыми в целлофановые пакеты валенками похлопывал

губчатый мартовский снег. Сзади остался заветный заливчик, издырявленный, как шумовка, а на дне рюкзака лежали — стыдно признаться — три окунька да пяток красноперок. Был еще зобанчик, но его утащила ворона.

Дом Петра стоял на отшибе, отрезанный от поселка глубоким оврагом, через который переброшен был горбыльно-веревочный мосток с проволочными перилами. Если Петро, не дай бог, окажется трезвым, то хочешь не хочешь, а придется по этому мостку перебираться на ту сторону и чапать аж до самой станции. В темноте.

Леха задержался у калитки и, сняв с плеча ледобур — отмахаться в случае чего от хозяйского Уркана, — взялся за ржавое кольцо. Повернул со скрипом. Хриплого заполошного лая, как ни странно, не последовало, и, озадаченно пробормотав: «Сдох, что ли, наконец?..» — Леха вошел во двор.

Сделал несколько шагов и остановился. У пустой конуры на грязном снегу лежал обрывок цепи. В хлеву не было слышно шумных вздохов жующей Зорьки. И только на черных ребрах раздетой на зиму теплицы шушали белесые клочья полиэтилена.

Смеркалось. В домишках за оврагом начинали вспыхивать окна. Алексей поднялся на крыльцо и, не обнаружив всякого замка, толкнул дверь. Заперто. Что это они так рано?..

— Хозяева! Гостей принимаете?

Тишина.

Постучал, погромел щеколдой, прислушался. Такое впечатление, что в сенях кто-то был. Дышал.

— Петро, ты, что ли?

За дверью перестали дышать. Потом хрипло осведомились:

— Кто?

— Да я это, я! Леха! Своих не узнаешь?

— Леха... — недовольно повторили за дверью. — Знаем мы таких Лех... А ну заругайся!

— Чего? — не понял тот.

— Заругайся, говорю!

— Да иди ты!.. — рассвирепев, заорал Алексей. — Котелок ты клепаный! К нему как к человеку пришли, а он!..

Леха плюнул, вскинул на плечо ледобур и хотел уже было сбежать с крыльца, как вдруг за дверью загремел засов и голос Петра проговорил торопливо:

— Слышь... Я сейчас дверь приотворю, а ты давай входи, только по-быстрому...

Дверь действительно приоткрылась, из щели высунулась ру-

ка и, ухватив Алексея за плечо, втащила в отдающую перегаром темноту. Снова загремел засов.

— Чего это ты? — пораженно спросил Леха. — Запил и ворота запер?.. А баба где?

— Баба?.. — В темноте посопели. — На хутор ушла... К матери...

— А-а... — понимающе протянул мало что понявший Леха. — А я вот мимо шел, дай, думаю, зайду... Веришь, за пять лет вторая рыбалка такая... Ну не берет ни на что, и все тут...

— Ночевать хочешь? — сообразительный в любом состоянии, спросил Петро.

— Да как... — Леха смутился. — Вижу: к поезду не успеваю, а на станции утра ждать — тоже, сам понимаешь...

— Ну заходи... — как-то не по-доброму радостно разрешил Петро и, хрустнув в темноте ревматическими суставами, плоско-стопо протопал в хату. Леха двинулся за ним и тут же лобызнулся с косяком — аж зубы лязгнули.

— Да что ж у тебя так темно-то?!

Действительно, в доме вместо полагающихся вечерних сумерек стояла та же кромешная чернота, что и в сенях.

— Сейчас-сейчас... — бормотал где-то неподалеку Петро. — Свечку запалим, осветлей будет...

— Провода оборвало? — заинтересовался Леха, скидывая наугад рюкзак и ледобур. — Так вроде ветра не было...

Вместо ответа Петро чиркнул спичкой и затеплил свечу. Масляно-желтый огонек задышал, подрост и явил хозяина хаты во всей его красе. Коренастый угрюмый Петро и при дневном-то освещении выглядел диковато, а уж теперь, при свечке, он и во все напоминал небритого и озабоченного упыря.

Леха стянул мокрую шапку и огляделся. Разгром в хате был ужасающий. Окно завешено байковым одеялом, в углу — толстая, как виселица, рукоять знаменитого черпака, которым Петро всю зиму греб мотыль на продажу. Видимо, баба ушла на хутор к матери не сегодня и не вчера...

Размотав бечевки, Леха снял с валенок целлофановые пакеты, а сами валенки определил вместе с шапкой к печке — сушиться. Туда же отправил и ватник. Хозяин тем временем слезил под стол и извлек оттуда две трехлитровые банки: одну — с огурцами, другую — известно с чем. Та, что известно с чем, была уже опорожнена на четверть.

— Спятил? — сказал Леха. — Куда столько? Стоканчик приму для сугреву и все, и прилягу...

— Приляжь-приляжь... — ухмыляясь, бормотал Петро. — Где приляжешь, там и вскочишь... А то что ж я: все один да один...

«Горячка у него, что ли?» — с неудовольствием подумал Леха и, подхватив с пола рюкзак, отнес в сени, на холод. Возвращаясь, машинально щелкнул выключателем.

Вспыхнуло электричество.

— Потуши! — испуганно закричал Петро. Белки его дико выкаченных глаз были подернуты кровавыми прожилками.

Леха опешил и выключил, спорить не стал. Какая ему, в конце концов, разница! Ночевать пустили — и ладно...

— Ишь, раздухарился... — бормотал Петро, наполняя всклень два некрупных граненых стаканчика. — Светом щелкает...

Решив ничему больше не удивляться, Алексей подсел к столу и выловил ложкой огурец.

— Давай, Леха, — с неожиданным надрывом сказал хозяин. Глаза — неподвижные, в зрачках — по свечке. — Дерябнем для храбрости...

Почему для храбрости, Леха не уразумел. Дерябиули. Первач был убойной силы. Пока Алексей давился огурцом, Петро успел разлить по второй. В ответ на протестующее мычание гостя сказал, насупившись:

— Ничего-ничего... Сейчас сало принесу...

Привстал с табуретки и снова сел, хрустнув суставами особенно громко.

— Идет... — плачуще проговорил он. — Ну точно, идет... углядел-таки... Надо тебе было включать!..

— Кто?

Петро не ответил, слушал, что происходит снаружи.

— На крыльцо подымается... — сообщил он хриплым шепотом, и в этот миг в сенях осторожно стукнула щеколда.

— Открыть?

Петро вздрогнул. Мерцающая дробинка пота сорвалась струйкой по виску и увязла в щетине.

— Я те открою!.. — придушенно пригрозил он.

Кто-то потоптался на крыльце, еще раз потрогал щеколду, потом сошел вниз и сделал несколько шагов по хрупкому, подмерзшему к ночи снегу. Остановился у завешенного одеялом окна.

— Отда-ай мою поса-адочную но-огу-у!.. — раздался откуда-то из-под земли низкий, с подвыванием голос.

Леха подскочил, свалил стаканчик, едва не опрокинул свечку.

— Что это?!

Петро молчал, бессмысленно уставясь на растекшуюся по клеенке жидкость. Губы его беззвучно шевелились.

— Чего льешь-то!.. — мрачно выговорил он наконец. — Добро переводишь...

— Отда-ай мою поса-адочную но-огу-у!.. — еще жутче про-
выло из пещки.

Леха слетел с табурета и схватил ледобур.

— Да сиди ты!.. — буркнул Петро, снова снимая пластмассо-
вую крышку с трехлитровой банки. — Ничего он нам не сделает...
Прав не имеет, понял!.. Так, полугает чуток...

Ничего не понимающий Леха вернулся было к столу и тут же
шарахнулся вновь, потому что одеяло на окне всколыхнулось.

— Сейчас сбросит!.. — с содроганием предупредил Петро.
Лехин стаканчик он наполнил, однако, не пролив ни капли.

Серое байковое одеяло с треугольными подпаланинами от уют-
га вздувалось, ходило ходуном и наконец сорвалось, повисло на
одном гвозде. Лунный свет отчеркнул вертикальные части рамы.
Двор за окном лежал утопленный наполовину в густую тень, из
которой торчал остов теплицы с шевелящимися обрывками поли-
этилена.

Затем с той стороны над подоконником всплыла треугольная
зеленоватая голова на тонкой шее. Алексей ахнул. Выпуклые, как
мыльные пузыри, глаза мерцали холодным лунным светом. Две
лягушачьи лапы бесшумно зашарили по стеклу.

— Кто это? — вытершил Леха, заслоняясь от видения ледо-
буром.

— Кто-кто!.. — недовольно сказал Петро. — Инопланетяни!..

— Кто-о?!

— Инопланетян, — повторил Петро еще суровее. — Газет, что
ли, не читаешь?

— Слушай, а чего ему надо? — еле выговорил насмерть пе-
репуганный Леха.

— Отда-ай мою поса-адочную но-огу-у!.. — простонало уже
где-то на чердаке.

Петра передернуло.

— Под покойника, сволочь, работает, — пожаловался он. —
Знает, чем достать!.. Я ж их, покойников, с детства боюсь!.. —
взболтнул щетинистыми щеками и повернулся к Лехе. — Да ты
садись, чего стоять-то?.. Брось ледобур! Брось, говорю!.. Я вон
тоже сначала с дрыном сидел!.. — И Петро кивнул на рукоятку
черпака в углу.

Во дворе трепыхались посеребренные луной обрывки поли-
этилена. Инопланетянина видно не было. Леха бочком подобрался
к табуретке и присел, прислонив ледобур к столу. Оглушив зал-
пом стаканчик и, вздрогнув, оглянулся на окно.

— Ты, главное, не бойся, — силло поучал Петро. — В дом
он не войдет, не положено!.. Я это уже на третий день понял!..

— Отдай! — внятно и почти без подвывания потребовал голос.

— Не брал я твою ногу! — заорал Петро в потолок. — Вот привязался, лупоглазый!.. — в сердцах сказал он Лехе. — Уперся, как баран рогом: отдай да отдай...

— А что за нога-то? — шепотом спросил Леха.

— Да подпорку у него кто-то с летающей тарелки свинтил, — нехотя пояснил Петро. — А я как раз мимо проходил — так он, видеть, на меня подумал...

— Отдай-й-й!.. — задрезжало в стеклах.

— Ишь как по-нашему чешет!.. — оторопело заметил Леха.

— Научился... — сквозь зубы отвечал ему Петро. — За две-то недели! Только вот матом пока не может — не получается... Давай-ка еще... для храбрости...

— Не отдашь? — с угрозой спросил голос.

Петро заерзал.

— Сейчас кантовать начнет, — не совсем понятно предупредил он. — Ты только это... Ты не двигайся... Это все так — видимость одна... — И, подозрительно поглядев на Леху, переставил со стола на пол наиболее ценную из банок.

Дом крикнул, шевельнулся на фундаменте и вдруг с треском накренился, явно приподнимаемый за угол. Вытаращив глаза, Леха ухватился обеими руками за края столешницы.

На минуту пол замер в крутом наклоне, и было совершенно непонятно, как это они вместе со столом, табуретками, банками, ледобуром и прочим до сих пор не въехали в оказавшуюся под ними печь.

— А потом еще на трубу поставит, — нервно предрек Петро, и действительно после короткой паузы хата вновь заскрипела и опрокинулась окончательно. Теперь они сидели вниз головами, пол стал потолком, и пламя свечи тянулось книзу.

— Отда-ай мою поса-адочную но-огу-у!.. — проревело чуть ли не над ухом.

— Не вскакивай, слышь! — торопливо говорил Петро. — Это он не хату, это он у нас в голове что-то поворачивает... Ты, главное, сиди... Вскочишь — убьешься...

— Долго еще? — прохрипел Леха. Ему было дурно, желудок подступал к горлу.

— А-а!.. — сказал Петро. — Не нравится? Погоди, он еще сейчас кувыркать начнет...

Леха даже не успел ужаснуться услышанному. Хата кувыркнулась раз, другой... Третьего раза Леха не запомнил.

Очнулся, когда все уже кончилось. Еле разжал пальцы, вы-

пуская столешницу. Петро сидел напротив — бледный, со слезой в страдальчески раскрытых глазах.

— Главное — что? — обесмысленно проговорил он. — Главное — не верит, гад!.. Обидно, Леха...

Шмыгнул носом и полез под стол. — за банкой. В окне мазило зеленое рыльце инопланетянина. Радужные, похожие на мыльные пузыри глаза с надеждой всматривались в полумрак хаты.

— А ты ее точно не брал? Ну, могу эту...

Петро засопел.

— Хочешь, перекрещусь? — спросил он и перекрестился.

— Ну так объясни ему...

— Объясни, — сказал Петро.

Леха оглянулся. За окном опять никого не было. Где-то у крыльца еле слышно похрустывал ломкий снежок.

— Слышь, друг... — жалобно позвал Леха. — Ошибка вышла. Зря ты на него думаешь... Не брал он у тебя ничего...

— Отда-ай мою поса-адочную но-огу-у!.. — простонало из сеней.

— Понял? — сказал Петро. — Лягва лупоглазая!..

— Так, может, милицию вызвать?

— Милицию?! — Вскинувшись, Петро выкатил на Леху налитые кровью глаза. — А аппарат? А снасти куда? Что ж мне теперь все хозяйство вывозить?.. Милицию...

Алексей хмыкнул и задумался.

— Уркан убег... — с горечью проговорил Петро, раскачиваясь в тоске на табуретке. — Цепь порвал и убег... Все бросили, один сижу...

— Ты погоди... — с сочувствием глядя на него, сказал Леха. — Ты не отчаивайся... Чтонибудь придумаем. Разумное же существо, должен понять...

— Не отдашь? — спросило снаружи разумное существо.

— Давай-ка еще примем, — побряхтев, сказал Петро. — Бог его знает, что он там надумал...

Приняли. Прислушались. Хата стояла прочно, снаружи — ни звука.

— Может, отвязался? — с надеждой шепнул Леха.

Петро решительно помотал небритыми щеками.

Некое едва уловимое журчание коснулось Лехино слуха. Ручей в начале марта? Ночью?.. Леха заморгал, и тут журчание резко усилило громкость — всклокотало, зашипело... Ошибки быть не могло: за домом, по дну глубокого оврага, подхватывая мусор и ворочая камни, с грохотом неслась неизвестно откуда взявшаяся вода. Вот она взбурлила с натугой, явно одолевая какую-то пре-

граду, и через минуту смесла ее с треском и звоном лопающейся проволоки.

— Мосток сорвало... — напряженно вслушиваясь, сказал Петро.

Светлый от луны двор внезапно зашевелился: поплыли щепки, досточки. Вода прибывала стремительно. От калитки к подоконнику прыгнула лунная дорожка. Затем уровень взлетел сразу метра на полтора, и окно на две трети оказалось под водой. Дом покряхтывал, порывался всплыть.

— Сейчас стекла выдавит, — привизгивая от страха, проговорил Алексей.

— Хрен там выдавит, — угрюмо отозвался Петро. — Было б чем выдавливать!.. Он меня уж и под землю вот так проваливал..

В пронизанной серебром воде плыла всякая дрянь: обломок жерди с обрывком полиэтилена, брезентовый рюкзачок, из которого выпорхнули вдруг одна за другой две красноперки...

— Да это ж мой рюкзак, — пораженно вымолявил Леха. — Да что ж он, гад, делает!..

Голос его пресекся: в окне, вытолкав рюкзачок за границу обзора, заколыхался сорванный потоком горбыльно-веревочный мосток и запутавшийся в нем бледный распухший утопленник, очень похожий на Петра.

— Тьфу, погань! — Настоящий Петро не выдержал и, отвернувшись, стал смотреть в печку.

— Окно бы завесить... — борясь с тошнотой, сказал Леха и, не получив ответа, встал. Подобрался к висящему на одном гвозде одеялу, протянул уже руку, но тут горбыльно-веревочную путаницу мотнуло течение, и Леха оказался с покойником лицом к лицу. Внезапно утопленник открыл страшные глаза и, криво разинув рот, изо всех сил ударил пухлым кулаком в стекло.

Леха так и не понял, кто же все-таки издал этот дикий вопль: утопленник за окном или он сам. Беспорядочно отмахиваясь, пролетел спиной вперед через всю хату и влипился в стену рядом с печкой.

...Сквозь целые и невредимые стекла светила луна. Потопа как не бывало. Бессмысленно уставясь на оплывающую свечку, горбился на табуретке небритый Петро. Нетвердым шагом Леха приблизился к столу и, чудом ничего не опрокинув, плеснул себе в стакан первача.

— А не знаешь, кто у него мог эту ногу самитить? — спросил он, обретя голос.

Петро долго молчал.

— Да любой мог! — буркнул он наконец. — Тут за оврагом

народ такой: чуть зевнешь... Вилы вон прямо со двора сперли, и Уркан не учуял...

— Ну, ни стыда ни совести у людей! — взорвался Леха. — Ведь главное: свинтил и спит себе спокойно! А тут за него...

Он замолчал и с опаской выглянул в окно. Зеленоватый маленький инопланетянин понуро стоял у раздетой на зиму теплицы. Видимо, обдумывал следующий ход.

— Чего он там? — хмуро спросил Петро.

— Стоит, — сообщил Леха. — Теперь к пленнице пошел... В дровах копается... Не понял Сарай, что ли, хочет поджечь?..

— Да иди ты! — испуганно сказал Петро и вмиг очутился рядом.

Инопланетянин с небольшой охапкой тонких чурочек шел на голенастых ножках к сараю. Свалил дрова под дверь и обернулся, просияв капельками глаз.

— Не отдашь?

— Запалит ведь! — ахнул Петро. — Как пить дать запалит!

Он метнулся в угол, где стояла чудовищная рукоятка черпака. Схватил, кинулся к двери, но на пути у него встал Леха.

— Ты чего? Сам же говорил: видимость!..

— А вдруг нет? — рявкнул Петро. — Дрова-то настоящие!

Тут со двора послышался треск пламени, быстро перешедший в рев. В хате затанцевали алые отсветы.

— Запалил... — с грохотом роняя рукоятку, выдохнул Петро. — Неужто взаправду, а? У меня ж там аппарат в сарае! И снасти, и все!..

Леха припал к стеклу.

— Черт его знает... — с сомнением молвил он. — Больно дружно взялось... Бензином вроде не поливал...

Часто дыша, Петро опустился на табуретку.

В пылающем сарае что-то оглушительно ахнуло. Крыша вспучилась. Лазоревый столб жара, насыщенный золотыми искрами, выбросило чуть ли не до луны.

— Фляга... — горестно тряся щеками, пробормотал Петро. — Может, вправду отдать?..

Леха вздрогнул и медленно повернулся к нему.

— Что?.. — еще не смея верить, спросил он. — Так это все-таки ты?..

Петро подскочил на табуретке.

— А пускай курятник не растопыривает! — злобно закричал он. — Иду — стоит! Прямо на краю поля стоит! Дверца открыта — и никого! А у меня сумка с инструментом! Так что ж я дурее паровоза?! Подлер сбоку чуркой, чтоб не падала, ну и...

— Погоди! — ошеломленно перебил Леха. — А как же ты...

В газетах же пишут: к ним подойти невозможно, к тарелкам этим! Страх на людей нападает!

— А думаешь, нет? — наливаясь кровью, заорал Петро. — Да я чуть не помер, пока отвинчивал!..

— Отда-ай мою поса-адочную ногу-у!.. — с тупым упорством завывал инопланетянин.

— Отдаст! — торопливо крикнул Леха. — Ты погоди, ты не делай пока ничего... Отдаст он!

— А чего это ты чужим добром швыряешься? — оцетинившись, спросил Петро.

— Ты что, совсем чокнулся? — в свою очередь заорал на него Леха. — Он же от тебя не отстанет! Тебя ж отсюда в дурдом отвезут!..

— И запросто!.. — вскрипнув, согласился Петро.

— Ну так отдай ты ему!..

Петро закричал. Щетинистое лицо его страдальчески искривилось.

— Жалко... Что ж я зазя столько мук принял!..

Леха онемел.

— А я? — страшным шепотом начал он, надвигаясь на попятившегося Петра. — Я их за что принимаю, гад ты ползучий!

— Ты чего? Ты чего? — отступая, вскрикивал Петро. — Я тебя что, силком сюда тащил?

— Показывай! — неистово выговорил Леха.

— Чего показывай? Чего показывай?

— Ногу показывай!..

То и дело оглядываясь, Петро протопал к разгромленной двуспальной кровати в углу и, заворотив перину у стены, извлек из-под нее матовую полтораметровую трубу с вкляющим полированным набалдашником.

— Только, слышь, в руки не дам, — предупредил он, глядя исподлобья. — Смотреть — смотри, а руками не лапай!

— Ну и на кой она тебе?

— Да ты что? — Петро даже обиделся. — Она ж раздвижная! Гля!

С изрядной ловкостью он насадил набалдашник поплотнее и, провернув его в три щелчка, раздвинул трубу вдвое. Потом вчетверо. Теперь посадочная нога перегораживала всю хату — от кровати до печки.

— На двенадцать метров вытягивается! — взалоб объяснял Петро. — И главное, легкая, зараза! И не гнетя! Приклепать черпак полтора на полтора — это ж сколько мотыля намыть можно! Семьдесят пять копеек коробок!..

Леха оглянулся. В окне суетился и мельтешил инопланетянин:

подскакивал, вытягивал шеенку, елозил по стеклу лягушачьими лапками.

— Какой мотыль? — закричал Леха. — Какой тебе мотыль? Да он тебя за неделю в гроб вколотит!

Увидев инопланетянина, Петро подхватился и, вжав голову в плечи, принялся торопливо приходить ногу в исходное состояние.

— Слушай, — сказал Леха. — А если так: ты ему отдаешь эту хреновину... Да нет, ты погоди, ты дослушай!.. А я тебе на заводе склепаю такую же! Из дюраля! Ну?

Петро замер, держа трубу, как младенца. Его раздирали сомнения.

— Гнутья будет, — выдался он наконец.

— Конечно, будет! — рявкнул Леха. — Зато тебя на голову никто ставить не будет, дурья твоя башка!

Петро медленно опустился на край кровати. Лицо отчаянное, труба — на коленях.

— До белой горячки ведь допьешься! — сказал Леха.

Петро замычал, раскачиваясь.

— Пропадешь! Один ведь остался! Баба ушла! Уркан — на что уж скотина тупая — и тот...

Петро поднял искаженное мукой лицо.

— А не врешь?

— Это насчет чего? — опешил Леха.

— Ну что склепаешь... из дюраля... такую же...

— Да вот чтоб мне провалиться!

Петро встал, хрустнув суставами, и тут же снова сел. Плечи его опали.

— Сейчас пойду дверь открою! — пригрозил Леха. — Будешь тогда не со мной, будешь тогда с ним разговаривать!

Петро зарычал, сорвался с места и, тяжело бухая ногами, устремился к двери. Открыл пинком и исчез в сенях. Громыкнул засов, скрипнули петли, и что-то с хрустом упало в ломкий подмерзший снег.

— На, подавись! Крохобор!

Снова лягнул засов, и Петро с безумными глазами возник на пороге. Пошатываясь, подошел к табуретке. Сел. Потом застонал и с маху треснул кулаком по столешнице. Банки, свечка, стаканчики — все подпрыгнуло. Скрипнув зубами, уронил голову на кулак.

Леха лихорадочно протирал стекло. В светлом от луны дворе маленький инопланетянин поднял посадочную ногу и, бережно обтерев ее лягушачьими лапками, понес мимо невредимого сарая к калитке. Открыв, обернулся. Луна просияла напоследок в похожих на мыльные пузыри глазах.

Калитка закрылась, звякнув ржавой щеколдой. Петро за столом оторвал тяжелый лоб от кулака, приподнял голову.

— Слышь... — с болью в голосе позвал он. — Только ты это... Смотри не обмани. Обещал склепать — склепай.. И чтобы раздвигалась... Чтобы на двенадцать метров...

ЭДУАРД ГЕВОРКЯН

ДО ЗИМЫ ЕЩЕ ПОЛГОДА

Памяти Л. КУРАНТИЛЯНА

Майские праздники я любил еще потому, что их много.

И затеял я между торжествами капитальную уборку квартиры. Вымыл окна, протер стекла насухо. Разгреб свалку на антресолях. В прихожей выросла мусорная гора из старых газет и журналов.

Всю эту трухлявую периодику хранила мать. У нее рука не поднималась выбросить бумагу. Мои попытки избавиться от бумажного хлама она решительно пресекала. И каждый раз долго, обстоятельно рассказывала, как во время войны из газет варила папье-маше, а из него делала портсигары, раскрашивала и продавала на черном рынке. Тем и кормились.

У меня на языке вертелись разнообразные шуточки насчет папье-маше, но, глянув в ее строгие глаза, шутки я проглатывал.

На праздники мать уехала к сестре в деревню погостить. Я же собрался с духом и решил ликвидировать старье бестрепетной рукой.

Конец шестидесятых — вот когда это было. О книгах в обмен на макулатуру еще не помышляли. Слухи о книжном буме накатывали мутными волнами, но доверия не вызывали — мало ли что там у них в столице чудят! Так что с книгами у меня была одна проблема — куда ставить?

Книжных полок катастрофически не хватало, приходилось изворачиваться, расставлять их так и этак, впахивать тома в межполочье. Во время одной из перестановок я придумал историю о книжнике, запутавшемся в своей библиотеке. Он собирал себе книги, собирал и насобирал огромную библиотеку. Решил навести в ней порядок, стал составлять каталог. И обнаружил сущую чертовщину: некоторые книги имелись в трех-четыре экземплярах, хотя он готов был поклясться, что не покупал ни одной, — баракло! Другие книги, о которых он помнил и все ждал свободного времени, может пенсии, чтобы припасть к ним и обчитаться вдо-сьть, пропали начисто! А ведь он в закрома свои никого, ни под

каким видом... Потом еще хуже — пошли книги на непонятных языках, какие-то альбомы с чудовищной мазней, ящики с дневниками саратовских гимназисток. В итоге библиофил слегка повреждается в уме, обливает книги керосином и... Эту историю он рассказывает в дурдоме тихому психу. В ответ тихий берет его за кадык и душит, приговаривая, что именно его библиофил и спалил, потому что он и есть дневник саратовской гимназистки.

Вот такую историю придумал я тогда. Ребятам в кафе понравилось.

Старые газеты и журналы с ободранными обложками я вынес во двор и сложил у общественного мангала — для шашлыка бумага, естественно, не годится, но на растопку — вполне.

Некоторые из газет были времен доисторических. Я отложил в сторону несколько ветхих листов. Покажу на работе сослуживцам. А портрет усатого главнокомандующего подарю завлабу — он все еще вздыхает по временам крутым и, как он уверяет, простым.

Одна из стопок развалилась прямо на лестнице. Газеты, журналы, старые, аккуратно сложенные афиши с шелестом сползли по деревянным ступенькам.

Я постоял над безобразной грудой, вздохнул и сел. Газету к газете, журнал к журналу... Из-под бумаг вывалился небольшой толстый пакет, завернутый в афишу и перевязанный лохматой бечевкой. Взвесив в руке пакет, я почему-то оглянулся на соседскую дверь. Деньги не деньги, но мать вполне могла сунуть в хлам облигации и забыть. Один мой знакомый потихоньку скупает за четверть цены старые облигации. Крепкий мужик, надеется дожить до выплаты и сорвать куш.

Он действительно доживает. И несколько чемоданов, битком набитых облигациями, благополучно обменяет на денежные знаки. И никакой морали из этой истории не извлечь, потому что она не выдумана. Он будет жить долго и весело, умерев, оставит детям дом, машину и немало тысяч на сберкнижке. С детьми, правда, выйдет плохо, но это уже другое.

В пакете облигаций не оказалось. Старый перекидной календарь, глубоко довоенный. Пожелтевшие листки чуть не рассыпались в руках. Под большими черными датами выцветшими фиолетовыми чернилами колонки мелких чисел. Мать пишет размашисто, это не ее рука.

Я хотел высыпать листки в общую кучу, но вдруг вспомнил: мне пять или шесть лет, бабушка сидит у подоконника, смотрит на большой термометр за окном и записывает что-то в календарь. Термометр исчез во время войны. Окна заклеили крест-накрест. Вскоре исчезла и бабушка, после того, как на отца пришла похо-

ронка. Мать об этом рассказывала скупно. Я так понял, что бабушка с горя немного повредила, стала говорить лишнее и пропала. Не то пошла искать могилу сына, не то просто так...

Вот и все, что от нее осталось: колонки чисел — ежедневная температура за несколько лет.

Мать, по-моему, с ней не очень ладила. Немногий оставшийся после нее скерб она раздарила родственникам. Был у бабушки сундук, окованный черным металлом с множеством гвоздей-защелок. Когда его выносили, я вцепился в него с ревом как клещ. Еще бы, это был не просто сундук, а танк — самолет — корабль, в зависимости от того, куда пристроить кочергу и обрезок водопроводной трубы. Потом сундук часто фигурировал в страшных историях, которые я рассказывал на чердаке ребятам с нашего двора.

Кажется, в сундуке были книги, но они тогда меня не интересовали. Единственно стоящая книга для меня тогда была «Айболит» — одно из первых изданий, где Бармалей изображен негром.

Подержав в руке календарь, я подумал немного и не стал выбрасывать. Если матушка расшумится из-за бумаг, покажу ей календарь и про сундук напомним. И как грубо она меня от него отдирала... Вот ведь чепуха какая — до сих пор не могу забыть обиды. Смешно.

И тут я придумал историю о мальчишке, у которого в детстве отобрали единственную забаву — сундук. Мальчик рос и вырос, но сундук для него оставался символом убежища. Он становится большим человеком, чуть ли не министром, у него семья, дети, но и маленькая тайна. В одной из комнат его огромной квартиры спрятан сундук. Когда ему плохо и он не уверен в себе, он приходит сюда, запирается, влезает в сундук и долго лежит в нем тихо, как мышка, блаженно улыбаясь. А еще лучше так — некий злодей, достигший большого чина, время от времени женится на молодых девушках, а они таинственно исчезают. Этакий Синяя борода местного значения! Вот одна из жен преступает запрет, входит в тайную комнату, а там сундук, набитый... Естественно, она заявляет куда следует, и тут такое начинается!..

Закончив переноску бумаг, я удовлетворенно вздохнул, расправил плечи и победно оглядел двор.

Наш старый трехэтажный дом стоит в самом центре города, зажатый гаражами и окруженный немногими оставшимися развальноухами, в которых и жить уже невозможно, а живут, терпят и ждут, когда им дадут квартиры, а городские власти жмутся, потому что на каждом метре прописано по пять душ и на каждый

кособокий домишко, подпертый бревном, надо строить многоэтажный дом.

Двор узкий. Чтоб разворачивать свою машину, отец Аршака соорудил из деревянных брусьев небольшой поворотный круг. Радости детворе было выше ушей — встанешь на круг, оттолкнешься ногой — скрип, треск, удовольствие... Машина въезжала на круг, затем набегала мелюзга, дружно разворачивала ее в сторону гаража. Иначе невозможно было в него попасть.

Сейчас круг не вращается, все забито землей, песком, мусором. После того как отец Аршака вернулся домой, машину продал и за руль никогда не садился. Круг просится в историю, но о нем выдумывать ничего не хочется.

Сто лет простоял наш каменный, черного туфа дом и еще сто лет простоят, если не угодит под тяжелую руку генплана. Потолки у нас под четыре метра, хоть второй этаж в каждой комнате надстраивай. В коридоре можно бегать наперегонки. Но горячую воду только в прошлом году провели, а канализация раз в месяц как по расписанию засоряется и фонтанирует на первом этаже. У нас, слава богу, второй.

Если идти мимо гаражей через подворотни, через минуту можно выйти к музыкальному магазину, напротив большой интуристовской гостиницы. Иногда шельные туристы забредают в наш лабиринт переулков и грязненьких двориков, восхищенно ахают на деревянные веранды с резными перилами, на переплетения крыш и балконов, на живописно развешанное многоцветное белье, по колориту не уступающее неаполитанскому городскому пейзажу. Экзотика...

Над нами живут Парседановы, они давно мечтают выбраться из экзотики в дом со всеми удобствами, желательны новый. Барсеяны, что напротив, тоже, перманентно ворчат — полы прогнили, трубы ржавые и поют, самим отремонтировать — денег не напаешься, а домоуправление не чешется...

А мне нравится. Центр. До всего близко. Ко всему — на двоих три комнаты. К нам долго подкатывались, пугали подселением, предлагали фантастически выгодные обмены, но когда мать задумывалась над вариантами, я упирался. И наоборот.

Пыль и бумажная труха легли в прихожей на мокрые половички грязными полосами. Пришлось заново протирать.

В горле запершило. Между тем в холодильнике со вчерашнего дня своего часа дожидалось чешское пиво.

Час настал! Пробка слабо пшикнула, я слегка встряхнул мгновенно запотевшую бутылку — из горлышка выполз белый плотный столбик пены.

Я прихлебывал из стакана и осторожно перелистывал странички старого календаря. Погода меня не интересовала, я знакомился с днями рождений и юбилеями лиц, фамилии которых мне почти ничего не говорили. Наконец я добрался до майских записей. Мое внимание привлекла запись под сегодняшним числом. Рядом с «плюс восемнадцать» мелким аккуратным почерком было выведено «выпадет снег». Восклицательный знак и жирная черта, обводящая запись.

Допив пиво, я быстро пролистал весь календарь, но ничего похожего не обнаружил. Что-то напутала бабуля, решил я, снег в мае — почему бы и нет, хотя в наших краях такого не припомню. Но она написала «выпадет», а не «выпал»! Странно. Возможно, описка. Когда же это было? Раз... два... еще шесть записей, вычтем из общего числа, прибавим к дате на календаре. Вроде бы в год моего рождения. Минуту или две я размышлял над этим фактом, потом полез в холодильник за второй бутылкой.

И придумал я историю про майский снегопад. Вот живет себе герой и никого не трогает. Смотрит раз в окно, а там снег идет, дети на санках катаются, снежную бабу лепят. Кто-то елку по снегу волочит. Герой не верит своим глазам, на календаре май, а тут такие погоды! Он бегом во двор — ничего подобного: теплень, пыльный ветер кругами по городу ходит, все почти в летнем. Он обратно к себе — за окном снег, хоть ты тресни! Ну разумеется, экспериментум круцис — распахивает окно!.. А там и в самом деле снег, зима... Герой с опаской захлопывает окно, долго и нудно размышляет, и в голову ему лезет всякая ерунда — сдвиги во времени, параллельные миры и прочая фантастическая дребедень. Наконец, он не выдерживает и, высадив окно, сигает вниз. Ну, первый, правда, высокий этаж, ничего страшного. Вот он стоит на снегу, а это вроде и не снег вовсе, вата какая-то под ногами упругая. И улица... Прохожие в шубах, дети на санках и даже большая черная легковая автомашинка — все ненастоящее. Картом раскрашенный. В руках у каралуза воздушный шарик тоже из бумаги. Дотрагиваюсь до него — шарик вдруг взмывает в небеса, унося с собой картонную руку малыша...

Вздрагиваю и просыпаюсь. С третьей бутылки я задремал.

В этот день пива я больше не пил.

А на следующий день, как и все обитатели дома, тупо удивлялся снегу, выпавшему в последний месяц весны.



— В високосный год и от погоды можно всего ожидать, но снег в мае — это, знаете ли, слишком!

Голос сверху принадлежал Елене Тиграновне, жене доцента Парсаданова.

— Э, бывает, — отозвался доцент.

Вниз полетел окуроч.

С Парсадановыми у меня сложные отношения. Елена Тиграновна, женщина с тонкой нервной системой, меня терпела, поскольку мать помогала ей кроить. Но моего подопечного Аршака она не переваривала совершенно. Стоило ему включить магнитофон, как она принималась стучать себе в пол, а Барсегянам в потолок. Аршак выкручивал звук на своей «Комете» до предела. Тогда в качестве ответного удара она сбрасывала весь имеющийся тоннаж — своего мужа. Доцент возникал в шлепанцах, но при галстукке. Подмигивал Аршаку, а затем, выключив музыку, они заходили ко мне, а у меня всегда в запасе было пиво. Через час-полтора доцент возвращался к себе, а жена его пребывала в уверенности, что он ведет воспитательные беседы.

Снег лежал ровно, плотным слоем покрыв двор. Но воздух не был холодным. Завтра все это неуместно белое великолепие растает и грязью потечет по двору.

Только я успел сварить кофе, как пришел Аршак. Сварил и ему. В банке оставалось на самом доньшке. Я показал ему банку, он кивнул, вылизал гушу и вышел. «И сахару заводно купи!» — крикнул я вслед.

Надо бы с ним поговорить все сказать. Сегодня, обязательно сегодня. Или в крайнем случае завтра...

Его шаги были слышны с лестничной клетки, потом хлопнула подъездная дверь. Домесся слабый свист, но уже из окна. Чему он удивился, снегу?

Аршака трудно чем-либо удивить. Помню его маленьким. Серьезный и невозмутимый ребенок. Мало спрашивал, много слушал. Единственный ребенок Барсегянов. Баловали его чуть-чуть, в меру. Его отец был таксистом. Случайно сбил женщину, испугался и, вместо того чтобы помочь, попытался скрыться. Ну и получил восемь лет.

Мать Аршака все эти годы тянула семью и вытянула. К возвращению отца Аршак уже заканчивал школу. Мать его по вечерам подрабатывала шитьем. Дома Аршаку было скучно, он частенько забегал к нам. В шестом классе я немного занимался с ним немецким. После этого он стал пастись у моих книжных полок. Цапнет наугад, сядет прямо на ковер и читает. Вижу — мало что понимает, но ничего не спрашивает. Вопросы он начал задавать в восьмом классе, странные вопросы, скорее, полуутверждения.

«А что, — спросил он как-то, — Блок — дурак?» Я возмутился и обиделся за Сан Саныча, но Аршак невозмутимо ткнул

в страницу пальцем. «Вот тут он пишет, что Пушкин — веселое имя...» «Ну и что!» — вспылил я и обрушил на него словеса.

Тогда-то я и стал к нему присматриваться. Присмотрелся и обнаружил, что соседский «несчастный ребенок», как любила приговаривать моя мать, накладывая ему в тарелку чудовищные порции баранины с овощами, исчез, а на его месте возник юноша отнюдь не бледный, но со взором вполне горящим. И в огне своих сомнений он готов был смечь полмира, а если и понадобится, то весь. Сей отрок, вместо того чтобы преклониться перед моей премудростью и содрогнуться мощи подпирающих меня книжных полок, дерзит вякать и вякает толково.

И я... принял его всерьез. Разница в годах была солидной, почти пятнадцать лет. Некоторое снисхождение к нему мешало возникновению дружбы. Было покровительство, было соответствующее уважение, но была ли дружба? Не знаю, не помню...

Впрочем, может ли быть дружба между учителем и учеником?

Вопросами о природе дружбы я не задавался. Общаться с ним было весело и полезно. На веру он ничего не принимая, сомневался во всем и во всех, и если мне удавалось его в чем-либо убедить, то уже не сомневался, что на этот предмет переспорю любого. А спорить мы, завсегдатаи, или, как иной раз себя называли, завсегдатели, места, именуемого копеечкой, любили до зубовного скрежета.

Когда-нибудь у копеечки созреет свой летописец и обессмертит человека-годы, проговоренные здесь в блестящем фейерверке эскапад и филиппик, проповедей и апологий...

Кофе, кофе и еще раз кофе, а к нему стакан холодной воды — прекрасные вкусовые ощущения, но — бедные зубы! — и разговоры до утра.

Ах, сколько судеб было проговорено там, сколько приговоров вершилось в зеленом шатре, увитом пресмыкающейся растительностью! Снобы звали место нашего обретения ротондой, а циники — кратким синонимом к слову «задница». Именовали оправданно, к копеечке примыкало такое же симметричное полуокружие ресторанной площадки, куда нам было не по средствам, а когда по средствам, то скучно.

Говорили, говорили! Да что мы — языки развязались не только у нашего поколения, но именно наше со вкусом заболтало все свои лучшие годы.

Мы сладко и славно спорили об экзистенциализме, высчитывали пророков («Кafka пророк, и Джойс пророк, а Пруст, пожалуй, гений, но не пророк»), открывали для себя сюрреализм («О, Дали!»), присматривались к Вознесенскому, а в это время кто-то трезво оценил, что почем, и, стиснув зубы, лез вперед и

вверх, вписывался в структуру, заводил связи. Мы спохватились позже. Ну и ладно...

Это уже тема не для моих историй, а для истории. Пусть летописец пишет!

Аршак вернулся с сахаром и кофе.

— Пошли во двор, — сказал он, непонятно улыбаясь.

— С какой стати? — удивился я, доставая кофемолку.

Что означала его улыбка? Может, она уже говорила с ним?

— Пошли, пошли, — улыбаясь, он взял меня за рукав.

«Вот выйдем во двор, а там стоит она, и он уже с ней обо всем говорил, а мне не надо ничего объяснять», — подумал я и поразился спокойствию этой мысли.

У двери долго примеривался, что взять — куртку или плащ.

— Там тепло, — прервал мои раздумья Аршак.

Мы вышли из подъезда. Аршак прошел вперед, а я за ним по мягко пружинящему снегу, недоумевая, куда это он меня ведет. Одно ясно, во дворе ее не было. Да и с чего я взял, что она должна быть здесь?

Сделав несколько шагов, он остановился, повернулся ко мне и с жадным интересом уставился под ноги.

— Ага, то же самое!

Я оглянулся. Никого. Посмотрел себе под ноги, затем на следы... Следов не было!

То есть что-то было, но не следы. Вот я вышел из подъезда и пошел. Должны были отпечататься рубчатые подошвы польских микропорок, однако вместо них виднелись крестообразные отпечатки. Я поднял ногу — действительно, хилый ромб, похожий на крест. Осмотрел подошву — обыкновенная микропорка.

Аршак в это время сосредоточенно взирал на свои отпечатки. На снегу четко виднелась русская буква «А». Он тронул ее пальцем и шепотом сказал:

— По-моему, это не снег!

Оглядев двор, нелепо белый в это майское утро, я заметил, что снег нетронут и свеж. Обыкновенный снег — я помял его в ладони — холодный и хрустящий, только почему-то не тает. Можно, впрочем, слепить снежок, что я и сделал, запустив его потом в стену котельной. Снежок прилип.

Во двор вышла Елена Тиграновна и, небрежно кивнув мне, прошла мимо, проигнорировав Аршака. Мы уставились в ее следы. Непонятно.

Вглядевшись, я ахнул: она оставляла после себя нотную запись!

Аршак присел и протяжно свистнул. Парсаданова возмущенно дернула плечом и обернулась. Заметила, как мы нависли над чем-

то, почуяла неладное и, проверив, не распахнулась ли сумочка, подошла к нам.

У Аршака быстрая реакция и три класса музыкального образования. Пока я и Елена Тиграновна смотрели друг на друга и на следы, он быстро срисовал их в записную книжку. Отпечатки не повторялись!

Елена Тиграновна вдруг встрепнулась, покраснела и со сдвинутым: «Ах вы, подлецы!» принялась затаптывать следы. Но на месте старых она оставляла новые. Тогда принялась орудовать сумкой.

Залыхавшись, она перебралась на каменный, чистый от снега бордюр. Протянула руку и грозно сказала:

— Отдай!

Аршак молча вырвал листки из блокнота. Она выхватила и, скомкав, сунула в карман. Внезапно вскрикнула и жалобно сказала:

— В детстве я мечтала играть на скрипке...

Аршак с большим сомнением оглядел ее дородную фигуру. Елена Тиграновна достала платок и вытерла глаза.

Потом, много дней спустя, как-то ночью то ли мне приснится, то ли от бессонницы сочинится история о звуках скрипки, которые донесутся сверху, от Парсадановых. Игра очень неумелая, но вдруг взрывается каскадом жутких звуков, скрипка словно разговаривает, рычит и стонет, слышны обрывки странной, пугающей мелодии.

Днем я осторожно спросил у доцента, кто у них играл, но доцент сердито огрызнулся, никто, мол, не играл и играть не мог! А еще через несколько дней я узнал, что Елена Тиграновна тихо ушла от доцента к какому-то молодому композитору и уехала после развода и нового брака, в Бейрут. Обитатели двора были поражены — бывшая мадам Парсаданова была лет на восемь старше мужа и, как судачили, очень боялась, что он уйдет к молодой. А тут — на тебе!

Но это будет потом, когда все или почти все жильцы забудут о снеге, а пока мы стоим во дворе и ждем, что будет дальше.

А дальше было вот что — из подъезда вышел завскладом Амаяк, которого звали просто Амо, и прошелся по снегу монетами достоинством в один рубль.

Елена Тиграновна истерично расхохоталась. Амаяк обнаружил, что ходит денежными знаками, имеющими хождение, и рассвирепел. Подскочил к нам и, цедя сквозь зубы неопределенные угрозы, стал допытываться, чьи эти шутки и с кем бы он мог по-мужски поговорить.

Пока Амо развивал тему мужского разговора, из подъезда

вышел самый скверный и склочный обыватель дома — отставной бухгалтер Могилян.

Весельчаки поговаривали, что из его анонимок можно составить библиотеку. Люди же тертые высказывались сдержаннее, намекая, что до войны этот мелкий сукин сын был наделен властью и, властью пользуясь, крови нацедил немало. Советовали не связываться, чтоб вони было поменьше.

Уйдя на пенсию, он удвоил активность. Писал на всех. В ряде моих историй он фигурировал как объект воздействия со стороны дисковой пилы, электропаяльника, бормашины и прочих забавных предметов.

Аршак хихикнул. Амо замолчал на полуслове, радостно хрюкнул и ткнул меня кулаком в бок.

Могилян оставлял прекрасные четкие следы собачьих лап.

— Бог шельму метит! — провозгласил Амо. — Какая, интересно знать, сука на меня в прошлом году кляuzu накатала, будто я товар налево пускаю?

Амо пускал налево товар, но жильцы дома вслух об этом при нем не говорили.

— Что же это делается! — вскрикнул кто-то рядом.

Я обернулся. Ануш, вздорная старуха с первого этажа, в страхе смотрела под ноги Могиляну.

«Все, — подумал я со злорадством, — Могиляну конец! Завтра весь город на него пальцем будет показывать, Ануш постарается».

Могилян долго смотрел себе под ноги, потом обвел нас расстрельным взглядом и метнулся в подъезд. Тут же возник снова, с ведром воды. Но это ему не помогло, от воды снег вспухал, а следы становились четче. Свинцовыми мутными глазами Могилян истребил нас вторично, обещающе сказал «ладно» и сгинул.

Завтра его дочь, несчастное затрушенное создание, расскажет, как он звонил во все инстанции по восходящей, а потом, не дождавшись немедленной кары злоумышленников, предпринял личный обход отделений милиции и других мест, на каком-то этапе своего похода овервел, стал набрасываться и был свезен в больницу.

Ну а пока Ануш мелко крестилась и вопила на весь двор неприятным фальцетом:

— Говорила я, что он собака, псом и оказался!

Быть теперь Могиляну Собакой с большой буквы. Жаль, что не я сочинил эту историю, такой финал!

Старуха засеменила к нам, потом замерла, нагнулась к своим следам. Я и Аршак подскочили к ней, за нами неторопливо последовал Амо.

Однако! Старуха вообще не оставляла следов!

Несколько раз она как заведенная поднимала ногу и с силой вдавливала в снег. Втуне! Следов не было.

Ануш в прострации уселась на свою кошелку и что-то забор-мотала, время от времени меланхолично сплевывая на снег.

Косяком пошли жильцы. Шум, крики, разговоры...

Меня и Аршака оттеснили к подъезду. Аршак покусывал губу и прислушивался к разговорам, иногда поглядывая на меня. Знакомый взгляд...

Так он всегда смотрел, когда запутывался в споре или строил очередное головоломное доказательство недоказуемого, ждал подсказки, опровержения, довода «за» или «против» — точки опоры или отпора, одним словом. Дождавшись, немедленно вспыхивал снова и извергал словеса, а в глазах облегчение — мысль сдвинулась с мертвой точки.

Впрочем, я уже давно был осторожен в словах, а тем более в советах. Когда он заканчивая десятый класс, его прочили на физмат. Математические способности и все такое... Однако во время очередного чаепития я элегантно разделал все естественные науки, доказав на пальцах, что физика, химия и иже с ними — суть лженауки, а математика — воистину порождение дьявола, ибо от него, лукавого, число, тогда как от бога — слово. Ну и отсюда как дважды два вывелось, что единственно достойное внимания — филология, только филология, и ничего, кроме филологии. Историков, юристов и прочих лжегуманитариев просили не беспокоиться.

Он слушал, огрызался, прошелся и по богу и по дьяволу, причем первому досталось больше, обвинил меня в мистицизме, а через неделю к нам зашла его мать, чрезвычайно расстроенная, и сказала, что Аршак подал документы на филфак, и не мог бы я немного его подтянуть по истории и языку.

Вот тут-то я и прикусил язык. Впервые в жизни слово мое имело последствие и продолжение в чужой судьбе так зримо и неопровержимо.

Я был смущен и растерян. Начнись разговор о дисциплинах гуманитарных — и их бы растер в два счета в прах — мало ли о чем можно со смаком трепаться! А тут вот как повернулось. С тех пор я был с ним осторожен в словах, но чем меньше я говорил, тем внимательнее он выслушивал меня.

Он поступил легко и с блеском. Учился хорошо, но небрежно, как, впрочем, и я в свое время. Ему очень, очень помогали мои книги, да и беседы пошли впрок. На третьем курсе пришел советовать — разрывался между поэзией двадцатых годов и математической лингвистикой, сильно тогда идущей в гору.

Я его разочаровал. Соглашался со всеми доводами, кивал, мычал, неопределенно покачивал головой, но ничего конкретного героически не сказал. А когда он упрекнул меня, то я заявил, что лучше сожалеть о несодеянном, чем ужасаться плодам трудов своих. Фраза ему понравилась, он спросил, откуда? Я не помнил точно и махнул рукой в сторону полок.

Аршак помотался-покрутился и написал курсовую по структурной поэтике.

Прошлой зимой... Да, в январе это было, перед его экзаменами. Он пришел не один. «Вот, кое-какие книжки надо посмотреть». — И Аршак вдруг стал непривычно суетен, наткнулся на стулья, и сразу же стало ясно, что он пришел не смотреть, а показывать.

Она поздоровалась, уважительно поцокала языком на полки и сходу попросила книгу, кажется, это был Леопарди. Я поднял бровь и вопросительно глянул на Аршака. У него странно блеснули глаза, и он сказал, что книги отсюда не выносятся. Потом отпустил одну или две шутки в мой адрес по этому поводу.

Я удивился — книги я давал читать многим, и часто бывал за это наказан, а взгляд мой означал лишь вопрос — не зачитает ли она книгу?

Они сидели у меня часа полтора, пили чай, кофе, читали. Аршак рассеянно листал страницы, время от времени смотрел на нее, тогда она, не поднимая головы, поправляла волосы.

Вечером Аршак забежал ко мне, долго извинялся за неожиданный визит, а потом попросил книг ей домой не давать, ну и ему для справедливости тоже. И объяснил, будто я не понял, в чем дело, что так удобнее — можно чаще встречаться. И если возможно, то здесь, а не у него. Он краснел, расшаркивался, извивался в словах, что ему было совсем не к лицу. «Во скрутило парня!» — подумал я тогда.

И тут же придумал историю о студенте, который влюбился в дочь декана. Чтобы совесть его была чиста, он решил скочернить будущего тестя с поста. А то, мол, подумают, что женится по расчету. Ну и накатал на него обстоятельную анонимку. А поскольку дело происходило в крутые предвоенные времена, то в день свадьбы замели не только тестя, но и всю семейку врага народа, и щепетильный студент заканчивал свое образование на Колыме.

Сессию они сдали хорошо, но продолжали ходить ко мне. Зима и весна расплзлись слякотью, а кому охота гулять в грязи и сырости? А у меня уют и благолепие — всегда хороший чай, вареньем чулан заставлен доверху, мать часто пекла, и если я был в духе, то выдавал историю за историю...

Я полулежал на диване, а они сидели на ковре, спина к спине. Говорили, спорили, время от времени я просил достать Аршака ту или иную книгу, дабы уместной цитатой утвердить свою правоту. Впрочем, он и сам маловчился выдергивать из текстов необходимые изречения.

В ее присутствии Аршак понемногу расхотелся, начинал болтать безудержно, позволял в мой адрес выпады и выкрики. И однажды, когда он прошелся по моей холостяцкой натуре, заявил, что я уже стар для любви и после двадцати лет говорить о любви глупо.

Она подняла на меня глаза...

Только на миг, но польхнуло в них: странный блеск, а потом мгновенное движение губ, всего на миг, не более.

Невысокая, стройная, волосы длинные, до пояса — я вдруг обнаружил, что с интересом ее рассматриваю. До сих пор всерьез не воспринимал. После этого понимающего взгляда всмотрелся и увидел, что Аршак может остаться на бобах. Не девочка, не студенточка беспечная, нет, и не обволакивающий уют Евы плещется в ней, а испепеляющий жар Лилит бьется в этом теле, и на какой-то миг он вспыхнул и отразился в глазах.

Книги книгами, но червем книжным я никогда не был и не смотрелся всякого. Времена хоть и были сдержанные, но отнюдь не аскетичные. И хоть я в свое время комплексовал из-за малого роста, впоследствии комплексы в себе истребил. И успешно.

Сказать, что я был тонким знатоком женщин и кропотливым исследователем их натуры, нельзя. Склад женского ума для меня вечная загадка, но в одном я научился разбираться — какого рода загадка передо мной. Классификация загадок, скажем так.

Тем не менее я долго держался и не вступал в их дела. Даже наоборот, несколько отстранился, ссылаясь на занятость. Тем более что из меня снова поперли истории и я припал к пишущей машинке. Полоса увлечения античностью и экзистенциализмом закончилась, начались времена библейские. Стихи, поэмки, рассказы, скорее анекдоты — все было прокручено в колеечке.

Пришла охота раскурочивать мифы, и я со вкусом взялся за их демонтаж. Библейские сюжеты удивительно склоняют к пошлости. Может, это реакция самозащиты от древней поэзии, которая поглотит слабый ум, утопит его в феерических образах, только дай слабинку...

Мы и не дали. Пошлости хватило. Мало того, струи здоровой пошлости просто фонтанировали в опусах колеечных литераторов. После Ветхого настал черед завета Нового. Впрочем, здесь трудно было изловчиться, вывернуться. Христа и Иуду до меня уже обрабатывали во всех видах. Один из поэтов колеечки, кажется Саак,

настрогал громоздкую поэму, в которой Иуда оказывался в итоге женщиной и сдавал Христа властям сугубо не почве ревности к Иоанну. Я тоже навывдумал историй. У меня Иуда, кажется, был чист, как лилия, а предавал себя сам Христос из-за того, что не поделили Магдалину. Резвился я очень. Саак заявил, что сюжет не нов, хотя учитель, предающий своего ученика, — это что-то свеженькое.

Аршаку мои истории нравились безоговорочно, хотя при ней он позволял себе критиковать стиль, пародировал даже.

Моя мать косилась на них, потом обнаружила, что нет вольности речей и рук, успокоилась. Однажды даже спросила меня, когда они поженятся, не надо ли поговорить с матерью Аршака, а кто ее родители и так далее...

Иногда Аршак приходил один и засиживался допоздна. По ночам его прорывало. Он рассуждал обо всем: о ней, о себе, о книгах и картинах, о музыке и философии... В эти полночные бдения мне казалось, что я слушаю самого себя. Порой всплывали отголоски моих суждений многолетней давности, аранжированные и переименованные, но не забытые. Он спорил с моими старыми тезисами, небрежно брошенные когда-то слова долго, оказывается, бродили в нем. Он шел моим путем, только быстрее, у меня не было поводыря.

Порой он застревал у меня до утра. Вставал раньше всех, варил кофе или кипятил молоко. Накрывал для нас стол: белая скатерть, белый хлеб, молоко, масло... Этюд в белых тонах.

Белый, как снег. Так вот, снег!

Следы на снегу множились. Когда все устали кричать, пенсионер Айказуни (кресты и полосы) предложил позвонить в органы, на что Амо нервно спросил: «А зачем?»

Жена Амаяка заявила, что это шпионаж. Все напряглись, но после легкого перекрестного допроса выяснили, что она оговорилась, имела в виду всего лишь диверсию. И винила в том химика, специалиста по пластмассам, который снимал у Айказуни комнату, а после анонимных акций Могиляна съехал, обиженный на весь дом. Айказуни поднатужился, но склероз был сильнее: он не помнил не только, куда делся химик, но и забыл даже, как его зовут.

— Он, точно он! — кричала в агонитаже жена Амо, — Посыпал химическим порошком...

На шум и крики вышел доцент Парсаданов. Он реагировал спокойно. Пригладил свою пышную шевелюру (после ухода жены он за неделю поседеет) и бодро заявил, что тут замешана рука

космических пришельцев. Если не с Марса, то наверняка с Юпитера или, на худой конец, из соседней галактики. Изучают нас.

Секунду или две все испуганно молчали, потом грянул сумасшедший хохот. Доцент смеялся громче всех. Однако со ступенек вниз не сошел, а на предложение пройтись по снегу покачал пальцем и заявил, что все это антинаучная ерунда, и он ей потрелять не намерен.

Елена Тиграновна фыркнула и пошла со двора. Через минуту она вернулась, сообщив, что снег лежит только у нас. Ни на улице, ни в соседнем дворе нет. Чисто и пусто.

Ошарашенное молчание. Тут Айказуни начал так и этак истолковывать следы, и страсти раскалились. Амо медленно и со значением принялся закатывать рукава.

Во двор вышел управдом Симонян и, тяжело ступая, прошелся по снегу. Следов необычных он не оставил — только нормальные отпечатки подошв. Кто-то за моей спиной вздохнул. У Симоняна были протезы, в самом начале войны он подорвался на mine.

Симонян молча выслушал всех, кряхтя, присел на скамейку. Нагнулся, сжал в кулаке горсть снега.

— Вот ведь чудеса, — оживленно говорил Айказуни прямо ему в ухо. — Каждый след по своему оставляет, прямо хоть сризовывай и на стенку вешай...

— Чудеса, говоришь? — переспросил Симонян, достал зажималку, оторвал от газеты, что торчала из кармана, кусок и, дождавшись, пока разгорится, осторожно положил в огонь снежный комок.

Снег не растаял, а с тихим шипением быстро испарился, исчез.

— Вот так! — наставительно сказал Симонян, оглядел всех и остановил взгляд на Амаеке.

— Понял! — вскричал Амо и бросился в подъезд.

Он возник на своем балконе и сбросил вниз сухие поленья, заготовленные для шашлыка. Тут же подтащили бумагу, вынесенную мною вчера.

— Зачем это? — растерянно спросил Аршак.

— Затем! — сухо отрезал Симонян.

— Надо разобраться...

— Пока разберемся, все перегрызутся. Неси коробку, наберем для ученых, — и добавил вполголоса непонятное: — Раз снег на головы наши пошел, значит, пустые времена настают.

Аршак ушел, а между тем жильцы растопили мангал и принялись дружно сбрасывать снег в огонь. Пламя не гасло и не разгоралось, словно снега и не было.

Рядом со мной стояла Елена Тиграновна и смотрела на огонь.

— Жалко, — негромко сказал я, она же равнодушно пожала плечами.

Признаться, мне не было жалко. И не страшно, и даже не обидно. Только безразлично. Какое же это чудо, если никто ничего не понимает, ничего ужасного или прекрасного не происходит и одни раздоры. Чудо должно пугать или радовать, но при этом оно сразу же должно заявить о себе: вот оно я — чудо! А здесь... ни с какого боку! Происходит что-то странное, и все. Как в одной из историй, когда закручено хорошо, а раскручивать некуда, все свилось в узел. По спине прошел неприятный холодок.

Вернулся Аршак с коробкой из-под обуви, набил снегом. Коробку Симонян отобрал, сказав, что сам отвезет, куда надо.

Снег быстро собрали и истребили. Аршак куда-то пропал, я заметил, что он некоторое время прохаживался вдоль стены котельной там, где прилип мой снежок.

Жизнь дома вошла в привычную колею. С небольшими отклонениями. Амаяк растерял свою наглость, стал тих и задумчив. Наверно, крупно проворовался, решили соседи, и ждет отсидки. Ануш сделалась необычайно скупа на слова, и это было подлинным чудом. Могилян сгинул. Елена Тиграновна... о ней уже говорил.

Симонян рассказал, что отвез коробку в какой-то институт, его там внимательно выслушали и обещали разобраться. С концами.

Аршак иногда пытается начать разговор о снеге, но я не поддерживаю. Он обижается, но совершенно напрасно. Единственная причина, из-за которой он мог на меня обидеться, ему пока неизвестна. Мне надо с ним поговорить, но я никак не решусь, вернее, не собарусь. Она считает — чем раньше, тем лучше, но на этот счет у меня свои соображения.

Он не может понять, почему у них расстроились отношения. Ни разу не видел нас вместе и ничего не подозревает.

Тот взгляд... Именно тогда я понял, что она ему не достанется и что, возможно, я еще не так стар в мои за тридцать лет.

Остальное было просто. Одно-два нечаянных слова, два-три ироничных взгляда после слов Аршака... Как только мы стали переглядываться — все, дело сделано! Она предала его взглядом, и у нас появились свои маленькие тайны и свое отношение друг к другу. К тому же преимущество моего возраста в простоте взглядов на предметы для него пока загадочные.

Я не усложнял того, что не следовало усложнять, и она была мне благодарна за это. Аршак проиграл, не зная, что идет игра.

Обыграть его не составило труда, вступи даже он в открытый рыцарский поединок за нее по всем правилам нашего не шибко рыцарского времени. Но и это была бы абсолютно безнадежная битва: его сила и слабость — отражение моих качеств, он был мной в иные времена и другие настроения.

Однажды меня посетила мысль и засела в голове надолго: «А ведь не только она, но и я предал его!» Хотя я и не понимал, в чем заключалось предательство, с этого дня я перестал с кем-либо делиться сомнениями, ну а она любила во мне уверенного, спокойного и несколько холодного мудреца, чуждого метаньям и треволнениям.

И с каждым днем я все больше и больше становился таким.

Она настаивает, чтобы я наконец поговорил с ее родителями. Я все откладываю и оттягиваю. Сначала, мол, надо поговорить с Аршаком. Может, я вызывал ее на ссору, вспышку, скандал? Не знаю. Что-то во мне перегорело. Однажды я увидел сон, в котором я умирал в большой пустынной квартире и никто не слышал моего стога, а книги молча и пусто смотрели на меня слепыми корешками...

Сон сном, но оставили бы меня в покое с моими книгами! Впрочем, по счетам надо платить. Правда, если счет велик, он превращается уже в проблему не для должника, а кредитора.

Недавно я зашел к Аршаку. Возможно, я начал бы разговор. Не ребенок, поймет. Мне сказали, что он в подвале. Я спустился вниз и застал его за странным занятием. Он сыпал кубики льда из формочек морозильника в большой старый карас, где мать его обычно держала квашеную капусту.

В карасе тихо потрескивал, вспухал и рос снег. Рядом стояла пустая бочка. Судя по всему, он собирался заполнить и ее.

Увидев меня, он смутился, начал хохмить, а потом рассказал, что задумал. И мне стало не по себе...

Он ждал зимы. На соседней улице есть маленький одноэтажный дом. Обыкновенный дом, небольшой, таких немало сохранилось по ереванским окраинам, да и в центре наберется. Несколько деревьев, кусты, от двери до калитки метров десять, узенькая тропинка... Думаю, она ему снится иногда.

Мне снится. Я хорошо знаю эту тропинку.

Я хочу тут же выложить ему все, а потом облить бензином снег и поджечь. Но станет ли ему легче, если он все узнает? Как нанести ему последний удар? В чем он виноват, неужели только в том, что назвал однажды меня при ней стариком и пробудил демона соперничества?

Молча треплю его по плечу и поднимаюсь вверх, домой.

Я растерян и смущен. Не замечаю даже странного выражения лица матери, открывшей мне дверь. Долго стою в прихожей, разглядывая себя в зеркале. Я кажусь себе постаревшим, обрюзгшим. Похож на фотографию отца — довоенное фото, тогда ему было около сорока. «Лучше бы я погиб на войне», — бормочу бессмысленные слова и иду в комнату.

В большой комнате у окна в моем кресле сидит старая, очень старая женщина в темном платье, с толстым посохом в руке. Она смотрит на меня, в складках морщинистого лица ярко блестят поразительно знакомые глаза.

— Вот, бабушка вернулась, — робко говорит за спиной мать.

Я даже не удивляюсь, воспринимая это как должное.

У меня в мыслях другое — вот он ждет зимы, чтобы ночью сгрести снег с тропинки у ее дома и накидать с оной снег. А утром придет засветло и будет ждать. Он не знает, что хоть до зимы еще осталось полгода, в сердцах она наступает раньше.

Он хочет знать, какие следы оставит она...

И это худшая из моих историй.

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВЕРВОЛКИ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА

На миг Саше показалось, что уж этот-то мятый ЗИЛ остановится — такая это была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного — с пьяной старческой наглостью звякая подвешанным у бензобака ведром, ЗИЛ протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок, издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом.

Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него. Существовало только два способа дальнейших действий — либо ждать попутку, либо возвращаться в деревню в трех километрах сзади. Насчет попутки вопрос, видимо, ясен — есть все-таки такие районы страны или отдельные дороги, где в силу принадлежности абсолютно всех водителей к тайному брат-

стау негодяев не только невозможно практиковать автостоп, наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге — километров пятнадцать, если идти прямо, — была, наверно, одним из таких заколдованных маршрутов. Из пяти проехавших мимо за последние сорок минут машин не остановилась ни одна, и если бы стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами не показала ему кукиш из заднего окна красной «Нивы», Саша мог бы решить, что стал невидим.

Саша поглядел на часы: — двадцать минут десятого. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, попал... Он посмотрел по сторонам — с обеих сторон за сотней метров пересеченной местности (микроскопические холмики, редкие кусты и слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото) начинался жидкий лес — нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще, растительность вокруг была странной — все чуть покрупнее мелких цветов и травы росло, казалось, с натугой, и хоть достигало нормальных размеров, как, например, цепь берез, с которой начинался лес, оставляло такое впечатление, будто выросло, испуганное чьими-то окриками, а не будь их, так и стлалось бы лишайником по земле. Неприятные места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу. Недаром из трех встреченных сегодня деревень только одна была более-менее правдоподобной — как раз последняя, Коньково, а остальные заброшены, и только в нескольких домиках кто-то доживал свой век; покинутые избы напоминали экспозицию этнографического музея, а не жилища.

Впрочем, Коньково, имевшее какую-то связь с придорожной надписью «Колхоз «Мичуринский», казалось нормальным поселением людей только в сравнении с глухим запустением соседних, уже безымянных деревень. Там работал приличный магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор. Людей на улицах не было — только прошла бабка в черном, мелко перекрестившаяся при виде Сашиней гаванской рубахи, покрытой разноцветными фрейдистскими символами, да еще проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руле — велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой. Остальные, наверно, сидели по домам.

Поездка в воображении представлялась иначе. Вот он ссаживается с речного теплоходика, доходит до деревни, где на завалинках — Саша не знал, что такое завалинка, и представлял ее себе в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой

стены — сидят и улыбаются выжившие из ума старухи, кругом растет подсолнух, а под его желтыми блюдцами мирно играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, какой-то бесконечный Тверской бульвар. Ну еще промычит где-то корова...

А что вышло? Сначала — тоскливая пустота в заброшенных деревьях, потом — такая же тоскливая обжитость в обитаемой. Ко всему еще врала и цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью, где упоминается деревня Коныково. Саша нашел точку, откуда был сделан понравившийся снимок, и удивился — до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же пейзаж.

Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам к бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм — в Москве он уже не шел. Купив у невидимой кассирши билет — говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала билет и отсчитала сдачу, — он попал в полупустой зал и отсучал в нем полтора часа.

Теперь было пройдено уже три километра, в дорогу успела втечь другая, и за все время ни одна из проехавших мимо машин даже не притормозила. А они шли все реже...

— Пойду назад, — вслух сказал Саша, обращаясь к ползущему по ноге не то паучку, не то муравью, — а то будем тут вместе ночевать.

Паучок оказался толковым насекомым и быстро слез. Саша встал, закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как он устроится ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и кашеи, а здесь был колхоз «Мичуринский» — понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но по-другому и без всякой надежды на ночлег. Единственный вариант: он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. И переночует на сиденьях без подлокотников. Надо будет встать с места, пока не включат свет, и спрятаться за портьерой — тогда его не заметит баба в самодельной синей униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм — но тут ничего не поделаешь...

Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут двадцать назад, ему показалось, что к дороге, по которой он шел, пристроилась другая, поменьше, и сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он сюда пришел — обе казались совершенно одинаковыми. Он попытался

вспомнить, с какой стороны появилась вторая дорога, и закрыл на несколько секунд глаза. Вроде бы справа — там еще росло большое дерево. Ага, вот дерево. Значит, идти надо по правой дороге. Перед деревом, кажется, старый такой серый столб. Где он? Вот он, только почему-то слева. А рядом — маленькое деревце. Не понятно...

Саше поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожий на грозящее небу огромное грабли, и пошел по левой дороге. Через двадцать шагов он остановился и поглядел назад — с поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных перьев заката, взлетела птица, которую он принял за облепленный многолетней грязью изолятор.



«Удивительно, — думал Саша, — какая ненаблюдательность». По дороге из Конькова он даже не заметил этой широкой просеки. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверно, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули.

— Эй, — закричал пьяный голос, — ты кто?

И еще несколько голосов заржали. Возле просеки мелькнули люди и бутылки — Саша не позволил себе обернуться и увидел их только краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонятся, но все-таки неприятно взволнованный.

— У, волчище! — прокричали сзади.

«Может, я не по той дороге иду?» — подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг. Нет, вроде по той. Длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую дубль-э, кажется поподалась.

Постепенно темнело, а идти еще порядочно. Саша обдумывал способы проникновения в клуб после начала сванса — начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой («Знаете, такая красная, с длинным козырьком...») и кончая спуском через широкую трубу на крыше, — если она, конечно, есть.

То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг стало синим и на небе прорезались первые звезды. У дороги появилась высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, а по дороге от Конькова никаких мачт не было. Саша уставился на жестяную табличку с подробно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся — поднимающийся по бокам дороги сумрачный лес смыкался сзади, как створки раковины. Идти назад означало встречу с ребятами, сидящими у дороги, а узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака, конечно, интересно, но не на-

столько, чтобы рисковать жизнью. Впереди было неизвестно что, но все-таки — если идет дорога по лесу, должна она куда-то вести? Саша задумался.

Гудение проводов над головой напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, решил Саша, то под этой мачтой — похоже на совершенно безопасный ночлег в городском подъезде.

Вдруг донесся рев — сначала он был еле слышен, а потом, полный вековой тоски, вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову — сверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник; пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно, и когда он скрылся, Саша знал, что пойдет вперед. Светила луна, и Саша увидел ее четкий белый серп. Поглядев немного на небо, он с удивлением отметил, что звезды разноцветные; раньше он никогда этого не замечал или успел про это позабыть.

Наконец, стемнело полностью и окончательно, то есть стало ясно, что темнее уже не будет. Стальная мачта осталась далеко позади, и теперь о существовании людей свидетельствовал только асфальт под ногами. Стало прохладно, Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и затянул все молнии: так он чувствовал себя в большей готовности ко всяким ночным неожиданностям. Заодно съел два плавленых сырка «Дружба» — фольга с этим словом, слабо блестящая в лунном свете, почему-то напомнила о вымпелах, которые человечество регулярно запускает в космос.

Прошел примерно час с тех пор, как он миновал мачту. Несколько раз до Саши доносилось гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко — наверно, по другим дорогам. Он вышел из леса, сделал метров пятьсот по полю; дорога нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, и сузилась. Стало темнее — полоса неба над головой тоже утончилась. Саше казалось, что он погружается в пропасть, и дорога не выведет его никуда, а, наоборот, заведет в глухую чащу и кончится посреди корявых дубов, шевелящих рукообразными ветвями, как в детском фильме ужасов.

Впереди опять возник шум мотора — теперь он был ближе. Сейчас выедет машина и подбросит его туда, где над головой электрическая лампа, по бокам — стены, и можно спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, а потом стихло — машина остановилась. Саша побежал вперед, но когда он опять услышал гудение мотора, оно донеслось издали — как будто машина, приближавшаяся к нему, вдруг беззвучно пере-

прыгнула на километр назад и теперь повторяла уже пройденный путь.

Саша наконец понял, что слышит другую машину, тоже идущую в его сторону, и задумался. Одна за другой две машины остановились посреди ночного леса. Он вспомнил, что и раньше гул машин приближался, нарастал, а потом обрывался. Но сейчас это показалось очень странным — две машины, одна за другой, остановились или были остановлены, как будто ухнули в глубокую яму посреди дороги. Что за дела?

Ночь подсказывала разные версии происходящего, и Саша на всякий случай подошел к обочине, чтобы быстрее нырнуть в лес, если потребуют обстоятельства. Теперь он шел крадущейся походкой, вглядываясь в темноту.

До поворота осталось немного, и тут Саша увидел на листьях слабый красноватый отблеск, одновременно донеслись голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила совсем рядом — он услышал хлопанье дверей. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего страшного. «Или как раз наоборот», — подумал вдруг он.

Решив, что в лесу пока безопасней, он сошел с дороги и, ощупывая темноту руками, добрался наконец до поворота. Спрятавшись за деревом, осторожно выглянул и чуть не засмеялся, настолько картина не соответствовала его страхам.

Большая поляна, с одной ее стороны в беспорядке штук шесть машин — «Волги», «Жигули» и даже одна иностранная, а освещалось все огромным костром в центре поляны. Вокруг стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались, смеялись и вели себя именно так, как любая большая компания у ночного костра, не хватало только магнитофона с севшими батарейками, натужно борющегося с тишиной.

Словно услышав Сашину мысль, один из стоящих у костра отошел к машине, открыл дверь, сунул туда руку, и заиграла довольно громкая музыка, правда, совершенно не подходящая для веселого пикника: будто были в отдалении хриплые мрачные трубы и гудел ветер в голых осенних стволах.

Приглядевшись, Саша заметил некоторые странности, причем странности, как бы подчеркнутые несурезностью музыки.

У костра стояла пара детей — вполне нормальных. Были ребята Сашинного возраста. Девушки. Но вот к высокому дереву прислонился пожилой милиционер, а с ним разговаривает мужчина в пиджаке и галстуке. У костра в одиночестве стоит военный, кажется полковник; его обходят стороной. И еще несколько человек в костюмах — словно приехали не в лес, а на работу.

Саша вжался в дерево; к краю поляны подошел человек в просторной черной куртке и с ремешком, перехватывавшим волосы на лбу. Еще одно лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, повернулось в Сашину сторону... Нет, его не заметили...

«Непонятно, — думал Саша, — кто это такие. Сидели, наверно, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес... Милиционер — для охраны. Но откуда дети? И почему такая музыка?» — Эй, — сказала сзади голос.

Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с нежной адидасовской лялией на груди.

— Ты что тут делаешь? — тихо спросила она.

Саша с некоторым усилием разлепил рот.

— Я... так просто, — ответил он.

— Что — так просто?

— Ну шел по дороге, пришел сюда.

— То есть как, — с ужасом переспросила девочка, — ты не с нами приехал?

— Нет.

Она дернулась в сторону, но все-таки осталась на месте.

— Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?

— Ну и что?! — сказал Саша.

Он решил, что она над ним издевается. Но девочка перевела взгляд на его кеды и помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что Саша отбросил эту мысль. Минуту девочка молчала, потом спросила:

— А как ты теперь выкручиваться будешь?

— Попрошу, чтоб довели до станции. Вы когда возвращаетесь?

Девочка промолчала. Саша повторил вопрос, и она сделала неопределенный спиральный жест ладонью.

— Или дальше пойду, — вдруг сказал Саша.

— Как тебя звали-то? — спросила она с сожалением.

«Почему «звали»?» — удивился Саша и хотел поправить ее, но вместо этого ответил, как в детстве отвечал милиционерам:

— Саша Лапин.

Девочка хмыкнула и толкнула его пальцем в грудь.

— Есть в тебе что-то располагающее, Саша Лапин, — сообщила она, — поэтому я тебе вот что скажу: бежать отсюда лучше не пробуй. А выйди из леса минут через пять и иди к костру. Тебя спросят, кто ты такой и что здесь делаешь. Отвечай, что вот услышал. Понял?

— Какой зов?

— Такой,

Девочка еще раз оглядела Сашу, потом обошла его и двинулась на поляну. У костра мужчина в костюме потрепал ее по голове и дал бутерброд.

После некоторого колебания Саша решился, вышел из-за дерева и пошел к желто-красному пятну костра. Шел, покачиваясь, и не понимал, почему, а глаза были прикованы к огню.

Когда он появился на поляне, разговоры смолкли. Все обернулись и глядели на него, сомнамбулически пересекающего пустое пространство между кромкой леса и костром.

— Стой, — сказал кто-то.

Саша шел вперед не останавливаясь. К нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватили его.

— Ты что здесь делаешь? — спросил тот же голос.

— Зов услышал, — мрачно ответил Саша, глядя в землю.

— А, зов... — раздались голоса. Сашу сразу же отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал:

— Новенький.

Саше протянули бутерброд с сыром и стаканчик тархуна, после чего он оказался немедленно забыт — все вернулось к прерванным разговорам. Саша подошел к костру и вдруг вспомнил о своем рюкзаке. «Черт с ним», — решил он и занялся бутербродом.

Подошла девочка в спортивном костюме.

— Я — Лена, — сказала она, показав на себя большим пальцем. — Молодец. Все сделал, как надо.

Саша огляделся.

— Слушай, — сказал он, — что здесь происходит?

Лена нагнулась, подняла обломок толстой ветки и бросила его в костер.

— погоди, узнаешь, — пообещала она, помахала мизинчиком — совершенно китайский получился жест, и отошла к группе, стоявшей у пня.

Сзади Сашу дернули за рукав. Он обернулся и на миг обомлел — перед ним стоял декан его факультета. Впрочем, декан только на работе декан, а вечером и ночью — человек и может ездить куда угодно.

— Слышь, новенький, — сказал декан, явно не узнав Сашу, — заполни-ка...

В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо профессора и лист: это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колене кое-как стал вписывать ответы — где родился, когда, зачем и так далее. Декан ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, декан вырвал у него

ручку и листок, оскаленно улыбнулся и, подпрыгивая от нетерпения, побежал к своей машине, на капоте которой лежала открытая папка.

Поднявшись, Саша заметил, что, пока он заполнял анкету, у костра произошла заметная перемена. Раньше собравшиеся были похожи, если не считать мелких несообразностей, на обычных туристов. Сейчас — нет. Разговоры продолжались, но голоса стали лающими, а движения и жесты — плавными и ловкими. Мужчина в костюме отошел от костра и с профессиональной легкостью кувыркался в траве, другой замер, как журавль, на одной ноге и глядел вверх, а милиционер, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках у края поляны и, как перископом, водил головой. Саша почувствовал звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хоть и неясной связи с музыкой: ее темп нарастал, трубы хрипели тревожно, предвещая новую и необычную тему. Постепенно музыка убыстрилась до невозможности, воздух стал густым и горячим. Саша подумал, что еще одна такая минута, и он умрет. Трубы смркнули на резкой ноте воющим ударом гонга.

— Эликсир, — заговорили вокруг, — быстрее эликсир! Пора.

Старая худая женщина (Саше бросились в глаза красные бусы) несла баночку, накрытую бумагой, в таких на рынке продают сметану. Вдруг в стороне произошло легкое смятение.

— Вот это да, — восхищенно сказали рядом, — без эликсира...

Одна из девушек стояла на коленях, ноги ее уменьшились, а руки, наоборот, вытянулись и так же вытянулось лицо, превратившееся в неправдоподобную, страшную до хохота получеловеческую, полувольтью морду.

— Великолелно, — сказал полковник и обернулся к остальным, делая жест, приглашающий всех полюбоваться жутким зрелищем, — слов нет! Великолелно!

Женщина в красных бусах подошла к волкоподобной девушке, сунула палец в баночку и уронила несколько капель в подставленную снизу пасть. По телу девушки прошла волна, еще одна, и перешла в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая крупная волчица.

— Это Таня из нязя, — сказал кто-то Саше в ухо, — очень способная.

Разговоры стихли. Все выстроились в неровную шеренгу, и женщина с полковником пошли вдоль нее, давая каждому отхлебнуть из банки. Саша, одуревший и ничего не соображающий, оказался примерно в середине этой очереди, а рядом с ним Лена.

Женщина с баночкой выглядела обыденно, по-дачному, без

плавности в движениях и блеска в глазах. Она поднесла к его лицу банку. Саша почувствовал странный, но знакомый запах каких-то растений. Он отшатнулся, но банку уже ткнули ему в губы.

Саша сделал маленький глоток и закрыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, ее вкус казался даже приятным, но когда проглотил, его чуть не вырвало.

Резкий растительный запах усилился и заполнил пустую голову — как будто она была воздушным шариком, в который вдували струю газа. Шарик вырос, раздулся, порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх — далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели звезды. Скоро внизу ничего не стало видно. Саша глянул вверх и увидел, что приближается к небу — оно представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими острями, которые и казались снизу звездами. Одно из таких сверкающих лезвий несло прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу, наоборот, летел все быстрее и быстрее. Наконец он налетел на него и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась одна стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться вниз.

Пал он долго, целое тысячелетие, и, наконец, достиг земли. Чувствовать под собой твердую поверхность было так приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднял морду и тихонько провыл. Потом встал с брюха на лапы и огляделся.

Рядом с ним стояла худенькая молодая волчица и глядела вверх, на луну. Саша сразу узнал Лену, а как узнал, было неясно. Те чисто человеческие особенности, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Зато на их место пришли точно такие же особенности, но волчьи. Это было очень странно — Саша никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если бы не видел собственными глазами. Лена заметила, что он смотрит на нее, и спросила:

— Ну, как тебе?

То есть не спросила. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила — это никак не было похоже на человеческий язык, но Саша сразу же уловил не только смысл вопроса, но и некоторую молодежную развязность, которую Лена ухитрилась придать своему вою.

— Здорово, — хотел он ответить, а вместо этого издал короткий лающий звук. Но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами.

— Отдохни, — провела она, — сейчас будем долго бежать.

Саша не хотел отдыхать. Он чувствовал себя переполненным силой — хотелось что-то сделать, подпрыгнуть или разорвать кого-нибудь в клочья. Он поглядел по сторонам — метрах в трех справа по траве катался милиционер, на глазах обрстая шерстью прямо поверх кителя; из штанов у него — быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, — рос толстый плешивый хвост.

На поляне теперь стояла волчья стая, и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой, как показалось Саше, опаской обошла двух матерых волков — одного из них Саша узнал, это был полковник, — и залезла в машину.

Саша повернулся к Лене.

— А она что, — спросил он, — не из наших?

— Нет, — ответила Лена, — она нам помогает. Сама она коброй перекидывается. Только сейчас для нее холодно. Она в Среднюю Азию ездит.

Саша сел на задние лапы. Он различал тысячи пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение — например, Саша сразу же почувствовал свой рюкзак, стоящий за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика и многое другое: солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены — это был, наверно, самый свежий и юный оттенок всей невообразимо широкой полосы вариантов запаха псины.

Похожее изменение произошло со звуками: теперь они были гораздо осмысленней и их количество удвоилось — можно выделить скрип ветки под ветром в ста метрах от поляны, потом стрекотание сверчка совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков одновременно, без всякого раздвоения.

Главная метаморфоза, которую отметил Саша, касалась самоосознания. На человеческом языке это очень трудно выразить, и Саша стал лаять, визжать и скулить про себя, так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании касалось смысла жизни. Люди, отметил Саша, способны об этом только говорить, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо как некоторое вечное свойство мира, наглухо скрытое от человека, и в этом было главное очарование нынешнего состояния Саши. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в свое прошлое естество, — жизнь без этого чувства казалась длинным бо-

лезненным сном, неинтересным и мутным, какие снятся при гриппе.

— Готовы? — пролаял из центра поляны бывший полковник. Саша понял.

— Да! Готовы! — отозвались десятки глоток.

— Сейчас... Пару минут, — прохрипел кто-то сзади.

Саша попытался повернуть морду так, чтобы взглянуть назад, но это ему не удалось. Оказалось, что шея очень плохо гнется — надо поворачиваться всем телом, а это неудобно. Сбоку подошла Лена и ткнула холодным носом в Сашин бок. Очевидно, она догадалась о его неудобстве, потому что тихонько проскулила ему в ухо:

— Ты не вертись, а глаза скашывай. Гляди.

Она показала. Саша попробовал, и действительно, поворачивать глаза очень удобно.

— Куда побежим? — озабоченно спросил он.

— В Коньково, — ответила Лена, — там пара коров осталась.

— А разве они не заперты?

— Нет, они сейчас в поле. Павел Сергеич устроил звонок из райкома — мол, научный эксперимент, влияние ночного выпаса на недои...

Павел Сергеич — бывший мужчина в черной куртке и с ленточкой на лбу, превратившейся в полоску темной шерсти, сидел рядом, слушал Лену и значительно кивал.

— Здорово, — прорычал Саша, — я их один съем, коров этих.

— Обожрешься, — улыбнулась Лена.

Саша скосил на нее глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой — юная гладкая шерсть, нежный выгиб спины, стройные и сильные задние лапы и трогательно перекачивающиеся под шкурой лопатки. В ней одновременно чувствовались и сила, и какая-то открытость, если не беззащитность. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, прижимая хвост к земле. Саша тоже почувствовал смущение и притворился, будто выгрызает что-то из шерсти на лапе.

— Еще раз спрашиваю: все готовы? — накрыл поляну низкий лай вожака.

— Все! Все готовы! — ответил дружный вой.

— Тогда вперед.

Вожак протрусил к краю поляны, видно было, что он специально движется медленно и расхлябанно; так спринтер подходит к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела.

Вдруг вожак взвыл и прыгнул в темноту и сразу же, с лаем

и визгом, за ним рванулись остальные. Прыгая в ночную тьму, утыканную острыми сучьями деревьев, Саша испытал то же самое, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина: мгновенный страх разбить голову о дно. Но бег через ночной лес оказался совершенно безопасным. Саша ощущал все препятствия и без труда обходил их. Поняв, что ему ничего не грозит, он расслабился, после чего бежать стало легко и радостно.

Стая растянулась и образовала правильный ромб. По краям летели матерые, мощные волки, а в центре — волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невозможные прыжки. Сашино место было в вершине ромба, сразу за вожаком — откуда-то он уже знал, что почетное место сегодня уступили новичку.

Вместе со всеми Саша пронесился сквозь кусты, перепрыгивал канавы и расшибал лапами сухие ветки, оказывавшиеся на пути. Лес кончился, и открылось большое пустынное поле, перечеркнутое дорогой; стая помчалась по асфальту с левой стороны дороги, вытянувшись в серую ленту. Всюду не видимая человеческому глазу жизнь — вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков исчезающие в своих норах, — можно было подумать, что Саша или кто-то другой из стаи станет утруждать себя из-за такой мелочи; свернулся колючим шаром еж на обочине и отлетел в поле, отброшенный легким ударом лапы, и еще реактивными истребителями промчались два зайца, оставляя после себя густой след запаха, по которому было ясно, что они насмерть напуганы, а один из них вдобавок глуп.

Саша заметил, что Лена бежит рядом с ним.

— Осторожно, — провила она и показала носом вверх.

Он поднял глаза: вверх, низко над дорогой, летело несколько сов — с той же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе ухнули, и волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между рассекающими воздух птицами и бегущей по дороге стаей. Несмотря на явную враждебность друг к другу, чем-то они были похожи.

— Кто это? — спросил он у Лены.

— Это из Министерства культуры. Знаешь, какие они крутые? Бежал бы ты один!..

Она что-то пробормотала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отдаляться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто широко расставив их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону.

— На птицефабрику полетели, — объяснила Лена, — кровушки хотят.

Саша увидел, что они подбегают к развилке, — впереди воз-

никили деревянный столб у дороги и высокое дерево. Саша чувствовал свой собственный, еще человеческий след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших ему в голову на дороге несколько часов назад, — это эхо оставалось в запахе.

Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал декан — он был худым рыжеватым волком с как бы опаленной мордой.

— Иван Андреевич! — провыл Саша.

Получилось вроде х-ррр-уууу-ввиивв... но декан узнал свое имя и дружелюбно повернул морду, насколько позволяла негнущаяся шея.

— А я у вас на факультете учусь, — сообщил Саша.

— То-то я гляжу, морда знакомая. Как сессию сдал? — отозвался декан.

— Нормально, — ответил Саша, — только по физике тройка.

Оба они высоко подпрыгнули, перелетев длинную лужу, мягко приземлились и помчались дальше.

— Физику надо знать, — заметил декан. — Основа основ.

Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди, высоко, как флаг на корме, подняв хвост.

Мимо пронесся указатель с надписью «Колхоз «Мичуринский», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни Конькова.

Коньково встретило волков-оборотней желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища.

Длинные серые тени пронеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись кругом в центре площади. Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос.

— Лен, а куда они... — повернулся он к Лене.

— Сейчас будут, — перебила она его, — помолчи.

Луна ушла за длинное рваное облако, и площадь освещала только лампа под жестяным конусом, раскачивающаяся на ветру. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной: стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства; оседала поднятая их появлением пыль, а крашенные домики людей по краям площади, облепленные антеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и маленький парфенон клуба с нелепой киноафишей казались даже не грубой декорацией, а пародией на декорацию.

В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом

Саша увидел три волчьих силуэта. Двое волков знакомы — Павел Сергенч и милиционер, а третий, между ними — нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлой самодовольности и одновременно испуга, и подумал: «Кто это?»

Волки приблизились. Милиционер чуть отстал, потом разогнался и грудью налетел на третьего, толкнув его в центр круга, после чего они с Павлом Сергенчем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и неизвестный оказался в центре.

Вожак тяжело поглядел на милиционера.

— Ты это брось, — провыл он. — Что за манеры. Это тебе не при Щелокове.

Милиционер отвел глаза. Саша тем временем вгляделся и внюхался в неизвестного — тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет пятидесяти, конически расширяющийся книзу, с наглым и жирным лицом, вместе с тем странно легкий, как бы надутый воздухом.

Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал:

— Так. Стая полковника Лебедеико в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?

— Мы хотим поговорить с тобой, Николай, — ответил вожак.

— Охотно, — ответил Николай. — К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Это игра для тех, у кого развито эстетическое чувство. Я назвал ее игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...

Николай говорил быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то, крайне ему не нравящегося, как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай (Саша почему-то представил себе его в человеческом облике), стоя на площадке, швырял в это что-то все попадающиеся под руку предметы.

— ...Создать круглую и блестящую модель происходящего.

— В чем же заключается эта игра, — спросил вожак, — расскажи. — Мы тоже любим игры.

— Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать?

— Покажи.

— К примеру... — Николай задумался на секунду, а потом сказал: — Возьмем самое близкое: вы и я. Вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь... Итак...

Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу.

— ...Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит? Это значит, что некоторые стороны плывущей мимо меня реальности

могут быть объяснены таким образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен и якобы посажен в якобы центр якобы круга якобы волков. Возможно, это мне снится, возможно, я сам чей-то сон, но безусловно одно: что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал надуваться. Займемся более нежными фракциями, и вы увидите, какие восхитительные краски проходят по его утончающимся стенкам. Мне не надо выслушивать вас, чтобы понять, что вы способны мне сказать. Мол, я не волк, а свинья — жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суeta, которой вы сами заняты, по-вашему, высоко. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела любого из вас и мое, а еще в них отражается небо, и честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все то, чем они заняты. Вы бежите куда-то ночью, а я лежу среди старых газет на своей помойке — как, в сущности, ничтожна разница! Причем если за точку отсчета принять вашу подвижность — обратите на это внимание! — выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте.

Он облизнулся и продолжил:

— Вот пузырь наполовину готов. Далее выплывает ваша главная претензия ко мне — то, что я нарушаю ваши законы. Обратите внимание — ваши, а не мои. Я считаю, что больше не связан ими и что это мое право самому решать такие вопросы. А вы считаете, что существование таких, как я, может как-то вам навредить.

— Вот здесь ты попал в самую точку, — заметил вожак.

— Мне надоели эти ночные визиты. Ладно еще, когда вы ходили по-одному, сейчас вы приперлись всей стаей. Давайте выясним наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально помешать мне? Ничем. Убить меня вы не в состоянии — сами знаете, почему. Переубедить — тоже, для этого вы, пардон, недостаточно тонки. В результате остается только ваш треп и мой, а на стенках пузыря они равноправны. Только мой изящнее, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — это бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорей разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как?

Пока Николай, жестикулируя хвостом, говорил, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и чертя в ней лапой круги. Дослушав, он медленно поднял морду, одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках.

— Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бро-

дьячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой р жизни. Не знаю, кто это тебя навещал, — вожак оглянулся на остальных волков, — для меня это новость. Сейчас мы здесь по делу.

Вожак повернулся к кругу.

— У кого письмо?

Молодая волчица — Саша узнал Таню из князя — уронила из пасти свернутую трубкой бумажку.

Вожак расправил ее лапой и прочел:

— «Уважаемая редакция!»

Николай, болтавший до этого хвостом, застыл.

— «Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте.

В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене.

Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который умеет превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций, чудом уцелевшая до нашего времени. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший и добрейший человек, который владеет этим древним умением. Я и сам бы не поверил в возможность подобных вещей, не окажись случайно свидетелем того, как Николай Петрович, обернувшись волком, спас от стаи диких собак маленькую девочку...»

— Это вранье? Или с корешами договорился? — спросил волк.

Николай не ответил, и вожак стал читать дальше:

— «Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы.

Кроме желания содействовать разантию науки, мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении — живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хотя сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия существования.

Николай Петрович отзывчивый и добрый человек, он не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то

немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, в частности, ряд исторических фактов...»

Вожак перевернул бумажку:

— Так, тут ничего интересного... бред... причем тут Стенька Разин... где же... Ага, вот:

— «Кстати сказать, обидно, что для определения этого исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «вервольк» — русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст».

— Уж по этой-то последней фразе, — заключил вожак, — окончательно стало ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова — одна и та же морда.

Помолчали. Потом вожак посмотрел на Николая.

— Ведь они придут, — сказал он с грустью. — Они такие идиоты, что могут поверить. Может, они уже были бы здесь, не попади это письмо к Антону. Но ведь ты и в другие журналы послал?

Николай хлопнул лапой по пыльной земле:

— Я делаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, а ваше общество, признаться, не очень мне приятно. Давайте на этом и простимся.

Он сделал движение, собираясь встать с брюха.

— Не торопись, — сказал вожак. — Печально говорить, но похоже, что твой волшебный танец на помойке прервется.

— Что это значит? — надменно подняв уши, спросил Николай.

— А то, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Ты прав, мы не можем тебя убить. Но посмотри на него.

Вожак показал лапой на Сашу. Саша вздрогнул.

— Я его не знаю, — ответил Николай, опустив глаза на Сашину тень. Саша тоже посмотрел вниз и вдруг увидел, что у всех тени были человеческими, а его собственная — обыкновенной волчьей.

— Это новичок, — сказал вожак. — Сегодня мы помогли ему стать волком. Он займет твое номинальное место в стае, если победит тебя. Ну как?

— А ты, оказывается, знаток древних секретов, — произнес Николай с иронией.

— Как и ты, — ответил вожак. — Разве не ими собираешься приторговывать? Только ты все-таки очень неумен. Кому интересно, что услышавший зов может убить оборотня и занять его место в стае? Кому это продашь? Газете «Воздушный транспорт»? Большая часть наших знаний никому из людей не нужна.

Саша понял смысл происходящего: ему драться с этим жирным волком.

«Но я же не слышал никакого зова, — подумал он, — я даже не знаю, что это такое! Может, сказать правду, вдруг отпустят?»

«Но ведь ты самозванец. У тебя нет никаких шансов», — сказал чей-то знакомый голос в его голове. А другой голос — вожак — пришел снаружи:

— Что касается тебя, Саша, то это твой шанс.

Саша уже собирался открыть пасть и во всем признаться, но вдруг его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай:

— Я готов.

И сразу успокоился.

Стая одобрительно зарычала. Николай поднял на Сашу тусклые желтые глаза.

— Только учти, дружок, очень маленький шанс, — сказал он. — Я думаю, что это твоя последняя ночь.

Саша промолчал. Николай по-прежнему лежал на земле.

— Тебя ждут, Николай, — мягко сказал вожак.

Николай лениво и длинно зевнул и вдруг взлетел вверх: распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда он приземлился, уже ничего в нем не напоминало о большой измотанной собаке — это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия; его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу.

Опять прошел одобрительный рык. Волки обсудили что-то шепотом; один подбежал к вожаку и ткнул пасть в его ухо.

— Да, — сказал вожак, — без сомнения.

Он повернулся к Саше.

— Перед дракой положена перебранка, — сказал он. — Стая настанвает.

Саша сглотнул и поглядел на Николая. Тот пошел вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то, расположенного за Сашинной спиной. Несколько раз они обошли круг, потом остановились.

— Вы, Николай Петрович, мне не симпатичны, — выдавил из себя Саша.

— О том, что тебе симпатично, щенок, — с готовностью ответил Николай, — будешь рассказывать своему палаше.

Саша почувствовал, что напряжение спало.

— Во всяком случае, — сказал он, — я-то знаю, кто он.

Фраза из старого, кажется, французского романа была бы уместней, возвышайся где-нибудь слева залитый луной Нотр-Дам. «Проще надо», — подумал Саша и спросил:

— А что это у вас на хвосте такое мокрое?

— Да это я какому-то Саше мозги вышиб, — ответил Николай.

Они медленно сходились к центру круга по спирали, держась друг против друга.

— На помойках, наверно, и не такое бывает, — сказал Саша. — Вас там не раздражают запахи?

— Меня твой запах раздражает.

— Потерпите, — сказал Саша, — осталось совсем чуть-чуть.

Он начинал входить во вкус разговора. Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился — свет фонаря неприятно резал глаза.

— Твое чучело, — сказал Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры. А рядом будет глобус.

— Ладно, давайте на «ты», — сказал Саша. — Ты любишь Есенина, Коля?

Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта.

— Зря. Я из него замечательную цитату вспомнил, — продолжал Саша. — «Ты скулишь, как сука при луне...». Не правда ли, скучными и емкими...

Николай Петрович прыгнул.

Саша не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Когда ходили по кругу и переругивались, он вдруг понял, что это делается по традиции, чтобы развлечь стаю и, присмотревшись друг к другу, выбрать подходящий момент для начала драки. Саша допустил оплошность — слишком увлекся перепалкой. Волк прыгнул на него из скрадывающей движения полутьмы, когда Сашу слепил свет фонаря.

Но как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, что-то изменилось: продолжение прыжка Саша видел уже замедленно, и за то время, пока задние лапы Николая еще касались земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем думалось тоже необычно — спокойно и ясно. Саша отскочил в сторону — он просто дал телу команду, а потом наблюдал, как оно ее выполняет: тело медленно пришло в движение, постепенно оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропуская мимо падающую сверху тяжелую серую тушу.

Саша знал свое преимущество — он легче, и движения его быстрее. Зато противник опытной и сильней и наверняка знал тайные приемы.

Приземлившись, Саша увидел, что Николай стоит боком, при-

сее, и поворачивает к нему морду. Показалось, что бок Николая открыт, и Саша метнулся к нему, целясь пастью в светлое пятно на шерсти, — почему-то он знал, что это уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно, боком, закрутив свое тело. Задняя часть Николая открылась: он словно подставлял свою плоть под клыки, медленно поворачиваясь в воздухе. Но тут жесткий, как стальная плетка, хвост хлестнул Сашу по глазам и носу, ослепив и, главное, лишив обоняния. Боль была невыносимой, но Саша знал, что никаких серьезных ранений не получил. Но секундного его ослепления могло хватить Николаю для нового — последнего — прыжка.

Приземлившись на вытянутые лапы и уже считая себя погибшим, Саша вдруг понял, что сейчас перед ним должен находиться бок или шея врага, и вместо того чтобы отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед... Некоторое время он парил в пустоте, а потом онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое; тогда Саша с силой сомкнул челюсти.

В следующую секунду они уже стояли друг против друга, как в самом начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, чтобы прийти в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился набок, и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал было шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился.

Он стал глядеть на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся и затих, глаза закрылись. А потом по его телу прошла дрожь, но не такая, как раньше. Саша чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно. Потом контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, и на покрытой следами от лап земле возник толстый человек в трусах и майке — он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался, он повернулся на бок и сделал такое движение рукой, будто поправлял подушку. Но его рука схватила пустоту, и видимо, от этой неожиданности он проснулся. Открыв глаза, он поглядел вокруг и опять закрыл их. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, вполне можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим криком он вскочил на ноги, нелепым и невозможным движением перепрыгнул через ближайшего волка из круга и помчался по темной улице, издавая все тот же неменяющийся звук. Наконец,

он исчез за поворотом, и там же его стон стих, сменившись какими-то осмысленными воплями, — слов, однако, нельзя было разобрать.

Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень, и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей — своих, человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него.

— Ты понял, в чем дело? — спросил он.

— Мне кажется, да, — ответил Саша. — Он будет что-нибудь помнить?

— Нет. Остаток жизни он будет считать, что ему приснился кошмар, — ответил вожак и повернулся к остальным.

— Уходим, — сказал он.

Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались каким-то другим путем, напрямик через лес, так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе.

На поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины. Когда вокруг появились волки, она приоткрыла глаза, что-то пробормотала и улыбнулась. Из машины, правда, не вышла.

Морда еще ныла от страшного удара. Саша лег на траву. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди, вспоминая перебранку, он испытывал к нему почти симпатию. Впрочем, он быстро забыл о нем.

Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил сгустившуюся вокруг тишину и поднял морду — со всех сторон на него молча глядели волки. Казалось, они чего-то ждали.

«Сказать?» — подумал Саша. И решился.

Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, так же, как в Конькове, только теперь напротив не было противника. Иногда, правда, возникала его тень — человеческая тень, как и у всех остальных в стае.

— Хочу признаться, — тихо провыл он, — обманул вас.

Стая молчала.

— Я не слышал никакого зова. Не знаю даже, что это такое. Я оказался здесь случайно.

Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а потом грохнул взрыв хриплого лающего хохота и вой. Саша открыл глаза.

— Что такое? — спросил он с недоумением.

Новая вспышка хохота.

— Вспомни, — сказал вожак, — как ты оказался здесь?

— Заблудился в лесу, — ответил Саша.

— Почему ты приехал в Коньково?

— Просто так...

— Но почему именно сюда?

— Почему? Сейчас... А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась, — красивый вид. И надпись «подмосковная деревня Коньково».

— А где ты увидел эту фотографию?

— В детской энциклопедии.

На этот раз смеялись долго,

— Ну, — продолжал вожак, — а зачем ты туда полез?

— Я... — Саша вспомнил, и это было, как вспышка света, — я искал фотографию волка! Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка! Я искал ее по всем книгам. Что-то я думал... А потом забыл. Так это и был?

— Именно, — ответил вожак.

Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха.

— Что же вы мне сразу не сказали?

— А зачем? Услышать зов — не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему? — спросил вожак.

— Не знаю.

— Когда ты согласился драться с Николаем, совершенно не надеясь на победу. Именно тогда изменилась твоя тень.

— Да. Да. Это так, — подтвердило несколько голосов в наступившей тишине.

Саша молчал. Мысли его беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил:

— А что это за эликсир, который мы пили?

Вокруг захохотали так, что женщине, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак тоже еле сдерживался — его морду перекосила кривая ухмылка.

— Ему понравилось, — сказал он остальным, — дайте ему еще!

И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиним лапам — он склонил морду и, напрягая зрение, прочел:

— «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки».

— Это просто шутка, — сказал вожак. — Но какой у тебя был вид, когда ты его глотал!.. Запомни: волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию, в любое время и в любом месте.

— А корова? — спросил Саша, уже не обращая внимания на

новую вспышку веселья. — Мне же сказали, что мы бежим в Коньково, чтобы...

Он не договорил и махнул лапой.

Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Вожак по-прежнему стоял напротив Саша.

— Ты должен помнить, — проговорил он, — что только оборотни — реальные люди. Посмотри на свою тень. Видишь, она человеческая. А если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, то заметишь тени свиней, петухов, жаб...

— Еще бывают пауки, мухи и летучие мыши, — сказал остановившийся рядом декан.

— Верно. А еще — обезьяны, кролики и удавы. А еще...

— Ну что ты пугаешь мальчика, — перебил декан, — ведь все придумываешь на ходу. Саша, не слушай.

Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга, и декан побежал дальше.

— Даже если я и придумываю все это на ходу, — заметил вожак, — это все равно правда.

Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашину взгляд.

— Ты хочешь что-то спросить?

— Да, — ответил Саша. — Кто такие верволки на самом деле?

Вожак внимательно поглядел ему в глаза и чуть оскалился.

— А кто такие на самом деле люди? — спросил он.

Оставшись один, Саша лег в траву и задумался. К нему подошла Лена и устроилась рядом.

— Сейчас луна достигнет зенита, — сказала она, — погляди вверх.

Саша посмотрел.

— Разве это зенит? — спросил он.

— Это особенный зенит, — ответила Лена, — на луну надо не смотреть, а слушать. Попробуй.

Саша прислушался. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых, а потом что-то похожее на далекое пение или музыку — так бывает, когда неясно, что звучит — инструмент или голос. Заметив этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, став через некоторое время достаточно громким, чтобы слушать его без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от луны и напоминала музыку, игравшую на поляне до превращения. Тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала.

Мелодия, которую слышал Саша, была чудесной, но в ней

были какие-то досадные провалы, пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл — сначала тихо, а потом громче, поднимая вверх пасть и забыв про все остальное; тогда, слившись с его голосом, мелодия стала совершенной.

Саша заметил, что рядом с его голосом появились другие — они были совсем разными, но ничуть не мешали друг другу. Слово несколько растений вилось вокруг общего стержня и все непохожие, все с разными цветами.

Скоро выла вся стая. Саша понимал смысл, наполняющий каждый голос, и общий смысл всего слышимого. Каждый голос выл о своем: Лены — о чем-то легком, похожем на удары капель дождя о звонкую жесть крыши; низкий бас вожака — о неизмеримых темных безднах, над которыми он поднялся в прыжке; дисканты волчат — о радости из-за того, что они живут, что утром бывает утро, а вечером — вечер, и еще о непонятной печали, похожей на эту радость. Вслушиваясь в музыку, Саша вдруг понял, как непостижим мир, в центре которого он лежит.

Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая все небо, в какой-то момент она сомкнулась вокруг Саши или это он оторвался от земли и упал на ее приближающуюся поверхность.

Придя в себя, он почувствовал слабые толчки и гудение мотора. Он открыл глаза и увидел, что полулежит на заднем сиденье машины, под ногами у него — рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо, а за рулем впереди сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, улыбнулся и прижал к губам палец; тогда Саша повернулся к окну.

Машины, растянувшись в длинную цепь, мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали маленькие игрушечные дома надвигающегося города.

СПИ

В самом начале третьего семестра на лекции по эм-эл философии Никита Сонечкин сделал одно удивительное открытие.

Дело было в том, что с некоторых пор с ним творилось непонятное: стоило маленькому ушастому доценту, похожему на одолеваемого кощунственными мыслями полка, войти в аудиторию, как Никиту начинало смертельно клонить в сон. А когда доцент принимался говорить и показывать пальцем на доску, Ни-

кита уже ничего не мог с собой поделаться — он засыпал. Ему чудилось, что лектор говорит не о философии, а о чем-то из детства: о каких-то чердаках, песочницах и горящих кучах сухих листьев; потом ручка в Никитиных пальцах забиралась по диагонали в самый верх листа, оставив за собой неразборчивую фразу; наконец, он клевал носом и проваливался в черноту, откуда через секунду-другую выныривал, чтобы вскоре все опять повторилось в той же последовательности. Его конспекты выглядели странно и были непригодны для занятий: короткие абзацы текста пересекались длинными косыми предложениями, где речь шла то о космонавтах-невозвращенцах, то о рабочем визите монгольского хана, а почерк становился мелким и прыгающим.

Сначала Никита очень расстраивался из-за своей неспособности нормально высидеть лекцию, а потом задумался — неужели это происходит только с ним? Он стал приглядываться к остальным студентам, и здесь-то его ждало открытие.

Оказалось, что спят вокруг почти все, но делают это гораздо умнее, чем он, уперев лоб в раскрытую ладонь так, что лицо оказывалось спрятанным. Кисть правой руки при этом скрывалась за локтем левой, и разобрать, пишет сидящий или нет, было нельзя. Никита попробовал принять это положение и обнаружил, что сразу же изменилось качество его сна. Если раньше он рывками перемещался от полной отключенности до перепуганного бодрствования, то теперь эти два состояния соединились — он засыпал, но не окончательно, не до черноты, и то, что с ним происходило, напоминало утреннюю дрему, когда любая мысль без труда превращается в движущуюся цветную картинку, следя за которой, можно одновременно дожидаться звонка переведенного на час вперед будильника.

Оказалось, что в этом новом состоянии даже удобнее записывать лекции — надо было просто позволить руке двигаться самой, добившись, чтобы бормотание лектора скатывалось от уха прямо к пальцам, ни в коем случае не попадая в мозг, в противном случае Никита начинал или просыпаться, или, наоборот, засыпал еще глубже, до полной потери представления о происходящем. Постепенно он так освоился во сне, что научился уделять нескольким предметам одновременно внимание той крохотной части своего сознания, которая отвечала за связи с внешним миром. Он мог, например, видеть сон, где действие происходило в женской бане (довольно частый и странный сон, поражающий целым рядом нелепостей, — на бревенчатых стенах висели рукописные плакаты со стихами, призывающими беречь хлеб, а кряжистые русоволосые бабы с ржавыми шейками в руках носили короткие балетные юбочки из перьеа); одновременно с этим он мог

не только следить за потоком яичного желтка на лекторском галстуке, но и выслушивать анекдот про трех грузинов в космосе, который постоянно рассказывал сосед.

Просыпаясь после философии, Никита в первые дни не мог нарадоваться своим новым возможностям, но самодовольство улетучилось, когда он понял, что может пока только слушать и писать во сне, а ведь тот, кто в это время рассказывал ему анекдот, тоже спал! Это было ясно по особому маслянистому блеску глаз, по общему положению туловища и по целому ряду мелких, но несомненных деталей. И вот, уснув на одной из лекций, Никита попробовал рассказать анекдот в ответ — специально выбрал самый простой и короткий, про международный конкурс скрипачей в Париже. У него почти получилось, только в самом конце он сбился и заговорил о мазуте вместо маузера. Но собеседник ничего не заметил и басовито хохотнул, когда после последнего сказанного Никитой слова истекли три секунды тишины и стало ясно, что анекдот закончен.

Больше всего Никиту удивила та глубина и вязкость, которые при разговоре во сне приобретал его голос. Но обращать на это слишком большое внимание было опасно — начиналось пробуждение.

Говорить во сне было трудно, но возможно, а до каких пределов могло в этом дойти человеческое мастерство, показывал пример лектора. Никита никогда бы не догадался, что тот тоже спит, если бы не заметил, что лектор, имевший привычку плотно прислоняться к высокой кафедре, время от времени поворачивается на другой бок, оказываясь к аудитории спиной и лицом к доске (чтобы оправдать такое невежливое положение своего туловища, он вяло взмахивал рукой в направлении пронумерованных белых предпосылок). Иногда лектор поворачивался на спину и прислонялся затылком к еловой окантовке кафедры; тогда его речь замедлялась, а высказывания становились либеральными до радостного испуга, но основную часть курса он читал на правом боку.

Скоро Никита понял, что спать удобно не только на лекциях, но и на семинарах, и постепенно у него стали выходить некоторые несложные действия — так, он мог, не просыпаясь, встать, приветствуя преподавателя, мог выйти к доске и стереть написанное или даже поискать в соседних аудиториях мел. Когда его вызывали, он сперва просыпался, пугался и начинал путаться в словах и понятиях, одновременно восхищаясь неподражаемым умением преподавателя морщиться и постукивать рукой по столу, не только держа глаза открытыми, но и придавая им подобие выражения.

Первый раз ответить во сне получилось у Никиты неожиданно и без всякой подготовки — просто он краем сознания заметил, что пересказывает какие-то «основные направления» и одновременно находится на верхней площадке высокой колокольни, где играет маленький духовой оркестр под управлением любви, оказавшейся маленькой желтоволосой старушкой с обезьяньими хватками. Никита получил пятерку и с тех пор даже конспекты первоисточников вел, не просыпаясь и приходя в бодрствующее состояние только для того, чтобы выйти из читального зала. Но мало-помалу его мастерство росло, и к концу второго курса он уже засыпал, входя утром в метро, а просыпаясь, выходя с той же станции вечером.

Кое-что его пугало. Он заметил, что все чаще засыпает неожиданно, не отдав себе в этом отчета. Только проснувшись, он понимал, что, например, приезд к ним в институт товарища Луначарского на тройке вороных с бубенцами — не часть идеологической программы, посвященной трехсотлетию первой русской балалайки (к этой дате готовилась в те дни вся страна), а обычное свидание. Было много путаницы, и чтобы обрести ясность, Никита стал носить в кармане маленькую булаву с зеленой горошиной на конце; когда у него возникали сомнения насчет того, спит он или нет, он колол себя в ляжку, и все выяснилось.

Отношения с товарищами по институту у него заметно улучшились — комсорг Сережа Фирсов, который мог во сне выпить одиннадцать кружек пива подряд, признался, что раньше все считали Никиту психом или, во всяком случае, человеком со странностями, но постепенно выяснилось, что он вполне свой. Сережа хотел добавить что-то еще, но у него заплелся язык, и он неожиданно стал говорить что-то о сравнительных шансах Спартака и Салавата Юлаева в этом году, из чего Никита, которому в этот момент снилась Курская битва, понял, что приятель видит что-то римско-пугачевское и крайне запутанное.

Постепенно Никиту перестало удивлять, что спящие пассажиры метро ухитряются переругиваться, наступать друг другу на ноги и удерживать на весу тяжелые сумки, набитые рулонами туалетной бумаги и консервами из морской капусты, — всему этому он научился. Поразительным было другое. Многие из пассажиров, пробравшись к пустому месту на сиденье, немедленно роняли голову на грудь и засыпали — не так, как спали за минуту перед этим, а глубже, полностью отъединяя себя от всего вокруг. Но, услышав сквозь сон название своей станции, они никогда не просыпались окончательно, а с потрясающей меткостью попадали в то самое состояние, из которого перед этим ныряли во временное небытие. Первый раз Никита заметил это, когда си-

девший перед ним мужик в синем халате, храпешный на весь вагон, вдруг дернул головой, заложил проездным раскрытую на коленях книгу, закрыл глаза и погрузился в неподвижное неорганическое оцепенение; через некоторое время вагон сильно трянуло, и мужик, еще раз дернув головой, зашевелился — раскрыл свою книгу, спрятал проездной в карман и захрапел опять. То же самое, как догадался Никита, происходило и с остальными, даже если они не храпели.

Дома он стал внимательно приглядываться к родителям и скоро заметил, что никак не может застать их в бодрствующем состоянии — они спали все время. Один только раз отец, сидя в кресле, откинул голову и увидел кошмар — завопил, замахал руками, вскочил и проснулся — это Никита понял по выражению его лица, — но тут же выругался, заснул опять и сел ближе к телевизору, где как раз синим цветом мерцало какое-то историческое совместное засыпание.

В другой раз мать уронила себе на ногу утюг, сильно ушиблась и обожглась и так жалобно всхлипывала во сне до приезда бригады «Скорой помощи», что Никита, не в силах вынести этого, заснул сам и проснулся только вечером, когда мать уже мирно клевала носом над «Одним днем Ивана Денисовича». Книгу принес заглянувший на запах бинтов и крови сосед, старик-антрополог Максимка, с детства напоминавший Никите опустившегося библейского патриарха. Максимка, изредка посещаемый кем-нибудь из многочисленных уголовных внуков, тихо досыпал свой век в обществе нескольких умных и злых котов да темной иконы, с которой он шепотом переругивался каждое утро.

После случая с утюгом начался новый этап Никитиных отношений с родителями. Оказалось, что все скандалы и непонимания ничего не стоит предотвратить, если засыпать в самом начале беседы. Однажды они с отцом долго обсуждали положение в стране — во время разговора Никита ерзал на стуле и вздрагивал, потому что ухмыляющийся Сенкевич, привязав его к мачте папирусной лодки, что-то говорил на ухо худому и злому Туру Хейердалу; лодка затерялась где-то в Атлантике, и Хейердал с Сенкевичем, не скрываясь, ходили в черных масонских шапочках.

— Умнеешь, — сказал отец, одним глазом глядя в потолок, а другим — на тумбочку для морской капусты, — только непонятно, кто тебе эту чушь наплел насчет шапочек. У них фартуки, длинные такие, — отец показал руками.

Вообще, выяснилось, к какому бы роду деятельности ни пытался приспособить себя Никита, трудности существовали только до того момента, как он засыпал, а потом без всякого участия со своей стороны он делал все необходимое да так хорошо, что,

проснувшись, удивлялся. Это относилось не только к институту, но и к свободным часам, бывшим до этого довольно мучительными из-за своей бессмысленной протяженности. Во сне Никита проглотил многие из книг, никак не поддававшихся до этого расшифровке, и даже научился читать газеты, чем окончательно успокоил родителей, нередко до этого с горечью шептавшихся по его поводу.

— У тебя прямо какое-то возрождение к жизни! — говорила ему мать, любившая торжественные обороты, — обычно эта фраза произносилась на кухне, во время приготовления борща. В кастрюлю упала свекла, и Никите начинало сниться что-то из Мелвилла. В открытое окно влетал запах жареной морской капусты и коровье мычание валторн; музыка стихала, и радиоголос говорил:

— Сегодня в девятнадцать часов предлагаем вашему вниманию концерт мастеров искусств, являющийся как бы заключительным аккордом в торжественной симфонии, посвященной трехсотлетию первой русской балалайки!

Вечером семья собиралась у синего окна во вселенную. У Никитиных родителей была одна любимая передача — «Камера смотрит в мир». Отец по-домашнему выходил к ней в своей полосатой серой пижаме и сворачивался в кресле; из кухни с тарелкой в руке подтягивалась мать, и они часами завороченно поворачивали полуприкрытые глаза за плывущими по экрану пейзажами.

— Если вы хотите отведать свежих бананов и запить их кокосовым молоком, — говорил телевизор, — если вы хотите насладиться шумом прибоя, теплым, золотым песком и нежными лучами солнца, то...

Тут телевидение делало интригующую паузу.

— ...то это значит, что вы хотите побывать в бананово-лимоновом Сингапуре...

Никита посапывал рядом с родителями. Иногда до него долетало преломленное мутной призмой сна название передачи, и содержание сновидения задавалось экраном. Так, во время программы «Наш сад» Никите несколько раз привиделся основатель полового извращения; на французском маркизе был клюквенный стрелецкий кафтан с золотыми галунами, и он звал с собой в какое-то женское общежитие. А иногда все смешивалось в полную неразбериху, и архимандрит Юлиан, неперменный участник любого уважающего себя «круглого стола», выглядывал из длинного ЗИЛа с мигалкой и говорил:

— До встречи в эфире!

При этом он испуганно тыкал пальцем вверх, в небесную пустоту, где одиноко стояла красная точка Антареса из передачи об

Иване Буиние. Кто-нибудь из родителей переключал программу, Никита чуть приоткрывал глаза и видел на экране майора в голубом берете. «Смерть? — улыбался майор. — Она страшна только сначала, в первые дни. По сути, служба здесь стала для нас хорошей школой — мы учили духов, духи учили нас...»

Щелкал выключатель, и Никита отправлялся в свою комнату — спать под одеялом на кровати. Утром, услышав шаги в коридоре или звон будильника, он осторожно приоткрывал глаза, некоторое время привыкал к тревожному утреннему свету, вставал и шел в ванную, где в его голову обычно приходили разные мысли и ночной сон уступал место первому из дневных.

«Как же все-таки одинок человек, — думал он, ворочая во рту лысеющей зубной щеткой, — ведь я даже не знаю, что снится моим родителям, или прохожим на улицах, или дедушке Максиму. Хоть бы с кем поговорить».

И тут же он пугался, понимая, насколько эта тема невозможна для обсуждения. Ведь даже самые бесстыдные из книг, какие прочел Никита, ни словом об этом не упоминали; точно так же никто при нем не говорил об этом вслух. Никита догадывался, в чем дело, — это была не просто одна из недомолвок, а своеобразный шарнир, на котором поворачивались жизни людей, и если кто-то даже и кричал, что надо говорить всю, как есть, правду, то он делал это не потому, что очень уж ненавидел недомолвки, а потому, что к этому его вынуждала главная недомолвка существования. Однажды, стоя в медленной очереди за морской капустой, Никита увидел даже сон на эту тему.

Он находился в каком-то сводчатом коридоре, потолок которого был украшен лепными виноградными кистями и курносими женскими профилями, а по полу шла красная коверная дорожка. Никита пошел по коридору, несколько раз повернул и вдруг оказался в коротком аппендиксе, кончающемся закрашенным окном; одна из дверей короткого коридорного тупика открылась, оттуда выглянул пухлый мужчина в темном костюме и, сделав счастливые глаза, поманил Никиту рукой. Никита вошел.

В центре комнаты, за большим круглым столом, сидели человек десять—пятнадцать, все в костюмах, с галстуками и все довольно похожие друг на друга — лысоватые, пожилые, с тенью одной какой-то невыразимой думы на лицах. Один из них громко говорил, и на Никиту не обратили внимания.

— Ни тени сомнения! — щупал ладонью что-то невидимое выступающий, — надо сказать всю правду. Люди устали.

— А почему бы и нет? Конечно! — отозвалось несколько бодрых голосов, и заговорили все сразу — началась неразбериха, шум, пока тот, кто говорил в самом начале, не хлопнул изо

всех сил по столу багровой папкой с надписью «ВРПО «Дальрыба» — удар пришелся всей плоскостью, и звук вышел тихим, но очень долгим и увесистым, похожим на звон колокола с глушителем. Все стихло.

— Понятно, — вновь заговорил хлопнувший, — надо сначала выяснить, что из всего этого выйдет. Попробуем составить подкомиссию, скажем, в составе трех человек.

— Зачем? — спросила девушка в белом халате.

Никита понял, что она здесь из-за него, и протянул ей два рубля за свои пять банок. Девушка сунула деньги в карман, издала ртом звук, похожий на трещащее жужжание кассового аппарата, но на Никиту даже не поглядела.

— А затем, — ответил ей мужчина, хоть Никита уже миновал кассу и шел теперь к дверям универсама, — затем, что мы сами сначала попробуем сказать всю-всю правду друг другу.

Очень быстро договорились насчет членов подкомиссии — ими стали сам оратор и двое мужчин в синих тройках и роговых очках, похожие, как родные братья, даже перхоти у обоих было больше на левом плече. (Разумеется, Никита отлично знал, что и перхоть на плечах, и простонародный выговор некоторых слов не настоящие и являются просто проявлениями принятой в этих кругах эстетики совещаний.) Все остальные вышли в коридор, где светило солнце, дул ветер и гудели машины, и пока Никита спускался в подземный переход, дверь в комнату заперли, а чтоб никто не подглядывал, замочную скважину замазали икрой с бутерброда.

Стали ждать. Никита миновал памятник противотанковой пушке, магазин «Табак» и дошел уже до огромной матерной надписи на стене панельного Дворца бракосочетаний — это значило, что до дома пять минут ходьбы, — когда из комнаты, откуда все это время доносились тихие неразборчивые голоса, вдруг послышалось какое-то бульканье и треск, вслед за чем наступила полная тишина. Кто-то постучал в дверь.

— Товарищи? Как дела?

Ответа не было. В маленькой толкучке у дверей начали переглядываться, и какой-то загорелый, европейского вида мужчина по ошибке переглянулся с Никитой, но сразу же отвел глаза и раздраженно что-то пробормотал.

— Ломаем! — решили, наконец, в коридоре.

Дверь вылетела с пятого или шестого удара, как раз когда Никита входил в свой подъезд, после чего он вместе с ломавшими дверь очутился в совершенно пустой комнате, на полу которой расплзлась большая лужа. Никита сперва решил, что это та же лужа, что и на полу лифта, но, сравнив их контуры, убе-

дился, что это не так. Несмотря на то что длинные языки лужи еще ползли к стенам, ни под столом, ни за шторами никого не было, а на стульях горбились и обвисали три пустых, обгорелых изнутри костюма. Возле ножки одного из стульев блестяли треснутые роговые очки.

— Вот она, правда-то, — прошептала кто-то за спиной.

Сон, уже порядком надоевший, никак не кончался, и Никита полез в карман за булавкой. Как назло, ее там не было. Войдя в свою квартиру, Никита швырнул на пол сумку с консервными банками, открыл шкаф и стал шарить по карманам всех висящих там штанов. Тем временем все вышли из комнаты в коридор и стали тревожно шептаться, опять загорелый тип чуть было не шепнул что-то Никите, но вовремя остановился. Решили, что надо срочно куда-то звонить, и загорелый, которому это было доверено, уже двинулся к телефону, как вдруг все взорвалось ликующими криками — впереди, в коридоре, показались исчезнувшие трое. Они были в синих спортивных трусах и кроссовках, румяные и бодрые, как из бани.

— Вот так! — закричал, махая рукой, тот, что говорил в самом начале сѣна. — Это, конечно, шутка, но мы хотели показать некоторым нетерпеливым товарищам...

Со зла Никита уколол себя булавкой даже несколько сильнее, чем требовалось, и что случилось дальше, осталось неизвестным.

Никита поднял сумку, отнес ее на кухню и подошел к окну. На улице был летний вечер, шли и весело переговаривались о чем-то люди, гудели машины, и все было так, как если бы любой из прохожих действительно шел сейчас под Никитиными окнами, а не находился в каком-то только ему ведомом измерении. Глядя на крохотные фигурки людей, Никита с тоской думал, что до сих пор не знает ни содержания их сновидений, ни отношения, в котором для них находятся сны и явь, и что ему совсем некому пожаловаться на приснившийся кошмар или поговорить о снах, которые ему нравятся. Ему вдруг так захотелось пойти на улицу и с кем-нибудь — совершенно неважно, с кем, — заговорить обо всем этом, что он понял — как ни дик такой замысел, сегодня он именно это и сделает.

Минут через сорок он уже шел от одной из окраинных станций метро по поднимающейся к горизонту пустой улице, похожей на половинку разрезанной надвое липовой аллеи, — там, где должен был расти второй ряд деревьев, проходила широкая асфальтовая дорога. Он приехал сюда потому, что здесь были тихие, почти не посещаемые милициейскими патрулями места. Это было важно — Никита хорошо знал, что от спящего милицио-

нера можно убежать только во сне, а адреналин в крови — плохое снотворное. Никита шел вверх, покалывая себя в ногу и любуясь огромными, похожими на застывшие фонтаны зеленых чернил ляпами, он так загляделся на них, что чуть не упустил своего первого клиента.

Это был старичок с несколькими разноцветными значками на ветхом коричневом пиджаке, вышедший, вероятно, на обычный вечерний моцион. Он вышмыгнул откуда-то из кустов, покосился на Никиту и пошел вверх. Никита догнал его и пошел рядом. Старичок время от времени поднимал руку и с силой проводил оттянутым большим пальцем по воздуху.

— Чего это вы? — помолчав, спросил Никита.

— Клопы, — отозвался старик.

— Какие клопы? — не понял Никита.

— Обыкновенные, — сказал старик и вздохнул: — Из верхней квартиры. Тут все стены дырявые.

— Надо дезинсектаем, — сказал Никита.

— Ничего, — ответил старик, — я пальцем за ночь больше передавлю, чем вся твоя химия. Знаешь, как Утесов поет? Мы врагов...

Тут он замолчал, и Никита так и не узнал про клопов и Утесова! Несколько метров прошли в тишине.

— Хряп, — вдруг сказал старик.

— А?

— Хряп, — повторил старик. — Хряп.

— Это клопы лопаются? — догадался Никита.

— Не, — сказал старик и улыбнулся. — Клопы тихо мрут,

А это икра.

— Какая икра?

— А вот поразмысли, — оживился старик, и его глаза заблестели хитроватым суворовским маразмом, — видишь киоск?

На углу и правда стоял запертый киоск «Союзпечати».

— Вижу, — сказал Никита.

— Видишь. Хорошо. А теперь представь, что тут косяк такая будка стоит. И в ней икру продают. Ты такой икры не видел и не увидишь никогда — каждое зернышко с виноградину, понял? И вот продавщица, ленивая такая баба, взвешивает тебе полкило — совком берет из бочки и на весы. Так она пока тебе твой полкило положит, на землю — хряп! — столько же уронит. Понял?

Глаза старика погасли. Он огляделся по сторонам, плюнул и пошел через улицу, иногда обходя что-то невидимое, возможно, лежащее на асфальте его сне кучки икры.

«Нет, — решил Никита, — надо прямо спрашивать. Чет знает, кто о чем говорит. А если милицию позовут, убегу...».

На улице уже было довольно темно. Зажглись фонари — работала из них половина, а из работающих большинство испускало слабое фиолетовое сияние, которое не столько освещало, сколько окрашивало асфальт и деревья, придавая улице характер строгого загробного пейзажа. Никита сел на одну из скамеек под липами и замер.

Через несколько минут на краю видимой полусферы сумрака появилось что-то поскрипывающее и попискивающее, состоящее из темных и светлых пятен. Оно приближалось, двигаясь с короткими остановками, во время которых раскачивалось взад-вперед, издавая утешительный и фальшивый лепет. Попав в освещенный фонарем участок, оно разделилось на женщину лет тридцати в темной куртке и катящуюся перед ней светлую коляску. Приглядевшись, Никита убедился, что женщина спит — время от времени она поправляла у головы невидимую подушку, притворяясь, по обычной женской привычке лицемерить даже в одиночестве, что приводит в порядок свои пегие волосы.

Никита поднялся с лавки. Женщина вздрогнула, но не проснулась.

— Простите, — начал Никита, злясь на собственное смущение, — можно задать вам один личный вопрос?

Женщина задрала на лоб выщипанные в ниточку брови и растянула широкие губы к ушам, что, как понял Никита, означало вежливое недоумение.

— Вопрос — переспросила она низким голосом. — Ну давай.

— Скажите, что вам сейчас снится?

Никита машинально сделал идиотский жест рукой, обводя все вокруг, и окончательно смутился, почувствовав, что в его голосе прозвучала какая-то совершенно неуместная галантность. Женщина засмеялась воркующим голубиным смехом.

— Дурачок, — ласково сказала она, — мне не такие нравятся.

— А какие? — глупо спросил Никита.

— С овчарками, глупыш. С большими овчарками.

«Издевается», — подумал Никита.

— Вы только поймите меня правильно, — сказал он. — Я и сам понимаю, что перехожу, так сказать, границу...

Женщина вдруг тихо вскрикнула и, отведя глаза от Никиты, пошла быстрее.

— Понимаете, — волнуясь, продолжал Никите, — я знаю, что об этом нормальные люди не говорят. Может, я ненормаль-

ный. Но неужели вам самой никогда не хотелось с кем-нибудь это обсудить?

— Что обсудить? — переспросила женщина, словно пытаюсь выиграть время в разговоре с сумасшедшим. Она уже почти бежала, зорко глядя в темноту; коляска подпрыгивала на неровностях асфальта, и внутри что-то тяжело и безмолвно билось в клеенчатые борты.

— Именно это и обсудить, — ответил Никита, переходя на трусцу. — Вот, например, сегодня. Включаю телевизор, а там... Не знаю, что страшнее — зал или президиум. Целый час смотрел, и ничего нового не увидел — только, может, пара незнакомых поз. Один в тракторе спит, другой — на орбитальной станции, третий во сне про спорт рассказывает, а эти, которые с трамплина прыгают, тоже все спят. И выходит, что поговорить мне не с кем...

Женщина лихорадочно поправила подушку и перешла на откровенный бег. Никита, стараясь удержать сбиваемое разговором дыхание, побежал рядом — впереди стремительно росла зеленая звезда светофора.

— Вот, например, мы с вами... Слушайте, давайте я вас булавкой уколую! Как я не догадался... Хотите?

Женщина, вылетев на перекресток, остановилась, да так резко, что в коляске что-то увесисто сместилось, чуть не прорвав переднюю стенку, а Никита, прежде чем затормозить, пролетел еще несколько метров.

— Помогите! — заорала женщина.

Как нарочно, метрах в пяти на боковой улице стояли двое с повязками на рукавах, оба в одинаковых белых куртках, делавших их чуть похожими на ангелов. В первый момент они отпрянули назад, но, увидев, что Никита стоит под светофором и не проявляет никакой враждебности, осмелели и медленно приблизились. Один вступил в разговор с женщиной, которая горячо и громко заговорила, махая руками и все время повторяя слова «пристал» и «маньяк», а второй подошел к Никите.

— Гуляешь? — дружелюбно спросил он.

— Типа того, — ответил Никита.

Дружинник был ниже его на голову и носил темные очки. (Никита давно заметил, что многим трудно спать при свете с открытыми глазами.) Дружинник обернулся к напарнику, тот сочувственно кивал женщине головой и записывал что-то на бумажку. Наконец, женщина выговорилась, победоносно поглядела на Никиту, поправила подушку, развернула свою коляску и двинула ее вверх по улице. Напарник подошел — это был мужчина лет сорока с густыми чаповскими усами, в надвинутой на самые уши —

чтобы за ночь не растрепалась прическа — кепке и с сумкой на плече.

— Точняк, — сказал он напарнику, — она.

— А я сразу понял, — сказал очкарик и повернулся к Никите. — Тебя как звать?

Никита представился.

— Я Гаврила, — сказал очкарик, — а это Михаил. Ты не пугайся, это местная дура. Нам на инструктаже про нее каждый раз напоминают. Ее в детстве два пограничника изнасиловали, прямо в кинотеатре, во время фильма «Ко мне, Мухтар». С тех пор она и тронулась. У нее в коляске бюст Дзержинского в пеленках. Она каждый вечер в отделение звонит, жалуется, что ее трахнуть хотят, а сама к собачникам пристает, хочет, чтоб на нее овчарку спустили...

— Я заметил, — сказал Никита, — она странная.

— Ну и Бог с ней. Ты пить будешь?

Никита подумал.

— Буду, — сказал он.

Устроившись на лавке, там же, где за несколько минут до этого сидел Никита, Михаил вынул из сумки бутылку экспортной «Особой московской», брелком в виде маленького меча отделил латунную пробку от фиксирующего кольца и свинтил ее одним замысловатым движением кисти — он, видно, был из тех еще встречающихся в России самородков, которые открывают пиво глазницей и ударом крепкой ладони вышибают пробку из бутылки болгарского сушняка сразу наполовину, так, что уже несложно хватиться зубами.

«А может, их спросить? — подумал Никита, принимая тяжелый картонный стаканчик и бутерброд с морской капустой. — Хотя страшно. Все-таки двое, а этот Михаил — здоровый...».

Выдохнув воздух, Никита уставился в сложное переплетение теней на асфальте под ногами. С каждой волной теплого вечернего ветра узор менялся — то были ясно видны какие-то рожи и знамена, то вдруг появлялись контуры Южной Америки, то возникали три адидасовские линии от висящих над деревом проводов, то казалось, что это просто тени от просвеченной фонарем листвы.

Никита поднес стакан к губам. Призванная представлять страну за рубежом жидкость, решив, видимо, что дело происходит где-то в Западном полушарии, проскользнула внутрь с удивительной мягкостью и тактом.

— Кстати, где это мы сейчас? — спросил Никита.

— Маршрут номер три, — отозвался очкарик Гаврила, беря у него стакан.

— Ну и пенек же ты, — засмеялся Михаил. — Неужто если мент в опорном пункте чего-то там на схеме напишет, так это уже и впрямь будет «маршрут номер три»? Это бульвар Стеньки Разина.

Гаврила покачал пустым стаканом, ткнул почему-то пальцем в Никиту и спросил:

— Добьем?

— Ты как? — серьезно спросил Никиту Михаил, подбрасывая на ладони пробку.

— Да мне все равно, — сказал Никита.

— Ну тогда...

Второй круг стакан совершил в тишине.

— Вот и все, — задумчиво сказал Михаил. — Ничего другого людям пока не светит.

Он размахнулся и хотел уже зашвырнуть бутылку в кусты, но Никита успел поймать его за рукав.

— Дай поглядеть, — сказал он.

Михаил протянул бутылку, и Никита заметил на его кисти тщательно выполненную татуировку — что-то вроде проткнутой шилом крысы, но Михаил сразу спрятал руку в карман, а просить разрешения поглядеть на нее еще раз было неудобно. Никита уставился на бутылку. Этикетка была такой же, как и на «Особой московской» внутреннего пользования, только надпись была сделана латинскими буквами и с белого поля глядела похожая на глаз эмблема «Союзплодимпорта» — стилизованный земной шарик с крупными буквами «СПИ».

— Пора, — вдруг сказал Михаил, поглядев на часы.

— Пора, — эхом повторил за ним Гаврила.

— Пора, — зачем-то произнес вслед за ними Никита.

— Надень повязку, — сказал Михаил, — а то капитан разволнуется.

Никита полез в карман, вынул мятую повязку и продел в нее руку — тесемки были уже связаны. Слово «Дружинник» было перевернутым, но Никита не стал возиться — все равно, ненадолго.

Встав с лавки, он почувствовал, что прилично закосел, и даже испугался на секунду, что это заметят в опорном пункте, но тут же вспомнил, в каком состоянии к концу дежурства был в прошлый раз сам капитан, и успокоился.

Втроем молча дошли до светофора и повернули на боковую улицу, к опорному пункту, до которого было минут десять ходьбы.

То ли дело было в водке, то ли в чем-то другом, но Никита

давно не ощущал такой легкости во всем теле — казалось, он не идет, а несется в небе, качаясь на воздушных струях.

Михаил и Гаврила шли по бокам, с пьяной строгостью оглядывая улицу. Навстречу время от времени попадались компании — сначала какие-то легкомысленные девочки, одна из которых подмигнула Никите, потом пара явных уголовников, потом несколько человек, прямо на улице поедавших торт «Птичье молоко», и другие, уже совсем непонятные люди.

«Хорошо, — думал Никита, — что втроем. А то бы на части разорвали — вон какие хари...».

Думалось с трудом — в голове, как неоновые трубки, весело вспыхивали и гасли слова детской песни о том, что лучше всего на свете шагать вместе по просторам и хором напевать. Смысла слов Никита не понимал, но это его не беспокоило.

В опорном пункте оказалось, что все уже разошлись — дежурный сказал, что можно было возвращаться еще час назад. Пока Никита на ощупь искал свою сумку в темной комнате, где обычно проводили инструктаж и давили людей по маршрутам, Михаил и Гаврила ушли — им надо было успеть на электричку.

Сдав повязку, Никита тоже сделал вид, что спешит, — ему совершенно не хотелось шагать в метро вместе с капитаном. Выйдя на улицу, он почувствовал, что от его хорошего настроения ничего не осталось. Подняв ворот, направился к метро, обдумывая завтрашний день: партсобрание, заказ с двумя батонами колбасы, звонок в Уренгой, литр водки на праздники (надо было спросить у случайных спутников по дежурству, где они брали «Особую», но теперь уже поздно), забрать Аннушку из садика, потому что жена идет к гинекологу, дура, даже тут у нее что-то не ладится, в общем, взять у Германа Парменюча отгул на полдня за сегодняшний выход.

Вокруг уже был вагон метро, и беременная баба в упор сверлила глазами из-под низко опущенного платка его лысину; он все глядел в газету, пока сволочи не похлопали по плечу — тогда пришлось встать, но был уже перегон перед его станцией. Он подошел к дверям и поглядел на свое усталое морщинистое лицо в стекле, за которым неслись переплетенные электрические змеи. Вдруг лицо исчезло, и на его месте появилась черная пустота с далекими огнями: тоннель кончился, и поезд взлетел на мост над замерзшей рекой. Стала видна слава советскому человеку на крыше высокого дома, освещенная скрещенными голубыми лучами.

Через минуту поезд опять нырнул в тоннель, и в стекле возникли жестикулирующие алкаши, девушка со спицами, дозывающая что-то синее под схемой метрополитена, школьник с

бледным лицом, мечтающий над фотографиями из учебника истории, полковник в папаше, непобедимо сжимающий чемодан с номерным замком, и еще были видны выведенные чьим-то пальцем с той стороны стекла печатные буквы «ДА». Потом впереди появилась длинная и пустая улица, занесенная снегом. Что-то кололо ногу. Он достал из кармана неизвестно как там оказавшуюся булавку с зеленой горошиной на конце, кинул ее в сугроб и поднял глаза. Небо в просвете между домами было высоким и чистым, и он очень удивился, различив среди мелкой звездной икры совок Большой Медведицы, — почему-то он был уверен, что тот виден только летом.

ЕГОР ЛАВРОВ

СИНТЕЗ

Оставалось чуть больше двух минут. «Надо было взять с собой карту Города», — думал Зоанд, хотя карта была не нужна — память с абсолютной точностью хранила маршрут и время. «На этот раз ошибки быть не может, — думал он. — Если я ошибся на этот раз — значит, ложна сама идея».

Сознание автоматически отмечало цифры на электронных часах и код местонахождения капсулы на табло-ориентире. Оставалось полторы минуты.

Он встал, и руки отработанным движением сняли предохраняющую панель микрокомпьютера. Обнажилось уже изученное переплетение проводников, идущих от микросхем к сервомеханизмам и двигателю.

«Ошибки быть не может. Город бесконечен, но замкнут. И как любая замкнутая бесконечность, должен быть ограничен».

Прикосновение жала микропаяльника отделило несколько проводников. Двигатель смолк.

«Ограниченность подразумевает поверхность разделения на непересекающиеся множества. На Это и Не это».

Зоанд передвинул один из проводников по плате и вынужден был упереться коленом — капсула начала тормозить, и инерция толкала его к передней стенке.

«Оно никому не приходит на ум именно потому, что элементарно. Чтобы понять простоту — нужна гениальность».

Судя по прекратившейся вибрации, капсула остановилась. Он шагнул к створкам и ладонями стал раздвигать их. Мертвые моторы сопротивлялись, но щель неуклонно расширялась, открываясь в темноту.

Каменной стены впритык к капсуле, как это случалось раньше, не было. А значит, как он и предполагал, здесь, именно здесь, находилась точка, соединяющая Это и Не это, Город и Не город.

Он спрыгнул вниз в полосу света, падавшего из капсулы, и пол неожиданно мягко спружинил.

Зал был огромен, в темноте терялись расстояния, но, подняв голову, можно было различить крошечные точки светильников.

Он решил найти стену зала и пошел вперед. Необычный пол — неровный и мягкий — шуршал под ногами. Почувствовалось движение воздуха как при плохо отрегулированной вентиляции в коридоре и принесло непривычные запахи. Величина зала и высота потолка, которые он не мог определить, действовали неприятно. Но торжество успеха заслоняло все.

«Так просто! — думал он. — Гениальность мысли и точность расчета. Теперь самое интересное — что же такое то, что не Город?»

Зоанду показалось, что стало чуть светлее, однако стен все равно видно не было. Он присел и пощупал пол — напоминало влажный биомох с очень длинными нитями. Оторвал одну, поднес к лицу. И почуял чужой, пугающий аромат.

Стало действительно светлее, и он смутно различил колонну совсем близко от себя. Проведя по ней ладонью, ощутил пористость и шероховатость поверхности. Слева стояла еще одна колонна и еще. Разной толщины. И над ними волнами возникал шум, напоминающих плеск воды.

Зоанд оглянулся, изда покинутую капсулу, и вдруг увидел светящуюся красным, медленно увеличивающуюся полусферу вдаль. Он застыл, не в силах оторваться от этого явления, не замечая больше ничего вокруг, до тех пор пока не был ослеплен яркостью свечения. Он зажмурился и приложил ладони к лицу, ожидая, когда исчезнут синие круги.

А когда вновь открыл глаза, то ужас сковал неподвижностью его тело и тяжесть навалилась на грудь, не давая дышать.

Там, где он находился, не было границ, не было стен. Его окружала зелено-голубая бесконечность.

В опыте Олана настал ответственный момент, к тому же его дом был предпоследним, потому он не спешил выходить, хотя слышал Ритуальный свадебный ход от самого края Деревни. Вой трубы то и дело обрывался, и тогда слышался голос Азима.

С волнением Олан наблюдал за замкнутым глиняным кувшином, стоявшим над огнем. Еще несколько месяцев назад Олан начал мучиться тем, куда девается дух, идущий от кипящего варева из съедобных лиан. Его, духа, очень много, если запах слышен

даже за порогом. А коли заткнуть кувшин пробкой — куда денется дух?

Варево, судя по звуку, закипело, и Олан нетерпеливо ждал. Пробка, однако, оставалась неподвижной, и он испытал разочарование. Отгадка так проста, что не стоило и пробовать, — дух, которому некуда деваться, из похлебки не идет.

Свадебный ход тем временем приблизился, и Олану пора было появиться. Он печально вздохнул, поднялся и шагнул за порог.

Впереди, как и положено, двигался Поридам с трубой из ствола дерева Шим. За Поридамом осторожно ступали босыми ногами будущие муж и жена. Они были по Обряду скрыты глухими белыми балахонами, но Олан, как и все население Деревни, знал, кто это.

За новобрачными шел Азим, а позади — радостно возбужденная толпа. Свадебный обряд совершался редко, и было оставлено все. Не доносился из хижины монотонный шум жерновов. И даже старые самцы тхоопамов, таскавшие по подсохшему в эту пору лугу камни для Моста в Болоте, и те были согнаны за деревенскую Изгородь и бродили, лениво постукивая тяжелыми хвостами о землю.

Поридам остановился у дома Олана и опустил трубу. Остановился и ход, а Азим выступил вперед. Обычное радостное ощущение единства с жителями передалось Олану.

— Привет тебе, брат наш! — вибрирующим ритуальным голосом протянул Азим.

— Привет тебе, о Учитель! — ответил Олан, прекрасно зная Обряд.

— Помнишь ли ты, как цвело дерево Шим, как цветет дерево Шим и как будет цвести дерево Шим?

— Помню, Учитель! — смиренно отозвался Олан.

— Помнишь ли ты, что все есть так, как было, и будет так, как есть?

Вытянутое лицо Азима в Обряде приобретало магически-притягательное выражение. Будто неподвижное, но одновременно неуловимо меняющееся.

— Помню, Учитель, — Олан пытался и не мог отвернуться, чтобы не чувствовать силы глаз Азима, и в этот миг за спиной Олана бабахнуло и зашипело. Толпа вздрогнула. Из дома резко потянуло похлебкой, и Олану больше всего захотелось иметь глаз на спине, как у болотного крокодила, чтобы увидеть, что же там, в доме, случилось. Но Обряд не позволял отвлекаться, и он остался неподвижен под взглядом Азима.

Азим не мог не слышать звука и не почувствовать запаха, но он только слегка запнулся.

— Помнишь ли ты, что смерть карает жизнь и что жизнь должна покарать смерть?

— Помню, Учитель!

— Мир тебе, брат! Возьми наш путь!

Азим отступил на свое место, Поридам извлек из ствола прочный стон, и толпа двинулась к последнему дому. Олан, не оглядываясь, сошел с порога и пристроился в хвосте процессии. Мальчик Хум семенил сбоку от него по траве и наподдавал ногой созревшие и выползшие на поверхность плоды земляного скрытыша.

«Кувшин разбился, — думал Олан, — это бесспорно. И он не мог просто так упасть и разбиться... Может, дух, собравшийся внутри, разбил его?» И запах приоткрывающегося неизведанного смешался для Олана с запахом варена из съедобных лиан.

Ход остановился внизу, перед Храмом, на выложенной каменными сколами площадке. Началась последняя часть Ритуала в тишине, заполненной лишь шелестом одежд.

Старик Мультазарим поднес Азиму корзину, где отливал на солнце желтыми крутыми боками спелый плод дерева Шим. Азим плавно поднял плод над головой, показывая жителям. Каждому хотелось быть поближе, и люди тесно окружили Азима и слепую пару кольцом. Олан видел Обряд не раз, но даже его охватило смутное влечение. Только мальчик Хум не интересовался зрелищем и стоял в стороне.

Удостоверившись, что все заняли надлежащие места и полны внимания, Азим торжественным жестом взялся за выступающий из вершины плода коричневый нарост. Начал осторожно поворачивать его, и негромкий хруст ломающейся корки пронизал толпу возбуждением.

Отделенная вместе с наростом спираль начала медленно раскручиваться внутри скорлупы, и коричневый уступ неровными толчками выдвигался на розовом толстом жгуте. Люди затаили дыхание.

— Смерть покрыла молчанием брата нашего Нона! — пропел Азим. — Жизнь покроет гласом молчание смерти!

И тут спираль внутри окончательно развернулась, жгут с треском вылетел из плода, обдав стоящих в первом ряду брызгами яркого сока. И у всех вырвался ликующий ритуальный вопль.

Азим окропил белые балахоны брачной пары. Возбуждение толпы сразу угасло. И еще до того, как Азим увел новобрачных в Храм, жители стали расходиться.

На площадке оставались еще Хум и светлоокая Юола. Приятное томительное чувство, всегда возникающее при встрече с ней, охватило Олана. Юола смутилась, встретив его взгляд.

— Когда смерть покроем молчанием старого человека, ты тоже пойдешь в Храм, Юола, — произнес Олан, и ему стало почему-то не по себе.

Девушка сорвалась и побежала в сторону Деревни. Олан взял за руку мальчика.

— Когда умирает человек, он уже не ловит рыбу и не рубит листья Тхе. Нельзя, чтобы нас было меньше.

— Я знаю, — равнодушно проронил Хум. — Это Обряд.

И Олан, который до того никогда не задумывался, но ощущал, что понимает, почему жителей Деревни должно быть постоянное число, теперь, желая это объяснить, почувствовал сомнения.

— Раз умер старый Нон, надо, чтобы появился новый человек. Когда Учитель открывает плод дерева Шим и кропит розовым соком одежду жены, у нее появляется ребенок...

По ладони мальчика Олан понял, что тому вовсе неинтересно.

— Передай деду Мальтазариму, что через три дня в озеро войдет рыба, — Олан отпустил его руку, и Хум, подпрыгивая, умчался по улице.

Олан лучше всех знал время, когда следовало готовиться к рубке листьев дерева Тхе. Он знал, будет ли завтра дождь и чем лечить пожелтевшего тхопама. Он чуял приближение рыбы по реке и созревание лиан. Он гордился всем этим и с радостью принимал уважение жителей Деревни. Но он не был счастлив, как Поридам, Мальтазарим и другие. Потому что его мучали вопросы.

Что Это — так странно пахнущее на Поляне? Почему надо строить Мост? Откуда — неприятно подумать — взялся Азим и куда пропадает все то, что они доставляют ему по Обряду?..

Олана тянуло увидеть, что же произошло с кувшином. Но одновременно он и боялся того «почему», которое его дома ждет. Он испытывал тоскливую тревогу, когда начинал серьезно размышлять об Обряде. О нем запрещалось размышлять. И Олан наказал себя: он миновал свой дом, решив сначала поговорить с Ницем. По дороге он нежно похлопал по боку переваливающуюся самку тхопама с двумя детенышами, которых вела девочка с края Деревни.

Ниц сидел за столом перед миской и при появлении Олана испуганно скособочился.

— Азим сердит на тебя, — сказал Олан, садясь напротив и продолжая ощущать разговор с Хумом и девочку, и самку тхопама. — Почему ты жуешь корень, Ниц?

Тот перекосялся еще больше...

— Все жуют...

— Ты знаешь, что нет. А если и жуют, то понемногу.

Ниц уткнулся в миску.

— Я не могу не жевать...

— Почему? Вот я не жую. И Поридам. И Гномин не жует.

— Я постараюсь больше не жевать... — неуверенно пообещал Ниц.

Олан встал, и Ниц тоже вскочил.

— Олан, ты мудрый, ты знаешь... Ниц осторожно подбирал слова, с надеждой и опаской ожидая реакции Олана. — Мы живем как-то... мы правильно живем?..

— Что-что?! — изумился Олан. Неужто и у Ница сомнения?

— Я больше не буду жевать! — испуганно повторил тот.

— Ну и хорошо. Приятно тебе повсть, Ниц.

Олан направился к своему дому и опять думал о самке тхеопаме с детенышами. И о том, что надо поговорить с новобращным Гноминном, когда он выйдет из Храма. И конечно, о кувшине.

Кувшин распался на мелкие осколки, которые с силой расшвыряло по комнате. На стенах и столе были потоки варева. И Олана осенило — дух в закрытом кувшине напрягается, как спираль в зрелом плоде Шим, и во что бы то ни стало хочет вырваться наружу!

Ровно в восемь часов двадцать две минуты сонар отключился и Реф проснулся. Он лежал с сомкнутыми веками, и перед ним продолжали плавать картины только что просмотренного боевика. Еще кровожадный Нунг-Фа впивался клыками в соблазнительные филейные части смуглой красавицы. Еще взрывался огромный пиратский космический корабль. Рука Рефа еще непроизвольно сжималась на рукоятке оружия, когда в восемь часов двадцать три с половиной минуты домашний компьютер включил свет в комнате. Реф открыл глаза.

В запасе было двадцать секунд. Он не поворачивал голову, потому что знал — увидит лицо спящей жены и ее локоть, выступающий из биопены. Ночные видения, которыми напшиговал его сонар, были, как всегда, сексуально насыщены. Но Реф знал, что его желания захлебнутся равнодушием, стоит ему повернуть голову. Поэтому он выждал ровно двадцать секунд, а затем привычным движением выпрыгнул из спальной ванны, стряхнул тяжелые теплые остатки биопены и зашел в кабину душа.

Неопределенным урчаньем Реф попытался выразить презрительное отношение к последним выпускам «Нунг-Фа» и предвкушение своего триумфа в Центре по поводу его наконец-то заработавшей дивно красивой и мощной программы шестимерного анализа. Вода внезапно иссякла, и на табло вспыхнуло: «Ваш

энергетический лимит исчерпан». Реф вздохнул, вспомнив объявленные вчера очередные меры по экономии энергии.

Компьютер не был перестроен на новый режим, и когда Реф вышел из кабинки, оставалась целая лишняя минута. Неторопливо, чтобы растянуть время, он пошел в туалетную комнату. Воздух сильно охлаждал кожу. «Неужели снизили температуру?» — думал он, доставая баллоны со спорами биомха. К одежде он относился спокойно, но мода есть мода и выглядеть деградирующим не годится. Поэтому он выбрал цвета героев последнего выпуска и, орудуя сразу двумя баллонами, лихо наложил на кожу перекрещивающиеся, чуть липковатые в первый момент полосы аэрозоля. До завтрака было сорок пять секунд. Реф ждал посреди спальни, ощущая щекотку от прорастающих спор мха.

Взгляд все же упал на спящую жену. Как ни вертись, ребенка им придется завести — истекает крайний месяц отсрочки, положенной по Закону. Мысль вызывала в нем панику. Он мог, наглотавшись возбуждающих препаратов, быть ее мужем. Но представление о ребенке резко отталкивало, и Реф тщетно пытался понять причину этого. Приходилось утешаться тем, что подобные сложности были у многих, — недаром существовал Закон.

Плита на кухне пискнула, давая знать, что завтрак готов. Ел Реф стоя: мох вырос всего сантиметра на три и мог смяться. Образ ребенка он отогнал. Впереди — приятный день в Центре и еще более приятный разговор с Зоандом.

До транспортного тоннеля надо было миновать триста квартир. Но Рефу нравилось целенаправленное движение, и он шагал с удовольствием, расправив плечи, а какой-то счетчик в мозгу механически фиксировал число шагов. До конца коридора их было тысяча пятьсот двадцать четыре.

Справа открылась одна из дверей, и Реф боковым зрением заметил молодую женщину. Она была в просторной матерчатой одежде — вот что его поразило. Есть, конечно, консервативные старики, но девушка? Реф ни на микросекунду не изменил ритма движения, однако с любопытством слушал шелест одежды. Девушка держалась метрах в двух позади. Так на фиксированном расстоянии друг от друга они достигли транспортного тоннеля. Реф набрал нужный ему код и шагнул в сторону, освобождая место. Но девушка не делала попытки заказать капсулу и чему-то улыбалась. Если улыбка относилась к нему, молчание выглядело бы нарочитым.

— Вам куда? — спросил он.

— Все равно, — она пожала плечами, и это простое движение странно колыхнуло голубую матерью. «Диковинно одевались древние», — с чувством превосходства подумал Реф. Он кивнул

на реплику девушки и тут же понял, что это неумная шутка — человеку не может быть нужно «все равно» куда. С шипением раздвинулись створки люка. Реф шагнул внутрь и потянулся к кнопке, чтобы закрыть капсулу, но девушка вопросительно стояла на пороге.

— Заходите, — пригласил Реф и остался доволен той точной — не большой, но и не маленькой — паузой, которую выдержал.

Его странная спутница опустилась в кресло напротив. Реф ухватился за подлокотники, капсула тронулась, набирая скорость и выталкивая его из кресла. Девушка сидела по ходу движения, и одежда, отброшенная назад инерцией, плотно облегла ее тело. Это выглядело необычно и... да, красиво.

— Вам не холодно... так вот?

— Холодно. И сковывает.

— Какую же цель вы преследуете?

— Мне не нравится биомох... А чем вы занимаетесь? — перевела она разговор.

— Я программист.

— И что вы программируете?

— Шестимерную динамику, например.

— Но... что это такое?

Реф выдержал паузу, достаточно длительную, чтобы дать почувствовать собеседнице ее неполноценность.

— Изменение системы в шестимерном пространстве.

— Разве мы живем в шестимерном пространстве?

— Иногда удобней считать его шестимерным, — скрывая внезапное раздражение, объяснил Реф. Труднее всего объяснить элементарную вещь.

— А что стоит за вашими шестимерными, вы знаете?

— Нет, — резко сказал Реф. — Не знаю.

Девушка удовлетворенно кивнула, будто того и ждала, и умолкла. Капсула начала тормозить, теперь уже ей приходилось держаться за кресло. Раскрылись створки люка, Реф кивнул и вышел. Дурацкий разговор почему-то подпортил настроение.

В кабинете Реф убедился, что прибыл за двадцать две секунды до положенного времени. Он помотался от стены до стены, настраиваясь на рабочий лад. Стол призывно тамнел экраном компьютерного терминала и кассетником с кристаллами. Рядом белел листок бумаги. Корявый почерк Зоанда: «Реф, вспомни меня, когда мне было сорок два! П.12106».

Нелепая записка. Реф не мог вспомнить Зоанда в сорок два, потому что работал в Центре всего четыре года, а Зоанду сорок

восемь. И что за «П.12106»?.. Допустим, это память на кристалле под номером 12106.

Для проверки Реф нашел кристалл, вложил в дешифратор, нажал раскрутку и отстукал на клавиатуре: «читать». Экран ответил надписью: «Закрыт доступ. Дай ключ». Информация была защищена шифром.

Реф попробовал кодовое слово, которым пользовался Зоанд, «цилиндр». «Ошибка в ключе» — парировал терминал. Похоже, случилось нечто неординарное. Зоанд не мальчик и не стал бы ссылаться на кристалл, неведомо как зашифрованный.

«Вспомни меня, когда мне было сорок два». Воспоминаний нет, следовательно, смысла фразы иной. «Вспомни»... Раз суть в кристалле, то значение этого слова скорей всего: «Прочти кристалл». Остальная часть фразы тогда может играть роль ключа. И если ключ имеет своей частью число сорок два, то естественно предположить, что другая часть — «Зоанд». И Реф набрал «42 ЗОАНД».

«Ошибка в ключе», — загорелось на экране.

«ЗОАНД 42». На сей раз в точку. Экран мигнул и появился текст: «Реф! У меня дело — займет дня два-три. Надо, чтобы до моего возвращения не возникло мысли о розыске. Пожалуйста, позвони Йоне. Шефу сам придумай, что сказать. Заранее благодарен!»

И текст исчез. «Даже запрограммировал стирание кристалла!» — ахнул Реф.

Его огорчило, что предакушаемый разговор с Зоандом откладывается. Но тревоги, как он потом вспоминал, не возникло. Жену Зоанда он застал дома.

— Привет, Йона! Зоанду срочно потребовалось уехать на два-три дня.

— Ну вот! Я его просила посмотреть, что с кухонным компьютером! — раздраженно произнесла та. — Придется вызывать наладчика! — и видеотелефон отключился без «до свидания».

Все жены похожи, но Йона — не из лучших. Реф обратился к внутреннему каналу.

— Здравствуйте, шеф. У Зоанда затруднения, он уехал.

Лицо старика перекошилось, губы дернулись, обнажая неестественной белизны искусственные зубы. Он прикрыл глаза от напряжения.

— Х... х... хорошо, Р... Реф. Как... Как... т-твоя...

— Можете меня поздравить! Работает блестяще. На контрольных прогонах не дала ни одного аварийного сбоя!

Старик как-то смутно посмотрел на Рефа, кивнул и явно хо-

тел что-то добавить. Физиономия его вновь приняла мученическое выражение.

— Как... как... т-твоя... ж-ж-жизнь, Реф?

— Спасибо, отлично, — стараясь скрыть удивление, ответил тот.

Старик почему-то печально кивнул головой.

«Совсем стар, — подумал Реф. — Но интеллект могучий».

Сверившись с табло, Реф обнаружил, что потеряно огромное количество времени. Он вынул кристалл Зоанда, поставил свой и еще раз перечитал программу. Она была безусловно хороша, но в двух местах Реф свежим глазом отметил части, похожие по своему строению. И с возбуждением понял, что их можно выделить в один блок, сэкономив, таким образом, по крайней мере килобайт оперативной памяти. Он вызвал на свой терминальный компьютер резидента оперативного отладчика и с его помощью в рекордный срок перемонтировал программу. Экономия оказалась даже больше, чем по предварительной прикидке! Досадное отсутствие друга, который мог оценить изобретательность, возвратило мысли Рефа к его исчезновению. Помнится, он все возился со старой картой Города...

На схеме жилых секторов и транспортных магистралей Реф обнаружил многочисленные загадочные значки, нанесенные от руки. Значки соединялись иногда стрелками, а в углу карты столбиком выстроились шестизначные цифры.

Реф кинул карту на стол. Оставались секунды до обеденного перерыва.

В баре было малоллюдно, и Реф сразу получил Тхем. Расколов оболочку, понял, что есть ему не хочется. История с Зоандом выбила-таки его из колен. Но Реф все же аккуратно выскреб содержимое и, идя к выходу, неожиданно для себя приостановился у разговорного автомата.

— Неважное настроение.

— Это потому, что вам не сопутствует в жизни удача, — предположил робот.

— А что такое удача?

— Когда происходит то, чего желаешь.

— А чего надо желать в жизни? — с профессиональным интересом к электронному модулю робота спросил Реф.

— Удачи.

Обычный логический цикл с глубиной в два порядка. Негусто.

Олан пересек два Луга, миновал каменистые Пригорки, откуда таскали на тхеопамах камни для Моста, прошел краем Болота и свернул на древнюю Просеку.

Впервые он попал сюда два года назад, когда искал пропавшего тхеопамы. Тогда лес пугал его каждым шорохом. Сейчас Олан шагал уверенно и не обращал внимания ни на белых крокодилов, ни на птиц, роняющих кожуру плодов с ветвей. Последние недели он бывал здесь раз шесть, и ноги ступали сами собой, а мысли были заняты духовой Машинной, для работы которой не хватало уже только двух частей.

С Просеки ему предстояло свернуть вправо и пройти вдоль глубокой канавы, над которой вились мелкие кусающиеся насекомые. Им не было названия, потому что в Деревне такие не водились.

Олан не заметил, как свернул, ему очень ярко представилось, какой формы должен быть нужный рычаг, и он даже припомнил, где видел подобный предмет на Поляне. Он был настолько увлечен, что не сразу распознал в подрагивающем комке за деревьями шагах в десяти очертания гнурий, самца и самки. Сплетаясь, они лежали на траве, и Олан хорошо видел бессмысленные сейчас, но такие злобные в обычном состоянии глаза самца. Внезапно тела дернулись и оказались в воздухе, поднимаемые беспорядочными ударами хвостов. Зная, что в этот момент они не опасны, Олан прошел мимо.

Еще не кончился лес, но он уже чуял странный запах, от которого становились влажными ладони и напрягались мышцы на спине. Вид Поляны с нагромождениями металла и на сей раз встряхнул его изумлением. Нигде больше в лесу такого нет, а здесь есть. Деревья растут везде, везде ползают гнурии, везде летают птицы. А Этого — неживого, тяжело пахнущего больше нигде не встречается!

Олан осторожно лавировал в нагромождении застывших конструкций. Обогнул несколько громадных — гораздо больше крупного тхеопамы — груд и приблизился к запомнившейся куче отдельных предметов. Они были самой разной формы, поражающей воображение.

Олан присел, чтобы дотянуться до круглого обрезка без сердцевинки и тонкого длинного прута, в расплющенных концах которого светились два отверстия. Он безошибочно чувствовал: это именно то, что нужно! Пондобнее ухватил свои находки и понес их к Олушке. Не хотелось попадаться на глаза жителям, а тем более Азиму, — лучше пробраться к дому сзади, со стороны Ручья.

С приближением к Деревне образ духовой Машинной становился все ярче, и Олан зашлепал. Он уже втянул ноздрями запах воды, когда услышал плеск.

На отмели стояла девушка и поливала себе плечи из черпа-

ка. Олан в замешательстве прирос к месту. Обряд не позволял смотреть на купящихся женщин. Олан, и не видя ее лица, чувствовал, что это Юола, как мог бы узнать любого другого жителя. Смотреть на нее было приятно.

Но вот, ощутив чье-то присутствие, девушка схватила одежду и убежала. А Олан все медлил на берегу с тем же сомнением, которое вызвали у него однажды, в разговоре с Хумом, размышления об Обряде. «Мужчине можно видеть обнаженного мужчину. Женщине — можно женщину. Но нельзя мужчине и женщине, потому... потому что они не совсем похожи...» Где-то совсем близко таилась разгадка очередного «почему».

Даже когда Олан вернулся в хижину и вновь перед глазами была духовая Машина, тоскливый привкус непонимания не покидал его. В голове проносились обрывочные видения — свадебный Ритуал, пара гнурий в лесу, Юола... Олан вышел на улицу и лишь по дороге сообразил, что идет к Гномину.

Самка тхвопама как раз несла яйца. Гномин, польщенный визитом Олана, отложил было совок для яиц и молча ждал, что скажет гость, как предписывала пристойность в общении со старшими. Олан жестом попросил его продолжать работу. Он колебался, как задать свой вопрос.

— У твоей жены будет ребенок, — начал он наконец.

Гномин радостно кивнул.

— А ты хорошо помнишь день свадьбы?

— Конечно, мы шли и останавливались у домов, а Поридам тру...

— Нет, потом, в Храме?

Только уважение к мудрости Олана побудило Гномина на дальнейший рассказ: все, связанное с Храмом, не обсуждалось.

— Учитель велел нам снять покрывала... и было очень светло, — зашептал он. — А Учитель велел смотреть ему в глаза и говорил что-то... А потом я перестал видеть... Ну а после оказалось, что уже вечер, и мы пришли домой... Я был очень голодный и усталый.

Больше он не помнил ничего. Олан вежливо поблагодарил.

Он сидел перед духовой Машиной, и постепенно ее образ вытеснял неразрешимые «почему». Руки вертели принесенный стержень, прикладывали так и эдак и, найдя верное положение, начали аккуратно сцеплять его с отдельно торчавшими до того рычагами. Вторая деталь оказалась чуть великовата, и пришлось немало повозиться, пока все уладилось. И наконец настал момент, когда, откинувшись назад и осмотрев получившееся, Олан почувствовал, что опыт, который он задумал, теперь удастся.

Он подвинул Машину ближе к очагу, так, чтобы часть ее,

похожая на пустой плод Тхе, зависла над огнем. Не в силах сидеть спокойно, пока вода нагреется, он нервно почесывал колени.

Машина была неподвижна. От ожидания у Олана зачесалось все тело. Он же в и д е л, как она должна работать!

И вдруг стронулось: Машина заворочала рычагами, как ворочает лапами подкрадывающийся крокодил. Потом раздался щелчок, вырвался со свистом клуб пара — рычаги двинулись в противоположную сторону — уже быстрее. Еще один клуб пара. Машина лязгнула и, набирая скорость, замотала отсвечивающими в бликах пламени лапами. Восторг наполнил ум и тело Олана. Он приплясывал на месте, и только когда Машина чересчур загрохотала, оттащил ее от очага, боясь привлечь раньше времени внимание соседей.

Олан был уверен в Машине. И все же случившееся потрясло его. Он смотрел на Машину по-новому. Она отличалась от всего, что было привычным. Трава, тхеопамы, рыбы — все это существовало помимо Олана. А Машина не существовала, ее сделал Олан. Конечно, он, как и все, вытесывал рубила и топоры, мог построить хижину и сшить одежду. Но Олан чувствовал резкую разницу между всем этим и Машинной.

Он вспомнил, что с утра ничего не ел, и закатил поближе к огню пару яиц. Родилась четкая мысль: Машина отличалась от всего остального мира так же, как отличалось находящееся на Поляне, которое, значит, тоже могло некогда быть Машинной, созданной кем-то.

Надо спросить Учителя. Сейчас, во время обеда, Азим скорее всего в Храме.

Азим вышел на ступени, приготовился слушать. И тут со всех ног прибежал Поридам.

— Там мертвый человек... весь... весь... лежит!

Учитель помраччел.

— Кто?

— Это не наш человек... весь... весь в шерсти!

Азим вскинул руки к вискам.

— Веди! Олан, ты со мной.

За каменистыми Пригорками Поридам свернул к Болоту и повел их по тропинке, которой ходили жители на ловлю крокодилов. Но сезон был еще далеко, и тропинка заросла травой.

Миновав два крокодилийх брода, Поридам остановился. Впереди среди зелени выделялось невиданных цветов пятно. Азим быстрым шагом направился к нему. Под яркими полосами Олан уловил очертания человеческой фигуры. Человек лежал на животе. Вся кожа, кроме головы и пальцев, была покрыта густой шерстью, словно у луговой змеи ум. От этого зрелища Олан пере-

стал чувствовать свое тело, остались только мокрые ладони и глаза.

Азим снял с запястья мертвеца маленький блестящий предмет и приказал Олану приблизиться. Тот увидел в лице Учителя глубокое страдание.

— Бери! — указал Азим на ноги.

Поборов ужас, Олан ухватился за лодыжки. Азим поднял труп спереди. Они стали спускаться, пока не достигли края трясины — Олан не решался думать о том, что собирается делать Азим.

— Бросаем! — сказал Азим глухо.

Они размахнулись, и подернутая мхом топь приняла тело. Какое-то мгновение оно лежало плашмя, а потом ноги провалились вниз, и труп начал подниматься, будто пытается встать. Тело быстро тонуло, и в последний момент Олану почудилось, что мертвец напоминает кого-то.

Трясина сомкнулась, Олан перевел глаза на Азима и понял: тот же длинный подбородок и странно высокий лоб!

Азим резко отвернулся и тронулся вверх к окаменевшему серому Поридаму.

— Поридам! Олан!

У Азима стало неподвижное и все время меняющееся, как во время Ритуала, лицо.

— Здесь не было никакого мертвого человека! Поридам?

— Но... он тут лежал...

— Здесь никого нет!

— Нет... — эхом отозвался Поридам.

— Ты видел что-нибудь, Олан?

— Нет, — сказал Олан. — Я не видел.

Наблюдать за работой электронного графопостроителя было довольно скучно. «Счет варианта 567» — появлялась на экране терминала очередная реплика большого компьютера Центра. «Процессорное время...» — и начиналось перемигивание таймера. «Закончен вариант 567» — раздавалось попискивание — это лазерный карандаш рисовал на изопластине полученный результат. Затем графопостроитель скидывал пластину, ставил чистую, и начиналось снова: «Счет варианта 568...»

Реф прошелся по кабинету. Теперь, когда программа работала, он чувствовал свою придаточность к Большому. Почти ненужность. Он набрал на видеофоне номер жены.

— Привет! Как у тебя?

Она чуть повернула окуляр к схеме энергетики Города, переливавшейся светящимися точками.

— Обычная нервотрепка: каждую минуту ждешь, что все начнет разваливаться.

— Йона не звонила?

— А почему она должна звонить?

Линза мигнула — на ней проступило лицо шефа.

— 3-э... — он помолчал, собираясь с силами. — С-с-сколько?

— Пятьсот семидесятый идет, — ответил Реф.

— Л-ладно. Н-н-неси... с-сюда.

В кабинете шефа, кроме него самого, глубоко и неподвижно сидевшего в кресле, Реф застал человек десять, из которых только двое были знакомы ему. Но и этого хватило, чтобы почувствовать уважительное недоумение. Одним был директор энергетической комиссии Гритс, вторым — Имеэл, генеральный конструктор сектора космических исследований.

Реф невольно притормозил на пороге. Шеф сделал приглашающий жест и предложил продемонстрировать изопластины. Все окружили стол. Реф вынимая из кассеты пластины, рядами раскладывал по блестящей металлической поверхности, пока не занял ее всю.

— Точность, насколько можно судить, очень большая, — заметил кто-то незнакомый.

— Да, у нас результат был хуже, — сказал Имеэл. — Но принципиальной разницы нет. Нет принципиальной разницы.

Реф убедился, что большинство изучает графики очень пристально — очевидно, в них содержалось нечто весьма для них важное.

— В-все т-т-то же, — выдавил шеф.

Присутствующие расселись по креслам, а Реф, не зная, что делать, стоял.

— Мы обязаны поздравить нашего коллегу, — сказал Имеэл. — И поблагодарить за блестящие результаты...

— С-с-спасибо, Реф. Иди, — распорядился шеф.

«Закончен вариант 596» — стояло на экране, когда Реф вернулся к себе. И сразу записал графопостроитель.

Реф автоматически бросил взгляд на табло. До обеденного перерыва сорок восемь секунд. Есть время подумать. Кто были те люди, которые чувствовали себя равными с Гритсом и Имеэлом и с таким волнением изучали графики, полученные его программой? Реф смаковал гордость за свою работу, но ему хотелось бы знать, в чем, собственно, ее важность?..

В меню оказалось опять всего одно блюдо — Тхем, и, разбивая твердую оболочку, Реф первый раз в жизни подумал, что помнит Тхем с раннего детства именно таким. Менялись моды на цвета и густоту биомха; появлялись и исчезали персонажи ноч-

ных видений; совершенствовалась конструкция капсул. А Тем всегда оставался тем же: круглый, белый с разноцветными прожилками. Будто трудно изменить хоть упаковку!

Едва Реф возвратился, как его снова вызвал шеф.

— Пообедал? — протяжно спросил он. — Зайди ко мне, будь добр.

Эге, случилось нечто серьезное, раз он позволил себе принять снимающее голосовые судороги, но очень вредное лекарство!

Старик был уже один.

— Ты сделал действительно отличную программу, Реф, — сказал он и замолчал так надолго, что Рефу стало не по себе.

— Вот что, — наконец произнес шеф. — Сними счет с Большого. Собери полученные варианты и вместе с программой сдай на хранение.

Реф, потрясенный, не находил слов. Потом многолетняя привычка не спрашивать дала сбой. Он заговорил толчками:

— Шеф... в чем суть... что обрабатывала моя программа?

Старик медленно поднялся и сделал совершенно невероятную вещь — сел на стол так, что ноги болтались над полом.

— Ладно, скажу. Это был теоретический просчет возможности тяжелого синтеза.

Судя по выражению физиономии, он получил истинное удовольствие от недоумения Рефа.

— Мы ограничивали себя во всем, чтобы успеть найти новый источник энергии. Когда еще только начали жечь уран, поняли, что даже его надолго не хватит — на энергии распада не протянешь. Единственной перспективой был синтез. А ты еще раз считал, что синтез для промышленного выхода энергии невозможен... Вот так, — шеф сполз со стола, лицо его приняло обычные старческие очертания, и он опустился в кресло.

— Вот еще что, — отвернувшись, промолвил он. — Из всех нас, по-моему, только ты знаком с женой Зоанда... тебе предстоит съездить к ней и сообщить, что Зоанд погиб.

Старик положил на стол блок-жетон.

Реф похолодел от нового удара. Но в голове поворачивалась единственная идиотская мысль: до чего странно выглядит жетон отдельно от человека.

— Все, — ровным голосом сказал шеф. — Иди.

Реф взял жетон, спустился на свой этаж, отдал приказ Большому прекратить счет. Сложил в контейнер изопластины. Вышел в коридор, сел в лифт и нажал кнопку самого нижнего яруса.

В длинном тоннеле стены, потолок и пол покрывал мягкий пористый звукоизолятор. Реф находился в глубоких недрах, под

чередной коробкой Большого. Сквозь метровые стены чудилось бармотанье миллиардов электронных мыслей. Пройдя метров пятьсот, он завернул в коридор поуже и в конце его нашел дверь с ужасной в своей простоте надписью: «Архив»...

Вечером Реф застал жену лежащей на тихонько жужжавшем виброматрасе. Она забавлялась механической змеей. Игрушка пыталась заползти ей на живот, а жена с улыбкой спихивала ее обратно.

— Ты сегодня рано, — встретила она Рефа. — Что-нибудь стряслось?

— Ничего особенного.

— Голодный?

— Пожалуй.

Жена страхнула змею и пошла к плите. Игрушка, запрограммированная на постоянное движение, порывав по комнате, наткнулась на ногу Рефа и винтом поползла вверх. Он с силой отшвырнул ее в угол.

— Реф, милый, — донеслось от плиты, — насчет ребенка... комиссия мне сегодня напомнила. Иначе могут быть неприятности. — Она на секунду замаялась. — И знаешь, надо бы не медлить. Будет надежнее по срокам.

— Хорошо, — буркнул Реф.

Он вл долго, растягивая время. Потом медленно выпил два стакана теплого калорийного концентрата. Жена сидела на матрасе и сочувственно смотрела на него. Бросив пустой стаканчик в утилизатор, Реф прошелся по комнате. «Как тесно! Как везде отвратительно тесно!» — вдруг подумал он.

— Очень устал за день?

Реф остановился и упрямо качнул головой. Тогда жена выключила змею, достала флакон. Реф проглотил две таблетки. Через минуту мысли его стали затуманиваться. Внутри выростало что-то звериное, хрипящее, злобное. Предметы вокруг расплывались. Осталась лишь женщина на матрасе.

Когда все кончилось, он разжал руки, и жена осторожно высвободилась.

— Я испортил твой костюм, — сказал Реф, отводя глаза.

— Ничего, не сильно...

Против обыкновения в сон не клонило, и Реф понял, что находится в квартире ему не под силу.

— Извини, у меня, есть дело. Часа на полтора.

В коридоре, пока он машинально считал шаги, почему-то всплыло число «847». Ах да, именно здесь появилась девушка в матерчатой одежде. Не похожая на других.

Смутно желая чего-то, Реф толкнул дверь, та поддалась —

и шагнул в квартиру. Ну и ну! Весь пол и стены были покрыты слоем зеленого биомха, а посреди стояла на четвереньках девушка, в которой он не сразу узнал свою случайную попутчицу: она украсила себя розовым биопухом, годным лишь для младенцев.

Девушка встала на ноги, и Реф смутился — слишком коротким и просвечивающим был пух.

— Ты этот... шестимерный? — прищурилась она. — Я тебя помню... Меня зовут Соат, — девушка пьяно качнулась. — Ты не знаешь, почему все так погано? Нет?... Тогда зачем ты?..

Действительно, зачем? Реф прикрыл за собой дверь и двинулся к транспортному тоннелю.

Капсула не появлялась странно долго. Когда он наконец-то ее дождался, то ощутил раздвоенность: единственное место, куда он мог сейчас разумно направиться, это квартира Зоанда; но существовало нечто иное, тянувшее своей неопределенностью.

«Второй сегмент Северного А, 245» — набрала его рука. Набрала ми с того ни с сего, Реф точно знал, что никогда туда не ездил, там не было ничего, что имело бы отношение к его жизни...

Капсуле открылась в коридор, освещенный тусклыми редкими плафонами. На полу лежал слой пыли. Сам воздух имел словно бы мертвый привкус. Отопительная система не действовала, лифты тоже. Здание было пусто.

Не зная, чего ищет, Реф медлил, но его продолжало толкать вперед — к аварийной лестнице.

На втором, третьем и четвертом этажах коридоры были темны. На пятом вдалеке виднелся свет. Некое подобие цели.

Мозг привычно считал шаги, а сознание было придавлено грузом вопросов. Как, отчего погиб Зоанд? Почему он, Реф, обязан иметь ребенка? Знает ли комиссия, что Город обречен? Городу грозит гибель. Но через пять лет? Через пять поколений? Почему шеф так легко открыл вдруг тайну за семью печатями?..

Реф достиг освещенной двери. Обычная комната, и в ней мальчик лет двенадцати, толстый от неряшливо наляпанных один поверх другого слоев биомха. Мальчик разглядывал Рефа благожелательно и оценивающе.

— Ты что тут делаешь? — с недоумением спросил Реф.

— Ужин делаю.

— Но... твои родители?..

— Вы есть не хотите? А то у меня целая гора ужинов, — мальчик увел разговор в сторону.

— Нет, я поел, — Реф переступил порог.

Здесь кое-как обитали — горел глазок морозильной камеры, в ванне болтались лохмотья пены. Мальчик возился у плиты.

— Ты совсем-совсем один живешь? — допытывался Реф.

— Да мне не скучно. Только холодно... Если еще ко мне зайдете, принесите баллон с мхом. А то мерзну.

— Садись, Олан! — приказал Азим.

Олан не раз гадал, что находится внутри Храма. Но представление о чем-то мистическом совершенно не соответствовало действительности: ярко и неведомо освещенное помещение Храма заполняли вполне конкретные по очертаниям, хотя и непонятные предметы.

— Садись! — повторил Учитель.

Олан почтительно опустился на табурет перед Азимом, сидевшим в углублении массивного пушистого валуна.

— Ты построил двигатель?

Олан понял, что речь о духовой Машине.

— Да, Учитель.

— Ты ходил на Поляну? — кажется, с интересом спросил Азим. — А ведь Обряд запрещает это!

Олан опустил голову.

— Послушай, Олан. Ты мудрый, и я за это чту тебя.

— Да, Учитель...

— Но ты не можешь знать того, что знаю я. Ты не ведаешь, что есть добро, а что есть зло. Я мог бы разрушить твой двигатель, Олан. Но я хочу, чтобы ты поверил мне и сделал это по своей воле.

— Но моя Машина мелет для всех муку из лиан! — обнадеженный его добродушным тоном, решился подать голос Олан. — Не надо больше до боли в спине крутить жернов. Где зло? Объясни, Учитель!

— Меня огорчает, что ты не хочешь просто верить... Сейчас твоя мельница добро. И если б дело было в ней одной, я бы ничего не имел против. Но подумай, что тебе придет в голову соорудить... ну, предположим, механического тхеопана для таскания камней...

Олан в ошеломлении уставился на Азима. Тот улыбнулся.

— Или механическую птицу, чтобы летать над лесом. Как ты считаешь, было бы это добром?

— О, да... — едва смог произнести Олан, пораженный невероятными, но удивительно ярко представившимися ему картинками.

— Однако на том не кончилось бы. Ты захочешь и верильщика похлебки, и рубильщика листьев Тхе, и резальщика лиан...

— Разве это возможно? — задохнулся Олан.

— Возможно, — уже раздражаясь, сказал Азим. — Не ты, так

твои дети или дети твоих детей. И это будет уже злом, которое не остановить!

— Я не понимаю! — возбужденный тем немислимым, что взорвалось в его голове, возразил Олан. — Если Мельница — добро, то Рубильщик и Птица — тоже добро!

— Прислушайся. Почему работает твоя машина? Потому что под котлом горят дрова. Твоя птица тоже должна что-то есть. И она будет есть... те же дрова, если хочешь. И тебе не хватит дров на всех птиц, тхеопамов и рубильщиков.

— Вокруг Деревни лес во все стороны, Учитель!

— В лесу существуют еще деревни — там, там и там! В каждой заведется свой Олан. Вам всем леса не хватит!

— Я не верю тебе! — воскликнул Олан, вдруг почувствовав свою силу. — Деревья вырастают каждый год, дров всегда будет сколько угодно! — он видел, что не с гневом, а с печалью внимает ему Азим.

— Прислушайся, Олан! Вот Поридам, Гномин, Юола или ты сам. Вы живете, соблюдая Обряд, и вы счастливы. Так жил и умерший Нон, и так прожил старик Мультазарим. Так жили до них. Было так, так есть, и было так, как будет — говорит Обряд. Подумай, разве это не была счастливая жизнь?

— Это так... — вынужден был согласиться Олан.

— Но если она была счастливой, зачем менять ее!

— Когда не придется вертеть жернова и надрываться, закатывая камни на спину тхеопаму, она станет еще лучше! — Олан чувствовал прилив воинственной энергии, как в пору охоты на болотного крокодила. — Ты говоришь, что Обряд нужен ради того, чтобы сделать счастливой жизнь. Тогда объясни, зачем мы строим Мост через топь? Зачем отдаем тебе столько яиц тхеопаму? Ты говоришь, что я должен верить. Но я сомневаюсь!

Лицо Азима стало ритуальным — оно было неподвижно, и оно неуловимо менялось, было расслаблено, но напряжено.

— Твоя машина — зло, — произнес Азим негромко, и Олан осекся, будто уколовшись о звук его голоса.

— Ты разрушишь ее и никогда больше не пойдешь на Поляну...

Олан не различал уже Азима, только мерцание черной бездны в его зрачках. Это мерцание сковывало Олана, но та сила, которая взорвалась в нем, клочкотала и требовала выхода.

Олан с трудом двинул головой и снова увидел Храм и Азима, и его побелевшие пальцы, вцепившиеся в пушистый валун.

— Ты должен разрушить свою машину и забыть...

— Нет!

Азим откинулся назад, все мускулы его расслабились, и Олану померещилось, что Учитель умер. Страх сжал его сердце.

Но вот Азим вздохнул и выпрямился.

— Чтобы понять все, тебе не хватит жизни, — устало и безнадёжно промолвил он.

Олан понял, что поборол, одолел Учителя. И что больше тот ничего не скажет. Он охватил последним жадным взглядом загадочные предметы в Храме и вышел наружу.

Жители толпились возле его хижины. Лица были повернуты в сторону Храма, и Олан понял, что его ждут. Под котлом духовой Мельницы еще тлели угли.

Олан не знал, как сказать то, что буквально рвалось из него. Он сглотнул несколько раз, прежде чем начать.

— Обряд запрещал ходить на Поляну, — наконец удалось выговорить ему. — Но я был там! Обряд говорил, что нельзя делать ничего, кроме того, что нужно делать. А я сделал Машину. Теперь никому не надо с утра до вечера вертеть жернов. Машина будет делать это за всех!.. Обряд приказывал нам строить Мост, заставляя отдавать съестное Азиму. Но зачем?

Остановившись, Олан обвел взглядом толпу. Да, в лицах был испуг, но в них были доверие и то возбуждение, которое наступает в громкие дни крокодильей охоты. И Олан чувствовал, что может теперь ничего не опасаться.

— Братья! Обряд обманывал нас! — крикнул он, и толпа качнулась, выдохнула и замерла. — Мы не будем больше катать валуны! Не будем отдавать пищу Азиму! Все, что приказывал нам Обряд, — это пелена, закрывавшая от нас свободную жизнь! Азим совершал брачный Ритуал, и мы верили, что именно от сока Тхе рождается новый человек. Но это ложь! Мы все знаем, почему самка тхеопамы начинает нести яйца, а из живота гнурри появляются маленькие ящерицы. То же самое должно произойти с мужчиной и женщиной, чтобы появился ребенок!

Радость от исчезновения пелены проступала на смятенных лицах. И Олан закричал охрипшим голосом, чтобы окончательно перевернуть людей и заставить поверить, что наступила новая пора.

— Я показал вам, как мелет духовая Машина! Но это только начало! Я сделаю механических рубильщиков листьев Тхе! А потом механических птиц, чтобы летать! И ловца крокодилов — никто не будет больше перекушен зубами, как старый Нон! Радуйтесь!

Толпа подалась вперед, и раздался потрясший Деревню клич:

— Олан! Олан!

— На Поляну! — воскликнул он, и толпа повиновалась, как тело повинует мысли.

Они были на Поляне, и Олан командовал, показывая, что ему нужно. Жители в общем порыве растаскивали груды металла и выбирали ношу, которую способны были донести.

А через два часа лязг стоял уже у дома Олана, где росла гора добычи. По Деревне полз запах металла.

Олан не помнил дальнейших дней, не помнил, что ел и как спал. При ослепительном свете, сиявшем впереди, окружающие люди казались теньями. И даже Азим, который что-то говорил и смотрел скорбными глазами, даже он промелькнул, как бледная тень птицы, летящей над землей.

Олан создавал механического Рубильщика. Мысль его становилась резкой и пронизывающей. Легко и естественно он отбросил идею о духовом Двигателе, который был в мельнице. Ему нужен был новый дух, куда более сильный. Олан не заметил, как научился раскалять металл, чтобы тот становился мягким, словно лист с дерева, и как смог соединять один кусок с другим. Сила, исходившая от Олана, заставляла предметы подчиняться. И огромная — больше тхеопамы — машина выросла во дворе его дома.

День, когда Олан понял, что машина закончена и ждет оживления, наступил тоже незаметно. Утром, выбежав из хижины, он вдруг осознал, что делать больше ничего не нужно. Рубильщик готов.

Олан обошел несколько раз вокруг, испытывая изумление и восторг перед сделанным, и к нему постепенно возвращалось восприятие окружающего мира. Он увидел, что ярко светит солнце, но стало прохладнее — приближалась осень. Он увидел дом Ница и удивился тхеопаму, бредущему без присмотра.

Мальчик Хум сидел перед Мельницей. Рядом располагались корзины с сушеными лианами и полные чашки муки — столько полных чашек, сколько раньше никому и не снилось.

— Я сделал его, Хум! — порывисто сказал Олан.

— Ага, — бросил мальчик довольно равнодушно.

Ах, этот бесчувственный Хум! С кем же поделиться радостью?

Олан кинулся в ближайший дом. Ниц уютно лежал на топчане. То был как будто не Ниц, потому что Олан не чувствовал его. Ниц спал, и это было странно, ведь давно утро.

Олан потряс его.

— А, Великий Олан, — пробормотал тот, просыпаясь.

— Ниц, я сделал его!

— Мы не сомневались, Великий Олан! — Ниц осторожно спустил ноги на пол — проверить, может ли стоять, не шатаясь. — Скажи, он будет нести яйца?

Олан засмеялся.

— Конечно, нет! Это же Рубильщик листьев!

— О, Великий Олан!.. Прости... мне немножко... — качнувшись, он ухватился за бревно.

«Снова жевал дьявольский корень!» — Олан в сердцах вышел вон. Внимание его привлекли женские стоны, доносившиеся из дома Гнома. «Настало время рожать его жене, — обрадовался Олан. — Ребенок в Деревне — большой праздник. А этот ребенок будет жить не так, как Мультазарим или Нон», — гордо подумал Олан.

Вспомнив Мультазарима, Олан вспомнил Юолу и свернул к дому напротив. Сначала он не мог разобрать ничего в полумраке — ставни были почему-то прикрыты и слышал только неровное дыхание. И опять он не чувствовал, кто это дышит. Потом в углу скрипнул деревянный пол. Олан освоился в темноте и различил лицо Даема. Различил обнаженную женскую спину и распущенные волосы, и в его памяти вспыхнул тот день, когда он прятался за кустами на берегу ручья.

Олан попытался за порог, отвернулся. Увидел Мультазарима. Тот сидел на скамейке, привалясь к забору. Старик был мертв. Солнце просвечивало сквозь бескровное ухо.

Непонятное и страшное, что предстало перед Оланом, холодной дрожью приближающейся опасности проникло в него.

Он побежал к висящему в центре Деревни надутому крокодилему пузырю и ударил по нему колотушкой. Ухающие звуки разносились далеко по окрестности, и жители стали собираться.

Олана поразила их полнота, лоснящиеся щеки и ленивые глаза. В воздухе явственно ощущался запах дьявольского корня. Судя по виду, у многих женщин должны были родиться дети. Олан вглядывался в людей. Они были те же и одновременно совсем другие. Олан их не чувствовал и не знал, что этим — другим — сказать.

— Братья... я сделал Рубильщика листьев Тхе! — Олан вложил в это всю радость и надежду, которые у него оставались. Толпу охватило веселое оживление.

— Мы верим в тебя, Великий Олан! — выступил вперед Поридам. — Ты сделал Великого Рубильщика и сделаешь Великого Тхеопаму и Великого Ловца крокодилов. Ведь это правда, Олан!

Олан кивнул.

— Мы счастливы! Мы больше не таскаем камни для Моста, не пасем тхеопамов и не отдаем ничего Азиму! Посмотри! — Поридам простер руку.

На месте Храма чернела горелая проплешина.

— Великий Олан! — завопил Поридам, и жители стали опускаться на колени. — Великий Олан! Пусть поскорее появится

механический тхеопам, потому что живые несут все меньше лиц!..

— Где Азим?

— Он... мешал нам сбросить пелену!

Олан содрогнулся. Он слепо шагнул вперед, и толпа расступилась, давая ему дорогу. Он брел к дому и чувствовал, что его Машина ужасна. Она дала сытость и довольство, но не счастье, нет, а распад всего, что он знал и любил!..

Он стоял перед Машинной и чувствовал, что она прекрасна. Вопреки непогребенному Мультазариму, вопреки Юоло, вопреки запаху адского корня и мрачному пепелищу Храма. Она была прекрасна, но не принадлежала этому миру, как не принадлежал ему уже Олан.

Он не заметил, как рядом оказался Хум и как они пошли по Дороге, взявшись за руки. Он постиг: все, что он делал, было неправильно и не так. Убогие дрова и убогий новый дух, взрывавшийся в Рубильщике. И даже то, что привиделось на днях: разлетающиеся на разноцветные шарики большие серые массы — это тоже было не то.

Олан понял, от чего пытался предостеречь его Учитель. Но пути, ведущего к истине, не видел.

Ощущая только зов куда-то, осязая теплую ладонку Хума, Олан вошел в длинную, тесную, открытую лишь вперед темноту.

Автоматы начали сопротивляться Рефу. То капсула вместо заданного направления устремлялась в противоположную сторону. Теперь компьютер бара выдал не заказанный Тхем, а стаканчик белкового концентрата. Ладно, плевать. Лицо полубезумной Соат, которую утром двое санитаров вели под руки, до сих пор маячило у Рефа перед глазами. Откуда только люди достают Ко-рень? Ведь он запрещен и не продается легально.

Мелкими глотками Реф пил концентрат, тоскуя от одиночества, которого прежде не замечал. Им овладевало убеждение, что он как-то перестал вписываться в привычный порядок вещей.

Домой ехать не хотелось, Центр непоправимо опустел без Зованда, но беспокойство погнало Рефа к транспортному тоннелю. Адреса, куда он хотел бы добраться, Реф не знал. Но — вероятно — капсула тронулась без приказа, и Реф с холодным любопытством наблюдал за табло-ориентиром: куда мчит его внезапно проявивший собственную волю металл?

Еще до того как торможение вдавило его в кресло, Реф угадал: заброшенное здание 245.

Реф поднимался по гужкой пыльной лестнице. Чего я хочу?

И хочу ли? Да, чтобы все вокруг было не так, как есть. Всел..
Недурное желание,

Мальчик стоял посреди комнаты и пытливо смотрел на гостя.

Не было никакого проку в том, что он приехал сюда. Даже баллона с мхом не привез. Надо что-то сказать и уйти, но Реф безвольно поник, пораженный ощущением, что уйти не может. Не может возвратиться.

Все, что составляло его существование, весь скелет его бытия, все беззвучно распалось и рухнуло, превратившись в бесформенную груды. Отдалилось и смазалось, как видения сонара при пробуждении. Клочком реальности остался только мальчик, чутко подавшийся вперед и глядевший теперь сквозь Рефа, куда-то дальше.

— Зовет, — произнес он, беря Рефа за руку. — Идем.

Они шли безмолвно, и Реф слышал лишь звук шагов и осязал тепло в руке. И почему-то верил, что надо повиноваться.

Темнота вокруг была уже не просто отсутствием света, а материализованным ничто.

Чудилось, навстречу движется кто-то, эхом повторяя шаги, будто Реф с мальчиком приближались к невидимому зеркалу.

Не было верха и низа, не существовало вперед и назад. Время исчезло. Осталось движение, не расчлененное штрихами секунд... Они сходились все ближе.

Реф напрягался и вздрагивал от страха и радости в предвкушении чего-то неведомого.

Они соприкоснулись, слились. Хлынули навстречу друг другу разлученные прежде части единого, проникли друг в друга, смешались.

И стало Одно, которому распахнулась Вселенная, познаваемая в сплаве мысли и чувства и интуиции, — ее начала, ее причины и цели, ее звездный гул и потоки ее времен. И малой частью был Город, и малой частью была Деревня, разделенные и нерасторжимые, равно хрупкие перед угрозой холода и распада.

Он знал.

Он чувствовал.

Он был призван исполнить Миссию. Только он мог спасти все. Миг наступил, и тьма содрогнулась, сжимая и отторгая его, заставив пережить боль и горечь неизбежного раздробления.

Они стояли спина к спине, еще ощущая лопатки другого как продолжение собственного тела, но зная уже, что разлучены навсегда.

Теплая ладошка в руке Рефа шевельнулась и потянула, он покорился, слыша удаляющиеся шаги позади.

Темнота редела, забрезжил свет, повеяло теплом, насыщен-

ным запахами осени. Неторопливо капывали и уплывали минуты. Солнце клонилось к закату и тускнело.

Реф увидел близкую сердцу, зовущую картину. Деревня у подножия холма. Ручей среди зелени кустов. Тхаопам на Дороге. Лес до горизонта и безбрежную голубизну неба.

И дом — второй с края — где он будет жить в единстве с людьми, которым нужен и с которыми его связывает глубокое родство. И Хума, беззаботно подпрыгивающего рядом на Дороге...

...Капсула стремительно набирала скорость, Олана вдавило в кресло.

Над головой, под ногами и везде вокруг гудел и вибрировал многокилометровый мудро устроенный металл. Он работал в миллионах машин, вился паутиной коридоров, летел капсулами по тоннелям.

Олан пронизывал этот мир внутренним взором и жадно впитывал его волнующую сложность, его четкий ритм, его организованность и завершенность. И дисгармонию, лихорадочные сбоя, призраки хаоса и конца.

Олан должен был заслонить от беды этот мир и людей в нем. Он чувствовал и ясно понимал, как. Он теперь знал слово, которым называлось рождение огненного потока из Ничего, слияние пустоты в сгусток энергии. Это слово было — Синтез.

Олан перевел взгляд с мальчика, похожего на Хума, на табло-ориентир. Капсула мчалась к Центру. Мозг автоматически отсчитывал секунды.

Олану нужен был Большой, все его мощности и память.
И Олан должен был спешить.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ И НЕМНОГО О БУДУЩЕМ

Честь и достоинство писателя состоят в том, чтобы правду, право на эту правду отстаивать при самых неблагоприятных обстоятельствах... Я не согласен с тем, что писатель — это профессия. Писатель — это судьба.

Д. ЛИХАЧЕВ

«Эрика» берет четыре копии...

А. ГАЛИЧ

В 1982 году, как уже говорилось, в подмосковном Доме творчества «Малеевка» прошел первый Всесоюзный семинар молодых писателей, работающих в жанрах фантастики и приключений. По месту проведения семинара направление в советской научно-фантастической литературе 80-х годов стало называться малеевским. И хотя впоследствии аналогичные семинары проводились не в Малеевке, а в Дубултах, под Ригой, название «малеевская школа» осталось. О ней и пойдет речь.

Конечно, это совпадение, что семинар начал работу в те дни, когда умер самый орденоносный политический деятель нашей страны. Но символично, что завершение брежневской эпохи совпало с рождением литературной школы, авторы которой не верили в «идеологический мираж в социально-экономической и правовой пустыне» (Капустин М. Конец утопии?). Живая неподцензурная мысль в самые беспросветные застойные годы пробивалась сквозь напластования лжи и лицемерия, боролась с догматизмом и идеологическим диктатом. В движении к свободе всегда участвовала фантастика — в немалой степени и та, что создавалась молодыми авторами рождения конца сороковых — начала пятидесятых годов, теми, кого объединили малеевские семинары.

Будущие малеевцы начинали писать на рубеже 60—70-х годов. Тогда в фантастике, как и во всей советской литературе, происходило вытеснение культурных ценностей порожденной примитивным мышлением эрзац-беллетристической, апеллирующей к такому же мышлению и им же востребуемой. «Откат» в духовной

жизни общества и угасание «коттепели» в фантастике начали ощущаться с середины 60-х годов, когда один за другим появились разгромно-проработочные «отзывы» на произведения Стругацких — уже тогда они считались лидерами советской НФ литературы и потому были выбраны главной мишенью. Фантастика, как и «большая литература», испытала действие неосталинских методов «руководства культурой»: будь то событие, драматически сказавшееся на общем ходе литературного процесса, — разгон в начале 70-х годов редакции фантастики издательства «Молодая гвардия», в 60-е годы объединявшей лучшие силы в советской НФ, ненамного «отстал» от разгрома «Нового мира»; или будь то судьбы конкретных писателей, не желавших более быть «руководимыми» и уезжавших за границу.

В результате чиновники от литературы, «курировавшие» фантастику, могли быть спокойны за идеологическую чистоту большинства продукции подведомственной им отрасли. Герои разрешенной фантастики побеждали плохих пришельцев, дружили, демонстрируя преимущества социалистического образа жизни, с хорошими инопланетянами, совершали полезные открытия и надежно охраняли их от акул империализма; наконец, имея в груди вместо сердца пламенный мотор, бороздили космос в народнохозяйственных целях.

И естественно, что в застойные годы травле подвергалась именно та фантастика, которая, используя богатейший арсенал мирового искусства (гротеск, аллегорию, притчу, иносказание), говорила правду.

...Итак, ноябрь 1982 года. Первая «Малеевка» (она, как и последующие, была бы невозможна без поистине подвижнической работы Н. М. Берковой, заместителя председателя совета по приключенческой и научно-фантастической литературе при СП СССР, и В. Т. Бабенко, бессменного старосты семинаров). Журналисты, инженеры, научные работники, врачи, художники, школьный учитель, военнослужащий — всего двадцать шесть человек из двадцати одного города. Люди самые разные по возрасту, образованию, взглядам и жизненному опыту. Книг не было почти ни у кого, хотя многие печатались давно. Но не стремление непременно напечататься двигало большинством участников семинара — они ставили перед собой задачу делать Литературу.

Велико было значение руководителей семинара — Д. А. Биленкина, Е. Л. Войскунского, Г. И. Гуревича (потом их сменили В. Д. Михайлов, С. А. Снегов, Г. М. Прашкевич). Благодаря им на семинарах царил атмосфера высокодуховного и высокопрофессионального общения. Эти писатели старшего поколения были подлинными Учителями и в творчестве, и в жизни, своим примером

утверждая интеллигентность и принципиальность как единственный путь в искусстве. Отношения, сложившиеся во время семинара, переросли в товарищеские, и не только между «семинаристами», но и между учениками и учителями.

«Малеевки» собирали талантливую молодежь со всей страны. Конечно, приезжали на семинары и откровенные графоманы. Ведь «Малеевки» становились престижными, попасть туда означало получить важную строку в своем послужном списке, оттого был такой напор. Хотя существовавшая система отбора должна была исключить их появление, все же они прорывались, добыв правдами и неправдами характеристики от местных отделений СП. С графоманами разговор был короткий — по давнему выражению одного остролова, они «как пришелец, так и ушелец».

На семинарах никто из руководителей или приглашенных писателей и критиков никогда не выступал с эстетическими манифестами или программами. Не было, по сути дела, у «малеевской школы» и теоретической основы, платформы. Да и нужна ли она была? Ведь семинары необходимы не для того, чтобы «выучить на писателя», но для творческого общения, которого многие молодые авторы, живущие в какой-нибудь Тьмускорпиони (выражение Стругацких), были лишены. Необходимы семинары для знакомства с тем, что делают твои коллеги, и для проверки того, что делаешь ты сам, проверки выбранного тобой пути.

Невозможно дать универсальное определение «малеевской школы», подвести десятки индивидуальных творческих манер под единый эстетический знаменатель. Поэтому, не претендуя на окончательность формулировок, попробуем на примере нескольких произведений показать разнообразие и богатство подходов «малеевцев» к фантастике.

Открыв повесть ленинградского прозаика Виктора Жилина¹ «День свершений», мы оказываемся в удивительном мире: нет ни луны, ни звезд, вместо неба — сплошная сфера, в центре которой — клякса ложносолнца. Страной правит теократия фашистского толка, уверяющая народ, что много лет назад, когда мир погибал в атомной катастрофе, Провидение спасло нацию, воздвигнув непроницаемую сферу, за которой остались смерть, радиация. Однако проповеди божественного спасения не остановили распад экономики, вражду с правительством и друг с другом религиозных общин, рост бандитских формирований. Повесть В. Жилина создана почти десять лет назад. Работая над ней, он, конечно

¹ Этот талантливый писатель был старостой ленинградского семинара. Его любили все — и в Ленинграде, и в Москве, и в «Малеевке». Горько думать, что его нет...

но же, не мог предположить, что нарисованная им картина будет восприниматься как пророчество...

Мир этот выписан удивительно ярко и впечатляюще. Но больше всего запоминается духовное состояние его обитателей, живущих по так, увы, знакомому нам принципу: сдохни ты сегодня, а я завтра. Таким предстает в начале повести и ее главный герой, юноша Стэн, член грабительской шайки. Встреча с загадочными пришельцами, не только могущественными, но и добрыми (качество, немислимое в мире Стэна), разрушила сферу, сковывавшую душу героя, сферу, созданную озлобленностью и жестокостью окружавшего его мира. Духовное освобождение его совпадает с освобождением страны: пришельцы с другой стороны сферы — посланцы свободного и счастливого населения Земли — сумели разомкнуть пространство, свернутое двести лет назад...

Контакт с инопланетным разумом — одна из основных тем фантастики, предоставляющая автору неограниченные сюжетные возможности. И не имеет значения, происходит действие на Земле, на далекой планете или в космосе: ведь контакт — своего рода зеркало, в котором человечество может увидеть и лучше понять себя.

Москвич Борис Руденко в повести «Заключение в Эдем» обращается к теме вторжения на Землю инопланетян. В повести описано не кровавое вторжение, несущее, как в «Войне миров» Уэллса, гибель всему живому, а бескровный, но не менее страшный захват. Пришельцы уничтожили все оружие на планете, разрешили экологический кризис, обеспечили всем без исключения землянам сытую и комфортную жизнь. Отныне не надо думать о хлебе насущном — его доставляют пришельцы, равно как и множество бытовых компонентов «земного Эдема».

Такой режим устраивает большинство: не надо беспокоиться о завтрашнем дне, он понятен и безопасен. Только немногие понимают, что человечество лишается будущего, ведь человек есть то, что он сам и время создают из него, а не то, что делают за него. Поэтому-то и выступают герои против дармового рая. Их всего несколько человек, они вооружены старыми заржавевшими ружьями и, конечно, обречены на гибель. Но она не напрасна — она пробудила спящие души «молчаливого большинства», показала тем, кто боялся и подумать о борьбе, что она возможна. Вонстину «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой...»

Достижения научно-технического прогресса вызвали к жизни социальный тип, названный Аркадием и Борисом Стругацкими Массовым Сытым Невоспитанным Человеком. Против современного мещанства, против многоликого потребительства — этой, по сло-

вам Стругацких, «духовной инфекции», — направлены многие произведения молодых фантастов.

...Кто из нас не мечтал, подобно герою «Сказки о рыбаке и рыбке», получить волшебное средство для исполнения желаний? Такую возможность предоставил своему герою московский фантаст Виталий Бабенко в повести «Игоряша Золотая Рыбка». Молодой человек по имени Игоряша, «посредственный специалист с дипломом о высшем образовании, представитель широких масс не читающей, но любящей книгу публики», как его характеризует автор, поймал Золотую Рыбку. На самом деле это вовсе не Рыбка, а информационный модуль, посланный галактической цивилизацией на Землю для сбора сведений о нашей планете.

Сатирическая мишень Бабенко — современный мещанин-потребитель, чей идеал совпадает с идеалом Игоряши: заставить всю Вселенную служить удовлетворению своих потребностей и желаний. Чем грозит современное мещанство, которое захватывает не только сферу материальных благ, но и духовных ценностей (мещанин их не усваивает, а присваивает, переводя в один разряд с «престижными» символами материального благополучия), Бабенко показывает зло и остроумно.

Шаржирование, гротеск — к этим приемам «малеевцы» прибегают часто. Паразитально живой, объемный, такой узнаваемый образ спекулянта книгами, вообще, любимыми предметами культуры, лишь бы они хорошо шли на рынке, создает в рассказе «Книгопродавец» фантаст из Фрунзе Алан Кубатиев. Кстати, по поводу именно этого рассказа была сказана Аркадием Стругацким известная фраза: «Да-а, так мы не начинали...»

Герой рассказа «Кошелек» фантаста из Таллина Михаила Веллера, добропорядочный мужчина средних лет, находит на улице кошелек. Бытовое происшествие разрастается до фантазмагии: кошелек начинает исправно платить хозяину за каждый добрый поступок. Сначала герой пытается бороться с искушением получить за бескорыстие, но... слаб человек, и вот доброта и сострадание становятся источником обогащения, меняя психологию, мораль.

Активно используют «малеевцы» жанр сатирической фантастики, традиции которой восходят к Салтыкову-Щедрину и столь блистательно развиты в наше время Стругацкими. Один из наиболее показательных примеров — повесть прозаика из Красноярска Михаила Успенского «В ночь с пятого на десятое». Сюжет ее — история хождений героя по кругам бюрократического ада, по некоей канцелярии, куда герой пришел искать управу на... клопов. С помощью художественного преувеличения, сатирической гиперболы факты реальной действительности приобретают фантазмаго-

рические очертания, возникает пугающая картина канцелярского псевдобытия, псевдодеятельности, не имеющей ни смысла, ни цели, замкнутой самое на себя.

Фантастика высмеивает бюрократический консерватизм, омертвевшие закостенелые штампы мышления и языка (чего стоят названия подразделений канцелярий: «Отдел по связям с общественностью», «Отдел поэтических воззрений славян на природу», «Отдел науки на марше»). Нелепость, абсурдность происходящего с героем подчеркивают не просто бессмысленность, но и опасность авторитарной бюрократии.

Этой же проблеме посвящена и повесть фантаста из Ташкента Абдухакима Фазылова «Уникальное подпространство».

Повесть Фазылова направлена против системы, основанной на подкупах и самоуправстве, системы, при которой талант, знания, опыт научного работника — да и любого члена общества — не нужны, требуется только умение угождать начальству. Не случайно, что, когда Фазылов, научный сотрудник одного из ташкентских НИИ, опубликовал повесть, на него обрушился гнев чиновной науки города. Многие люди — и не только из института, где работал Фазылов, — узнали себя в сатирических образах.

80-е годы прошли под знаком борьбы против ядерной угрозы. Своим творчеством протестовала против этого и молодая советская фантастика. В 1984 году ЦК ЛКСМ и Союз писателей Грузии, республиканский комитет космонавтики и общество «Знание» при поддержке совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР провели Всесоюзный молодежный конкурс антивоенного рассказа. Первую премию получил рассказ «малевцев» — фантастов из Волгограда супругов Любови и Евгения Лукиных «Право голоса» — яркая сатира на милитаристское мышление.

В 1986 году экраны мира обошел фильм «Письма мертвого человека», поставленный по сценарию, в работе над которым принимал участие ленинградский фантаст Вячеслав Рыбаков. Отдельные мотивы сценария использованы в его повести «Первый день спасения» и рассказе «Зима». Эти произведения в числе немногих появившихся в нашей печати образцов фантастики, которая открыто говорила о самом страшном, что может произойти, если гонка вооружений не будет остановлена. Писатель убежден, что только правда, какой бы горькой и страшной она ни была, способна предотвратить катастрофу.

Одно из самых известных антивоенных произведений «малевцев» — рассказ москвича Владимира Покровского «Самая последняя в мире война». ...Будущее (близкое или не очень), когда борьба за установление мира на Земле вошла в завершающую

стадию. Подписан договор о полном разоружении, уничтожаются запасы оружия, военная промышленность переводится на мирные рельсы. Но остались еще разумные бомбы — кошмарное порождение милитаристского психоза. И начинается последняя в истории человечества война человеческого разума с разумом внечеловеческим, созданным и существующим для убийства... Именно так рассказ Покровского обычно оценивался в критике. Но никто не обращал внимания на второй план рассказа: ведь разумная бомба, с которой сталкивается герой, — не только разрушительное оружие (это — от бомбы), но затравленное, гонимое, одинокое и несчастное существо (это — от разума!), остро ощущающее, как смыкается вокруг нее море людской ненависти. Не ее вина, а беда, что люди создали ее такой...

На примере рассказа Покровского видно, сколь неординарны сюжетные решения фантастики «мелевцев». Бескомпромиссность авторской позиции, гражданская смелость и твердость в их лучших произведениях сочетаются с глубокой психологической проработкой характеров, показывая, что фантастика — это вовсе не «когда про звездолеты или роботов».

В современной НФ немало штампов, стереотипных сюжетных ходов и образов. Создан своего рода банк данных, откуда ремесленники от литературы берут материал для своих сочинений, что остроумно высмеивают молодые фантасты. Киевлянин Борис Штерн в рассказе «Чья планета?» издевается над набившими оскомину лихими космопроходцами, «в любую погоду» штурмующими галактические дали. Вот портрет героя рассказа, капитана межпланетного корабля: «Инспектор Бел Амор — человек средних лет с сонными глазами, в разведке не бреется, предпочитает быть от начальства подальше. Не дурак, но умен в меру. Анкетная биография интереса не представляет». Или вот как ведут себя Бел Амор и корабельный робот Стабилизатор, обнаружив безмясную планету: «Тут же у них произошел чисто технический разговор, разбавленный юмором для большего интереса; разговор, который обязаны вести герои многострадального фантастического жанра в порядке информации читателей, — о заселении планет, о разведке в космосе, о трудностях своей работы. Закончив этот нудный разговор, они с облегчением вздохнули и занялись своим делом: нужно было ставить бакен».

Штерн обладает поразительно развитым чувством комического, умением увидеть его в самом прозаическом и обыденном. Юмор ситуаций (от самой земной — изображение проходимцев разных мастей и калибров — до космической) и юмор характеров в рассказах Штерна умножены на безукоризненное владение словом. Нельзя не согласиться с Б. Н. Стругацким, написавшим в предисло-

нии к первому сборнику рассказов киевского фантаста: «Борис Штерн не подражает никому. Он вполне самобытен, такой фантастики у нас еще не было, он идет по своей дороге первым».

И космос, и будущее у молодых фантастов достаточно условны. Главное — не выбор декораций или антуража, а человек. Что есть человек, что выделяет его из числа населяющих Землю живых существ, чем отличается *homo sapiens* от других носителей разума? Остро ставит этот вопрос ереванский фантаст Руслан Сагабалин в рассказе «Карантин». ...Хотите испытать радость перевоплощения, изведать недоступное человеку наслаждение в облике разумного растения, плавающего или летающего монстра? Стоит только захотеть, и после несложной процедуры вы покидаете клинику в том облике, который выбрали. Однако при каждой последующей трансформации теряется частичка вашего «я», частичка прошлого. Чехарда обликов ведет к изменению индивидуальности. Впрочем, инопланетных гволоков, ихтиодов, гейдов, видящих смысл и цель существования в смене видов физических наслаждений, не заботит утрата личности. Но человек не может жить без воспоминаний, без любви, надежды, тревоги...

В одной статье невозможно рассказать даже о самых примечательных участниках «малеевских» семинаров. Творчество каждого, о ком шла речь выше, заслуживает отдельного разговора. Равно как и творчество Ирины Тиблизовой, Андрея Измайлова, Андрея Столярова, Николая Ютанова из Ленинграда, Натальи Астаховой и Даниила Клувера из Симферополя, Владислава Петрова из Тбилиси, Андрея Лазарчука из Красноярска, Евгения Филенко и Михаила Шаламова из Перми, Николая Блохина из Ростова-на-Дону, Андрея Левкина из Риги, Людмилы Синициной из Душанбе, Юрия Брайдера, Николая Чадовича, Бориса Зеленского из Минска, Владимира Зайца и Юрия Пригорицкого из Киева, Эдуарда Геворкяна из Москвы. За рамками обзора осталась и «вторая волна» «малеевцев»: москвичи Наталья Лазарева, Павел Кузьменко, Андрей Молчанов, Виктор Пелевин, Андрей Саломатов, ленинградцы Александр Тюрин и Александр Щеголев, одессит Анатолий Гланц...

Каковы итоги — разумеется, промежуточные: ведь все эти авторы продолжают работать, — почти десятилетнего существования в советской фантастике «малеевской школы», которую окончили более двухсот молодых авторов? Количество «выпускников» семинара, издавших книгу (и не одну), перевалило за три десятка, более десяти человек стали членами Союза писателей. Первым из «малеевцев» приобрел широкую известность ленинградец В. Рыбаков, награжденный Государственной премией РСФСР за участие в создании фильма «Письма мертвого человека». В 1990 году выс-

шая награда в советской фантастике, премия «Аэлита», была вручена «малеевцу» из Красноярска Олегу Корабельникову. Примечательно, что все премии 1990 года в Свердловске, где по традиции проходит ежегодный праздник фантастики, получили «малеевцы»: приз имени И. А. Ефремова за вклад в развитие жанра — В. Бабенко, приз «Старт» за наиболее яркий книжный дебют — А. Столяров (первый раз этот приз присуждался в 1989 году и был вручен также «малеевцу» Б. Штерну). В активе «малеевцев» есть и международные награды: приз на проходившем в Болгарии конкурсе НФ рассказа получил А. Лазарчук, В. Бабенко награжден почетным дипломом Европейского конгресса писателей-фантастов.

Многие клубы любителей фантастики ежегодно проводят опросы с целью выявить лучшие произведения отечественной НФ. По итогам весьма представительного анкетирования в течение последних лет работы «малеевцев» неизменно выходят на первые места.

Сегодня «малеевцы» издаются очень широко, они вознаграждены за годы замалчивания и непечатания — и вознаграждены справедливо. Очевиден и безусловен успех литературного поколения, сохранившего «душу живу» в годы застоя. Итак, все-таки у нашей сказки счастливый конец? Но что-то удерживает руку от постановки победной точки, сбивает мажорную интонацию. В чем же дело? Наверное, все-таки в том, что «малеевцы» печатают сегодня то, что написано лет восемь-десять назад. Нового же немного, а то, что есть, все-таки чаще всего ниже уровня старых вещей. Понятно, что сейчас сложная ситуация для всей культуры. Сняты цензурные запреты, нет закрытых тем. Отпала необходимость в эзоповом языке, в аллегории и иносказании — зачем какие-то намеки, когда все говорится открытым текстом. Получается, что не с чем бороться, ибо язвы и беды общества выставлены политикой и публицистикой на всенародное обозрение. Литература в растерянности: о чем писать, когда все названо своими именами? Литература молчит — идет переосмысление действительности, та сложная внутренняя работа художника, результаты которой никто не может предсказать.

Но не только в этом, как мне кажется, дело. «Малеевцы» трудно шли в литературу. На своей шкуре они испытали тяжесть фанфарной лжи: молодым-де у нас везде дорога. Непечатание или замалчивание с трудом напечатанного десятилетиями были нормой литературной жизни. Не имея возможности печатать то, что хотелось писать, не имея доступа к читателю, пишущий попадал в трудное положение. Тот, кто был смелее и непримиримее, уезжал, кто слабее — спивался, бросал писать. Самый слабый начинал писать «проходняк», «верняк», терял лицо.

Такая важная часть общественного сознания нашего общества, как страх, еще ждет исследователя. Страх — Госстрах, по выражению В. Гроссмана, — неотъемлемый фактор жизни тоталитарного общества, он входил в душу с рождения, был чуть ли не генетически запрограммирован. И когда человек начинал писать, то страх стоял за его плечом и редактировал каждую строчку. «Малеевцы» подростками слышали о процессе Даниэля и Сиинявского, осужденных за то, что были просто художниками, не могущими не творить. Осознание пушкинского «черт догадал родиться» в стране, где стремление к свободе творчества равнозначно тяжчайшему политическому преступлению, порождало бессилие, тоску. Прав, прав был Михаил Михайлович Зощенко: «Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации»...

Репрессии, которым подвергались инакомыслящие вообще и инакомыслящие творческие (высылка из страны лучших ее писателей, художников, музыкантов), более чем наглядно показывали, что ждет тебя и твоих близких в случае, если напишешь что-то нежелательное. Кроме страха — внутреннего цензора, был цензор внешний — издательский, редакционный. Существовала «пропускная модель» писателя — возможность публикации определялась разными факторами: от национальности (кое-кто брал псевдоним или фамилию жены, если своя собственная казалась уязвимой с анкетной точки зрения) до места работы; качество же представляемого текста часто вообще не имело никакого значения.

«В те смрадные, душевные, тяжкие... годы прошла наша юность. И сколько б мы успели написать, нарисовать, спеть, если б не обворовали те, кто взял на себя право решать за нас, одергивать нас, судить и уродовать наши строчки, распоряжаться нашей судьбой...» Это сказано одним прекрасным журналистом, Анатолием Головковым, в предисловии к книге другого прекрасного журналиста, Павла Гутюнтова. Оба они «малеевских» лет рождения, и судьбы их схожи с судьбами молодых фантастов. Впрочем, какое там, «молодых»... «Малеевцам» уже под сорок и за сорок, возраст пушкинский пройден, а главных книг еще — или уже?... — нет. Столько не реализовано и, кто знает, реализуется ли...

Но жизнь продолжается. Нет нужды гадать, как дальше будет развиваться «малеевская» школа, ведь литература — живой организм, смоделировать движение которого невозможно. Ясно одно: функция фантастики не изменится, она будет продолжать работать, чтобы «лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (Блок А. Интеллигенция и революция. — Петроград, 1918).

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Грядет ли «новая волна»?	3
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
Владимир Покровский. Танцы мужчин . . .	7
Андрей Саломатов. Клубника со сливками .	119
Алексей Андреев. Страх	123
Любовь и Евгений Лукины. Отдай мою посадочную ногу!..	137
Эдуард Геворкян. До зимы еще полгода	148
Виктор Пелевин. Верволки средней полосы .	165
СПИ	189
Егор Лавров. Синтез	204
ПУБЛИЦИСТИКА	
Владимир Гопман. Воспоминания о прошлом и немного о будущем	230

Научно-художественное издание

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 35

Составитель

Войскунский Евгений Львович

Главный отраслевой редактор **В. П. Демьянов**

Редактор **В. М. Климачева**

Мл. редактор **М. Б. Гришина**

Художник **А. Е. Григорьев**

Худож. редактор **М. А. Гусева**

Техн. редактор **Н. В. Клецкая**

Корректор **С. П. Ткаченко**

ИБ № 10762

Сдано в набор 30.01.91. Подписано к печати 04.03.91.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Гарнитура
«Журнально-рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,60.
Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 15,74. Тираж 200 000 экз.
(100 001—200 000 экз.). Заказ 1034. Цена 3 р.
Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд
Серова, д. 4. Индекс заказа 917731.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцевская, 21.

3 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО • ЗНАНИЕ •

